Владимир МЕЖКОВА

Я ОСТАНАВЛИВАЮ ВРЕМЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта книга легендарного кинооператора Владислава Микоши — не первая. Но она, пожалуй, самая трепетная и откровенная. В нее он отбирал только то, что определяло и выстраивало его внутренний мир, его характер, его Путь, пытаясь проследить те таинственные связи между событиями, которые задолго до их свершения предопределяет судьба, или Провидение, или Господь Бог. В издание вошло все то, что вынималось цензурой из его предыдущих книг. Например, история разрушения храма Христа Спасителя, гибель Керченского десанта, съемка фильма об озере Рица по сценарию Сталина…

- Микоша В.В
  - «Время, которое я остановил»
  - ТАЛИСМАН
  - ПРОБУЖДЕНИЕ
  - 1918 ГОД
  - РАССТРЕЛ
  - «ДАЕШЬ МИРОВУЮ РЕВОЛЮЦИЮ»
  - «ХРИСТИАНИЯ»
  - НЕ СУДЬБА
  - ПЕРВЫЕ УРОКИ
  - «ЗЕМЛЯ»
  - ЧИСТКА
  - ПЕРВАЯ СЪЕМКА
  - Я — КИНООПЕРАТОР
  - МОСКВА ПОДО МНОЮ
  - АНТИХРИСТ
  - ЕЩЕ ОДНА СЪЕМКА
  - К МОРЮ
  - МЫС ОЛЮТОРКА
  - СТРАНИЧКИ ИЗ ДНЕВНИКА
  - ЭХ, ПРОЩАЙ, МАМА!
  - SOS «РЫБАКИ НА ЛЬДИНЕ»
  - ВЕЛИКИЙ АКЫН
  - 1937 ГОД
  - ВЫСТАВКА
  - ОРДЕР НА ОБЫСК
  - ЦЕНОЮ ЖИЗНИ
  - «ПОСЛЕДНИЙ НОНЕШНИЙ ДЕНЕЧЕК»
  - НАМ НЕКУДА ОТСТУПАТЬ
  - КРЕЩЕНИЕ

- КРАСНЫЙ СОН
- ДОРОГА СМЕРТИ
- КОНТРАТАКА
- ГНИЛОЕ ОЗЕРО
- ЮБИЛЕЙ
- ДИВЕРСАНТЫ
- ВСТРЕЧА С ДОВЖЕНКО
- АРХАНГЕЛЬСК СОРОК ВТОРОГО
- РОЖДЕСТВО В ВЕСТМИНСТЕРЕ
- «ТИХАЯ РОЩА»
- ЭЛЛИС-АЙЛЕНД
- В СТОРОНЕ ОТ ВОЙНЫ
- ГОЛЛИВУД
- ДВЕ ВСТРЕЧИ
- ТУМАН В ПРОЛИВЕ ЛАПЕРУЗА
- КЕРЧЕНСКИЙ ДЕСАНТ
- ВОЗВРАЩЕНИЕ
- ВОЗМЕЗДИЕ
- ТАНКОВЫЙ РЕЙД
- КОНЕЦ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
- ТОВАРИЩИ МОИ
- НА КРУГИ СВОЯ
- ПОРТРЕТ БЕЗ РОДИНКИ
- ПОХИЩЕНИЕ
- ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Микоша В.В
Я останавливаю время

«Время, которое я остановил»

В книгу вошли фотографии из личного архива Владислава Микоши и Джеммы Фирсовой-Микоша, а также авторские фотографии и кинокадры Владислава Микоши

Книга опубликована на сайте http://ekovideofilm.ru/ с разрешения Д.С. Фирсовой-Микоши

«Время, которое я остановил» или «Я останавливаю время» — последние варианты названия книги, которые Владислав Микоша нашел за неделю до своего ухода. «Но я останавливал время не потому, что оно было прекрасно», — грустно пошутил он, перефразируя «Фауста».

Да, он останавливал мгновения не для того, чтобы продлить их для себя, а для того, чтобы оставить их в памяти — нашей и тех, кто придет после нас. Хрупкая кинопленка оказалась надежным носителем остановленных мгновений, бесстрастным свидетелем запечатленного времени. Это было делом всей его жизни, которое он бесконечно любил. Им поистине владела страсть останавливать мгновения, и делал он это не только в своей непосредственной и главной профессии кинооператора. Он всю жизнь вел интереснейшие дневники, точные и образные записи которых становились журналистскими публикациями в «Правде», «Известиях», «Комсомолке», «Огоньке», «Вокруг света», где он долгие годы был не только спецкором, но и фотокорреспондентом. С «лейкой» он не расставался никогда — ни до войны, ни в войну, ни в многочисленных поездках по стране и миру.

Странички дневника становились публикациями (начиная с экспедиции по спасению челюскинцев), а затем и книгами, фотографии — открытками (выходили целые серии открыток по фотографиям Микоши), марками (первая серия советских цветных марок — «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка в Москве», 1939–1940 годы, 16 марок за № 751–767 по каталогу почтовых марок СССР, за № 783–799 — по «Иверу»), выставками, кинокадры — хроникой и документальными фильмами. В цехе операторов-документалистов только трое — Роман Кармен, Марк

Трояновский и Владислав Микоша — совмещали профессии кинооператора, фотокорреспондента и журналиста. Но ни у Кармена, ни у Трояновского не выходили серии открыток и серии марок, не было фотовыставок. Микоша старался использовать все возможности из своего умения останавливать мгновения. И делал он это с такой увлеченностью и такой завершенностью, что в редакциях не правили ни одного слова из его дневниковых записей, и тогда вдруг в суровой газете «Правда» появлялись огромные репортажи спецкора Владислава Микоши — такие, как, например, этот — в «Правде» от 7 апреля 1942 года.

«Ночь такая темная, какие бывают только на юге. Теплая, тихая. Все сковано тяжелым сном. Осажденный город спит настороженно, скрытый непроницаемым мраком. Даже море, всегда шумное, вдруг замерло. Полный штиль. Звезды, отраженные в нем, рассыпались неясными сочетаниями каких-то новых, незнакомых созвездий.

Враг, залегший в глубоких окопах, не спит, притаился, выжидает. Враг нервничает. Темные ночи на чужой земле обманчивы. Изредка, боясь нападения, он освещает переднюю линию фронта дрожащим светом ракет. Ночь от этого становится все темнее и непригляднее.

Наступает туманный рассвет. К низкой аккомпанементной музыке орудий и минометов присоединяется более высокая мелодия пулеметов, автоматов и винтовок…»

Необычный для того времени стиль — да еще в «Правде», да еще с фронта! Но удивительно, центральные газеты (да и фронтовые) часто и охотно предоставляли свои страницы журналисту Микоше. Так он видел войну, и это ни на кого не похожее видение ценили и в редакциях газет, и в монтажных Центральной студии документальных фильмов. Все, о чем писал спецкор Микоша, оператор Микоша оставил в зримых образах, запечатленных на пленке, — образах документа и поэзии.

«Среди операторов-фронтовиков, — писал в августе 42-го в статье «Люди фронтовой кинохроники» Вен. Вишневский, — Микоша, без сомнения, лучший мастер живописного кадра… Во фронтовых съемках Микоша сохранил все свои прежние качества — лиризм и изысканность композиции кадра, но, вместе с тем, для них характерна суровая простота, какой требует новый материал…»

«Про военные съемки Микоши справедливо сказать, что они сразу и быт и поэзия… На пленке кинодокументов, снятых Микошей, всегда присутствует температура события», — писал один из режиссеров киноэпопеи «Великая Отечественная» Лев Данилов.

Лиризм и поэтичность работ кинооператора и журналиста Владислава Микоши удивительно сочетались с оптимизмом и мужеством капитана третьего ранга Владислава Микоши.

Вот как в своей книге «Севастопольский бронепоезд» вспоминает Микошу того времени бывший старшина группы пулеметчиков бронепоезда «Железняков» Н. А. Александров: «… Владислав Микоша — небольшого роста, с постоянной улыбкой на умном обаятельном лице — не раз появлялся еще в окопах Одессы, снимая на пленку героические действия морской пехоты… Потом он до последнего дня находился на Ишуньских позициях. Это его фильм «Героический Севастополь» смотрели железняковцы, восхищаясь мужеством не только морских пехотинцев, идущих в атаку, но и самого кинооператора, снимавшего в гуще боев…»

Об отчаянной смелости Микоши ходили легенды, отзвуки которых можно сегодня найти на страницах книг, написанных о тех днях участниками обороны. Вот фраза из книги фронтового фотокорреспондента Бориса Шейнина «В объективе — война»: «Еще в осажденной Одессе шла молва, что Владислав ничего не боится — храбрейший из храбрых…»

«Неутомимый, вездесущий, не знающий, что такое страх…» — пишет Георгий Гайдовский в книге «Страницы, опаленные войной».

Вспоминает о храбрости оператора и Любовь Руднева в книге «Память и надежда»: «Удалось отправить на Большую землю сумасшедше смелого, всегда снимавшего в гуще боев Владислава Микошу. После тяжелой контузии его отнесли на подводную лодку».

«Черноморцы», «Героический Севастополь», «Битва за Севастополь», «День войны», «Кавказ», «Освобождение Варшавы», «От Вислы до Одера», «В логове зверя», «Померания», «Данциг наш», «Кенигсберг», «Разгром Японии», «Парад Победы» — это только военные фильмы (не все!), в которые вошли кадры, снятые Владиславом Микошей. А еще киножурналы, а еще кинолетопись…

И хотя за те шестьдесят лет, которые Владислав Микоша держал в руках кинокамеру, четыре года войны — малая малость, но остались те годы самыми главными, а те съемки — самыми дорогими сердцу оператора. А было много важного и интересного и до, и после. До — строительство Магнитки и закладка «Шарикоподшипника», открытие ВСХВ и строительство Черноморского флота, спасение челюскинцев и проводы экспедиции на Северный полюс, перелеты Чкалова и Громова в Америку, визиты в Москву Бернарда Шоу, Ромена Ролана, Анри

Барбюса… Всего не перечислишь, как невозможно перечислить и всего того, что было снято после войны — восстановление Варшавы и Днепрогэса, поход Народно-освободительной армии Китая, встречи Сталина с Мао Цзэдуном, Хрущева с Кеннеди, съемки Неру, Эйзенхауэра, Насера, Кастро, Тито, Гагарина, Бидструпа, Ван Клиберна, Нуриева, Улановой…

Сегодня можно только бесконечно изумляться, как в этой гуще событий, снимая «самое-самое», он смог на всю долгую жизнь остаться беспартийным, остаться самим собой, выжить. Мало того — стать четырежды лауреатом Государственных премии СССР, народным артистом, академиком и т. д. и т. п. «Хранил меня Господь» — один из вариантов названия этой книги. И вправду, наверное, хранил! И от этого ощущения «охраненности» — удивительное чувство самодостаточности, открытости людям и миру, непреходящее стремление учиться — всему, у всего и у всех.

Эта книга — четвертая (и не последняя!) книга Владислава Микоши. Из изданных, пожалуй, самая трепетная и откровенная, хотя не самая полная по насыщенности событиями его жизни. В нее он отбирал только то, что определяло и выстраивало его внутренний мир, его характер, его Путь, пытаясь проследить те таинственные связи между событиями, которые задолго до их свершения предопределяет судьба, или Провидение, или Господь Бог. Впрочем, многое из удивительного и таинственного в его жизни так и осталось за рамками книги. Как, например, то, что медаль «За победу над Японией» — практически за окончание Второй мировой — он получил первым. В его орденской книжке стоит номер медали: А № 000001.

И еще в книгу вошло все то, что вынималось цензурой из его предыдущих книг. Например, история разрушения храма Христа Спасителя, гибель Керченского десанта, съемка фильма об озере Рица по сценарию Сталина…

Книга заканчивается 1953 годом — годом смерти Сталина. Дальше — другой этап жизни. Другая книга.

Пока мы живы — мы несовершенны
Пока мы живы — мы незавершенны…

Этот эпиграф к эпилогу книги сегодня мне хочется продолжить: и когда мы уходим, мы «незавершенны». Пока не завершено все то, что начато и не закончено, задумано и не осуществлено, не обрело самостоятельной жизни и судьбы: книги,

выставки, альбомы, фильмы. А точнее — идеи, образы, звуки, настроения… Пока сама судьба, воплотившаяся в прожитой жизни, не обрела законченности и завершенности произведения искусства — Творения Господня, задуманного и выполненного с непостижимым мастерством.

Джемма Фирсова

ТАЛИСМАН

Во мне переплелись две точки зрения — человека вчерашнего и человека сегодняшнего.

Жорж Сименон. «Я диктую»

Храни меня, мой талисман…

Александр Пушкин

АНОНС!
НА ДНЯХ В НАШЕМ КИНОТЕАТРЕ —
НОВЫЙ БОЕВИК С УЧАСТИЕМ ГАРРИ ПИЛЛЯ —
ТРЮКОВОЙ ФИЛЬМ «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»!
СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!
ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЕАНСА —
УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ВИДОВАЯ КИНОЛЕНТА
ИЗ ЖИЗНИ ЭСКИМОСОВ НА АЛЯСКЕ —
«НАНУК С СЕВЕРА»!

Так или примерно так я впервые встретился с Нануком. Не знаю, не помню, как случилось, что фильм, сделанный Робертом Флаэрти в 1922 году, я увидел только в 1927-м. Может быть, он был куплен спустя несколько лет после того, как прошел по экранам всего мира, может быть, так поздно пришел к нам в Саратов, может быть, раньше шел в других кинотеатрах и я его не видел…

Тогда, в 1927-м, я работал киномехаником в кинотеатре «Искра» — «крутил» киноленты. Было мне семнадцать лет.

Документальные фильмы (и вообще все неигровые) назывались в прокате «видовыми». Три дня по три сеанса я неотрывно, посмотрев только один раз Гарри Пиля, смотрел «видового» «Нанука». После нашумевших боевиков вроде «Доктора Мабузо», «Индийской гробницы», «Багдадского вора», «Тайны Нью-Йорка» фильм об эскимосе Нануке и его семье произвел на меня ошеломляющее впечатление. Словно я захлопнул пыльную книжку с аляповатыми вычурными выдумками и впервые увидел вокруг себя живой реальный мир,

странным образом оказавшийся здесь, в темном сыром зале провинциального синематографа…

«Нанук» перевернул мое представление о кино. С этого момента я стал с нетерпением ждать «видовые» ленты». Кто сделал эту — я тогда не знал. В то время, кажется, еще не писали фамилии документалистов — режиссеров и операторов. Писали только фирму — «Патэ», «Гомон» — других я уже не помню.

Впрочем, неизгладимое впечатление произвели на меня и несколько «художественных» — игровых лент. Это были «Бабы рязанские», «Человек из ресторана», «Потомок Чингиз-хана»… Теперь я понимаю: меня трогали фильмы реалистические, максимально отражавшие жизнь «как она есть».

Я с удивлением осознал вдруг, что за выдуманными героями — нашими мальчишескими кумирами — Зорро, Багдадским вором, Робин Гудом — слежу с отстраненным интересом, а на «незатейливом» фильме «Бабы рязанские» впервые в горле запершило. До сих пор помню сцену «Последний нонешний денечек»… и плывущие по реке венки… Но это было — как захватывающие книжки, которые хотелось читать, но не пришло бы в голову — сесть писать. Другое дело — «Нанук». «Нанук» всколыхнул мальчишеские мечты о море, дальних странах, Северном полюсе, затерянных островах, о трудностях и испытаниях.

И если в детстве это стремление было смутным, неосознанным, необъяснимым, то теперь я знал, чего хочу: передо мной открылся мир, огромный, манящий, в котором живут сильные, красивые люди, утверждающие себя в суровой борьбе с природой, и я должен все это видеть, ощутить, познать, пережить. Я решил: надо действовать! И если в детстве мы «убегали» из дому, чтобы уйти в море, то теперь я уехал в Ленинград поступать в «мореходку». Но — не судьба. По дороге я простудился, заболел бронхитом, и меня не приняли. Огорченный, я вернулся в Саратов, в «Искру», думая, что все хорошее закрыто для меня навсегда…

Прошел год после моего горького возвращения. Как вдруг из маленького окошечка своей кинобудки я увидел удивительный фильм. Он вроде бы ничем не был похож на «Нанука». Там север — суровый и аскетичный, здесь — экзотика южный морей, земной рай, жаркое солнце, стройные пальмы, странный быт красивых черноволосых, загорелых людей и бескрайняя даль океана… Эта лента называлась «Моана южных морей», и потрясла она меня не меньше, чем «Нанук», тем более, что любовь к морю я унаследовал от отца — штурмана дальнего плаванья…

В эту ночь я долго не мог заснуть, а заснув, продолжал видеть

экзотический мир Полинезии. На этот раз я не удовлетворился увиденным за три дня по три сеанса, и, когда фильм начали «крутить» в соседнем «Вулкане», я бегал смотреть его и туда, оставляя кинобудку на помощника — подручного «малолетку».

Когда фильм покинул Саратов, я затосковал еще больше, теперь уже по южным морям, и мне захотелось бросить школу, в которой я еще продолжал учиться, и опять попытаться удрать в море… Но история с мореходкой слишком врезалась в память — я больше не хотел оказаться в роли потерпевшего кораблекрушение…

Вольно или невольно Флаэрти и его фильмы привели меня в документальное кино. Я зашагал по земле, заглядывая в самые недоступные ее уголки, — взбирался на Эльбрус с киноаппаратом, ходил в Уссурийскую тайгу, оказывался с рыбаками на льдине, снимал спасение челюскинцев, а когда над Беринговым проливом спускалась хмарь и погода становилась нелетной, я снимал маленьких чукчей, которых стремительная собачья упряжка возила со стойбища в большой чум познавать первые азы грамоты. Я снимал, как в сорокаградусный мороз их отцы охотились на белых куропаток и на вертком каяке гонялись за нерпой. Я ощущал рядом с собой Нанука, когда белая слепящая пурга набрасывалась на нас, скрывая и землю, и небо, и море… Я так хотел этого в юности, что это стало реальностью. Это было первое исполнение мечты.

Прошло двадцать лет. Прошла война. Оборона Севастополя. Конвои в Англию и Америку. И я оказался в Индонезии со своей кинокамерой, пятью километрами пленки и жадным стремлением увидеть как можно больше. Я снимал и через визир своей камеры видел знакомый-знакомый мир — похожий на тот, из моей юности, из «Моаны южных морей». И не похожий на него — словно я шагнул за рамку экрана, совместив наконец мечту и реальность. Снятый тогда мной фильм «По Индонезии» был несомненным отголоском «Моаны южных морей».

И так всюду — в Бирме, в Сингапуре, в Индии, в Японии, в Африке, в Америке, в далеких уголках России — я искал скрытые от простого глаза образы, способные удивить, изумить, потрясти, как сам я был потрясен в тесной будке кинотеатра «Искра», когда впервые встретился с Робертом Флаэрти.

Эти два фильма я увидел снова совсем недавно — с промежутком в шестьдесят лет. Я шел на просмотр во ВГИК, в котором учился с 1929 по 1934 год, и волновался, боясь потерять то, что было таким дорогим тогда, полвека назад. Я думал, не скрою, что увижу слабые, наивные, примитивные ленты…

Погас свет. Начался фильм. Сначала это был опять «Нанук» —

немой, покалеченный временем… Потом была «Моана южных морей», потом «Человек из Арана», «Луизианская история»… Я смотрел на экран в притихшем зале, смутно сознавая, что передо мной удивительный талисман, предопределивший всю мою жизнь, талисман вечный и непреходящий.

Где я? — Неужели не у окошечка кинобудки в Саратове?.. Словно сработала таинственная машина времени, вернув прошлое, навсегда оставшееся настоящим…

Наверное, это всеохватывающее влияние Флаэрти, далекого от бурь своего времени, словно бы не замечавшего того, что происходило вокруг, — лишь борение человека с природой — прекрасной и суровой, ласковой и враждебной, лишь добро и зло в этом извечном поединке — влекло меня в экзотику суровых морей и дальних стран, диктовало стремление и поступки, подсказывало образы, близкие миру Роберта Флаэрти.

Я словно бы жил в двух измерениях — в реальном мире нашей повседневности, который оставался как бы «за кадром» — и экрана, и, может быть, даже внимания. В сердце не рождалось импульса «писать книгу» повседневности — хотя и это приходилось делать: такова профессия. Но жил я неодолимым стремлением — «ускользнуть» в другое измерение: бежать в море, в горы, на север, на Чукотку или Камчатку, к рыбакам на льдину или на спасение челюскинцев…

Во мне словно бы всю жизнь срабатывал генетический код, унаследованный от отца: будто я жил на берегу, но устремлен был в неведомую даль морей и океанов, в стихию опасностей и испытаний…

И даже войну я воспринял скорее как страшную природную стихию, обрушившуюся на нашу землю…

Я ощущал мир как данность, воспринимал его эмоционально, а не аналитически. В моих жилах текла кровь мореходов и открывателей, а не историков и исследователей. И летопись, которую я исправно вел всю жизнь, скорее была «корабельным журналом», чем «Повестью временных лет»…

Наверное, как и Флаэрти, я был в плену этого восприятия мира — и этот плен и вел, и охранял, и охранил от жуткого трагизма реальности. Флаэрти прозрел лишь раз — когда работал над фильмом о гибели американских земель. Прозрение было трагическим.

А как же пришло мое прозрение?..

Сегодня, когда настало время отдавать долги и подводить итоги — чтобы можно было идти дальше, мне хочется взглянуть на себя и на мир, в котором мы жили, радовались, страдали, легко заблуждались и тяжко прозревали, потому что не всегда, и

не сразу понимали и правильно оценивали происходящее.

Сегодня, когда поезд времени ушел далеко и прожитое моим поколением принадлежит истории, хочется зачерпнуть из этого «далека» только чистую правду чувств и мыслей, открытий и откровений. Нелегкую правду прозрения.

Но до прозрения было пробуждение. Пробуждение от небытия.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Саратов, 1910 год

Встань, друг.
Получена весть.
Окончен твой отдых.

Святослав Рерих

Это было как пробуждение от вечного сна: до — провал.

Будто впервые я открыл глаза, услышал голоса, ощутил окружающий мир, тепло материнских рук. Это первое ощущение, что я живу, запечатлелось на всю жизнь, и как сейчас помню себя на руках мамы, тепло ее виска, прижатого к моей щеке, ее ласковый голос:

— Смотри, смотри! Видишь, сколько звездочек на небе? А одна из них с хвостиком! Видишь?..

Вижу. И сейчас вижу: будто на огромном киноэкране, усыпанное яркими звездами черное небо, и резко-резко — среди сверкающей россыпи — единственную звездочку, как мама сказала, с хвостиком. Я увидел ее сразу, и мне показалось, что она летит, обгоняя другие звезды.

— Ну, скажи, скажи — видишь? Вон она! — Мама показала на нее моим пальчиком.

Я, наверное, еще не умел говорить — только, освободив свою руку из маминой, показал на комету. Я хорошо ее видел среди огромного скопления мерцающих звезд. Она была непохожа ни на одну из них. Она единственная была с хвостом и, как мне тогда казалось, летела…

— Ну, скажи! Видишь?

И чтобы подтвердить, что вижу, я еще раз показал на нее пальчиком, и на мгновение она скрылась под моей рукой — словно ее и не было.

— Смотрите! Он увидел! — радовалась мама.

— Это не к добру! Появление на небе звезды с хвостом предвещает войну. Так говорится в Священном Писании! — сказала с тревогой моя бабушка.

Странно, но эта невозможная для моего понимания фраза тоже отпечаталась в сознании.

— Ну что вы, что вы! Разве такая красота может предсказывать беды? — сказала мама и унесла меня в дом.

Так возникла от рождения моя память: с появлением на ночном небосводе кометы Галлея — предвестницы бед и катаклизмов.

1918 ГОД

Ветер, ветер —
На всем белом свете!..

Александр Блок

В Саратове жить стало тяжко, и мы перебрались на время за Волгу — в небольшую деревушку из нескольких хат, покрытых соломой, — к старому знакомому крестьянину. Там хоть было что есть: появилась картошка, соленые огурцы, капуста, молоко. Все было бы хорошо, но что-то нас стали беспокоить гости. То белые, которые искали красных комиссаров, то красные, которые искали белых офицеров и заодно прихватывали — кто курицу, гуся, поросенка, кто сапоги, тулуп, шапку…

— Что же вы, господа хорошие, делаете? Ну, поели, попили — и бог с вами! Вы уходите — приходят другие, и они не просят, а берут, и берут все, что попадет им под руку. Разве напасешься? Хоть по миру иди!..

— А ты, старик, что — к стенке захотел? Раз плюнуть! Давай коня и будь здоров!

— Сегодня белые господа. Завтра красные товарищи. А мы кто — серые?

А скоро и брать стало нечего. Всю живность порезали — съели господа-товарищи. Слава богу, к стенке только троих в деревне поставили — «испужали» страх как. Стрельнули поверх и не убили. Страху нагнали полны штаны. А Ермошку полоумного все же пристрелили. На рожон лез — дурак. Не то белые, не то красные — кто их разберет? И те и другие русские братья… А тут прискакали казаки с пиками, с шашками наголо. Такой страх нагнали.

К нам:

— Господа!

— Какие мы вам господа?

К ним:

— Товарищи!

— Какие мы вам товарищи?! Мы казаки, вольные птицы! Давайте нам овса для лошадей! И сапоги справные!

— Какие уж там сапоги? Да еще справные! Кроме лаптей уж ничего не осталось.

Ускакали казаки. Слава богу, с овсом у седла. Постреляли кур

и собак. Уж очень громко лаяли. Постращали, как могли. Кто теперь явится?

Явились зеленые. На тачанках с пулеметами. И уж не знаем, как их величать — ни господа, ни товарищи, и на казаков не похожи — и не белые, и не красные. Молчим, только кланяемся. А они: «Давай овса, курей, баранов и никаких гвоздей! А то?..»

— Вася, попужай-ка их малость!

Вася прострочил из «максима» все окна в пустом амбаре.

Так в нашей деревне стало хоть шаром покати. Все, что можно, — съели, все, что можно, — увезли, все, что не увезли, — покалечили господа-товарищи. Революции ради. Свободы, равенства, братства ради. И ушел с красными мой старший брат, которому исполнилось только пятнадцать лет. Мне жалко было маму. Она сильно убивалась, но брат сказал:

— Мама, я буду биться за революцию до победы и скоро вернусь! Не плачь, а то обо мне плохо подумают товарищи и не возьмут с собой!

— Ну какие они тебе товарищи? Ты еще мальчик, а они взрослые дяди!

— Не плачь, мамаша, он правильную выбрал дорогу!..

А произошло это так: нагрянули под вечер в нашу деревню на конях, на тачанках люди с красными лентами на рукавах, на картузах. Бряцая шашками, гранатами, винтовками, устраивались на ночлег. В нашей хате не продохнуть. Махорочные облака густо повисли над керосиновой лампой. Двое молодых парней чистили винтовку и попросили моего брата помочь. Братишка был начинающим охотником, и у него была берданка 16-го калибра — подарок дедушки.

— Как звать-то тебя, паря?

— Юлька!

— Поедем с нами, Юлька, белых офицеров колошматить?

Глаза у Юльки заблестели — загорелись:

— А винтовку мне дадите?

— И винтовку, и шашку, и гранаты… А сапоги у тебя есть?

— Есть, но очень старые! Поношенные…

— Как только отобьем у белых — все получишь сполна. А пока будешь на подхвате — помогать, значит, пулеметчику с лентами орудовать.

— У меня есть ружье. Я диких уток стрелял на речке.

И Юлька показал свою заветную берданку и патронташ, полный патронов.

Нетрудно было взбаламутить мальчишке голову, да и сами красногвардейцы не так далеко от него ушли. Наутро, чуть рассвело, Юлька со своей берданкой и патронташем, с красной

лентой на кепчонке, свесив ноги, сидел на пулеметной тачанке с горящими, как спички, глазами. Мама проплакала всю ночь, уговаривая сына, поняла, что от судьбы не уйдешь, и на прощание благословила его, встав на колени, когда тачанка выезжала за ворота…

После небольшого затишья нагрянул на наш хутор еще один отряд красных. Эти были мрачные, озлобленные. Все время чего-то искали. Отбирали хлеб, живность — лошадей, коров… У нашей хозяйки угнали со двора единственную корову. Она бросилась, рыдая и причитая, корове на шею:

— Убивайте меня! Не отдам свою кормилицу!

Ее оттащили и бросили на солому в беспамятстве.

Успокаивая хозяйку, мама обещала ей похлопотать перед начальством в уездном городке Николаевске, который только-только что заняли красные. На рассвете мама, прихватив меня, отправилась туда. Только к вечеру всеми правдами и неправдами мама пробилась к главному командиру. Он находился в большом доме с колоннами, под охраной двух пулеметчиков с «максимом».

После длинного разговора высокий, похожий на цыгана солдат ввел нас с мамой в комнату, где за самоваром сидел усатый, перепоясанный ремнями военный.

— Товарищ командир! Жалобщики к вам!

— Чем могу вам помочь? — обернулся к нам военный.

— Корову, последнюю, единственную, увели у нас вчера ваши солдаты…

Мама прижимала мою голову к себе, а я старался высвободиться и из-под ее руки, рассмотреть усатого командира.

— Какие же они наши? Это сукины дети! Мерзавцы! Таких мародеров мы расстреливаем… Прими меры, чтобы вернули этой женщине корову и наказали этих мерзавцев! — обратился он к провожатому.

— Идите домой! Все будет хорошо. Если не успели съесть ваше сокровище. Уверен — еще не успели! — он встал, положил руку мне на голову, погладил и сказал:

— Хорошо, мамаша, что вовремя пришли! Идите спокойно домой! Вернется ваша буренка! До свиданья!

Выходя из комнаты, я вывернулся из-под маминой руки и обернулся, чтобы еще раз увидеть перепоясанного ремнями командира. Потом спустя много лет, глядя на экранного Чапаева, я сравнивал: похож — не похож.

Судьбе было угодно показать мне, восьмилетке, живого Чапаева. Последнее, что врезалось в память — хрусткий скрип его сапог у меня за спиной.

На другой день вернулась к нам во двор буренка, да еще в

придачу с двумя барашками.

— Это не наши! Ищите, у кого отобрали.

— Чапай сказал — вам привести…

Время шло. Чапаев бился где-то на Урале. Нашу деревню совсем обобрали. Снова нахлынули банды белых, зеленых. Увели не только корову, но выгребли весь хлеб и картошку. Пришла зима. Потом весна. Сеять было нечего. Начался голод.

Помню — навсегда врезалось в память: мама — худющая-худющая — скоблит кухонным ножом доску для разделки теста и скалку. Там еще осталась корочка налипшего когда-то давно теста. Пришел, навалился голод. Худые люди, еле волочи ноги, рылись за домом под кустом смородины. Из соседнего дома вытаскивали почерневших мертвецов. Совсем рядом, на завалинке, лежали знакомые дед с бабушкой, они уже не могли вставать — так ослабли.

— Ой, как хочется есть! Умираю, так хочется есть! Ну, хоть корочку, самую маленькую!

Голод. Он представлялся мне огромным скелетом с косой на плечах, стучащим в окна домов. Такого кощея я видел в книжке сказок, которую читала нам мама, когда я был совсем маленький.

В поисках чего-нибудь съедобного мы с мамой в лесу набрели на небольшой запруде на щавелевые заросли. Щавель и шиповник помогли нам выжить. С весны и все лето мы питались щавелем, цветами, бутонами и ягодами шиповника. Они, только они спасли нам жизнь. Потом, спустя много-много лет я еще долго-долго прятал под подушкой кусочки хлеба…

РАССТРЕЛ

Одесса, 1921 год
Кто передаст потомкам нашу повесть?

Максимилиан Волошин

Иногда мне снится этот эпизод из моего детства, и я вижу во сне, как на цветном экране, с мельчайшими подробностями происшедшее почти семьдесят лет назад… И каждый раз сон прерывает дикий крик. Я слышу его во сне и не верю, что это я сам кричал.

Одесса. Сюда мы, голодающие Поволжья, ехали в теплушках товарных поездов больше месяца. Наконец, как в сказке, — солнечный город. Отливающее серебром море и много-много хлеба и винограда… Даже не верилось — хотелось, наевшись, спрятать хлеб про запас.

Одесса. По Канатной улице, по самой середине ее в сторону порта конвойные красноармейцы, в буденовках, с винтовками наперевес, гнали большую колонну арестованных. Выглядели они униженными, жалкими, сгорбленными. С котомками и свертками в руках, они тащились вперед, еле передвигая ноги. Худые, изможденные, с серыми окаменевшими лицами. Среди них были и женщины — в платках, почти закрывавших лица, и в шляпах с вуалетками. Мужчины были в кепках, шляпах и даже, несмотря на жару, в зимних малахаях. Конвойные, их было много, грубо покрикивали, подгоняя арестованных:

— Давай! Давай! Не смотреть по сторонам! Пшел! Я те оглянусь!

Конвойные кричали и на публику, стоявшую на тротуарах:

— Осади назад! Чего вылупились? Разойдись там с мостовой!

Из толпы раздались выкрики:

— Куда вас, голубчики?

Но «голубчики», как темная туча, не реагируя, двигались вперед, глядя в спину друг другу. Как всегда, в толпе нашлись все знающие:

— Чекисты их гонят на расстрел! Вчера в нашем доме после обыска забрали двоих — муж профессор, жена врач.

— Антилигенты, значит?!

— Давно их пора прижать к ногтю! — сказал человек в

засаленной куртке и зло сплюнул.

— Тебя бы туда! Нашелся, тоже мне вояка! — толстая женщина что-то хотела добавить, но в это время поднялась стрельба и крики:

— Стой! Стой! Стрелять буду!..

Из арестантской колонны, опрокинув конвойного, вырвался человек и кинулся по пересекавшей Канатную улицу улице Бебеля — в сторону Греческого моста. Крики «стой» и одновременно выстрелы вслед убегавшему настигли его у самого моста. Взмахнув руками, он упал на спину, раскинув руки. Колонна застыла, глядя на происходящее, плотно окруженная конвойными. Один из конвойных, наверное, начальник, подошел к лежащему, приподнял его руку и отпустил. Рука упала, как плеть. Убедившись, что беглец мертв, он присоединился к колонне, и колонна двинулась вперед. Толпа вынесла меня к убитому. Хорошо одетый мужчина лежал на спине, широко раскинув руки. Его голова была прострелена и лежала в луже крови. Широко открытые голубые глаза смотрели в небо. На бородатом лице застыла улыбка.

— Как радовался перед смертью, что освободился, наконец! — тихо сказала пожилая женщина.

— Бедняга! Кто ж его теперь похоронит? Царство ему Небесное!

Я много видел мертвых и умирающих от голода, сам умирал, но первый раз увидел воочию страшное насилье над человеком, когда у всех на глазах убивают беззащитного человека, а других, как стадо, гонят на убой.

Наступил вечер. Все, что видел, я рассказал маме. Я дрожал, и слезы мешали говорить.

— Успокойся! Сон успокоит тебя, ложись спать!

Я долго не мог уснуть, а под утро, когда заснул, — проснулся от страшного крика. Это я кричал, увидев во сне красную лужу крови, простреленную голову, голубые, устремленные на меня, глаза и открытую улыбку… Впервые я в ужасе понял, что сны — цветные…

«ДАЕШЬ МИРОВУЮ РЕВОЛЮЦИЮ»

Саратов, 1923 год
Есть месяцы, отмеченные роком
В календаре столетий…

Валерий Брюсов

Ярко врезается в память испытанное в детстве потрясение. Но ярко отпечатывается в ней и детская радость праздников.

Саратов в золотом осеннем уборе. Последние теплые, пронизанные солнцем дни наступающего праздника Октября. Город покрылся красным кумачом — всюду лозунги, плакаты, знамена — «Да здравствует шестая годовщина Великого Октября!». Мне нравился этот день не только потому, что нас отпускали из школы, но и потому, что можно было прогуляться по главной улице на берег Волги, полюбоваться пароходами, разукрашенными сигнальными флагами… Саратов горел золотым огнем осени и полыхал алым пламенем праздника. Последние солнечные деньки как бы прощались и были особенно теплыми, прозрачными, с необыкновенно синим небом, отраженным в Волге. Было так весело, легко и радостно, особенно нам, школьникам, и мы носились по улицам, впитывая каждую яркую витрину, каждый макет, каждый разукрашенный дом.

Мы любили Октябрь не только за красивый наряд улиц и площадей, но и за неограниченную возможность свободно носиться по городу среди веселой праздничной толпы, имея в кармане двадцать копеек — целое состояние: на них можно было купить любимое пирожное «картошку», десять ирисок, вафли и мороженое. Только от этого можно было прийти в восторг. Но самое главное — под музыку промаршировать вместе с оркестром вдоль главной улицы — и так до упаду, а отдышавшись, идти рядом с демонстрацией под сенью тяжелых знамен.

Я любил читать лозунги. Их было такое множество, что я терялся и не успевал:

«Да здравствует Великий Октябрь!», «Даешь мировую революцию», «Ура Ленину!», «Бей толстопузых буржуев!»

И совершенно непонятное:

«Нас — 18 — зовет коммунизм!», «Социализм плюс электрификация!», «Обеспечим план ГОЭЛРО!», «Социализм — весна, капитализм — осень!»

Хлопали, развевались на ветру кумачовые знамена, заливались саратовские, с колокольчиками, гармошки. Подвыпившие грузчики запевали «Матаню». И тут же рядом студенты в форменных фуражках, сцепившись руками в монолитную колонну, громко чеканя шаг, заглушая все вокруг, стройно поют:

Смело, товарищи, в ногу…

Но вдруг, лязгнув тарелками и ударив, как из пушки в барабан, заиграл марш духовой оркестр. Бодрый, веселый, он заглушил и «Матаню», и студентов, и Стеньку Разина с княжной. Мы бросились к оркестру и, подстраивая ногу, пошли рядом, беззаботные, счастливые.

А когда наступил вечер, и загорелись огромные красные буквы с цифрой «шесть» на Главном почтамте, мы, прочитав: «Да здравствует шестая годовщина Октября», отправились в длинное путешествие по главной улице Саратова — «Немецкой», переходя в восторге от одной витрины к другой, где горят в ярком пламени раскаленные докрасна наковальни и сверкают золотом и серебром всевозможные серпы и молоты в мускулистых руках строгих рабочих. А гигантские рабочие в синих робах с винтовками наперевес колют штыками в пузо жирных буржуев в черных цилиндрах.

Праздник набирал силу. Бесконечные потоки пестро одетых горожан с гитарами и гармошками, с песнями и танцами шествуют по городу.

Цыпленок жареный,
Цыпленок вареный!
Цыпленок тоже хочет жить!

Чуть дальше слышатся «Кирпичики», а вдалеке под гитару студент в косоворотке, заглушая всех, запел:

…Шарабан мой, американка,
А я девчонка, да шарлатанка!..

Весь этот многоголосый, пестрый, веселый поток вывалился на театральную площадь. Было тепло. Над площадью мерцали звезды. Вдали на площади Народного борца сверкал всеми цветами радуги огромный фейерверк. А площадь пела, танцевала, кружилась в каком-то залихватском, бесшабашном вихре. Только отдельные отрывки мелодии популярных песенок вдруг заглушали все другие — «За кирпичики, за веселый шум»… И снова общий гомон топил все вокруг. Саратов праздновал Октябрь до самого рассвета. А мы, утомленные, совсем без ног, спали счастливые…

«ХРИСТИАНИЯ»

Саратов, 1924 год
Радость
Ползет улиткой!
У горя
Бешеный бег…

Владимир Маяковский

В школе во время первой перемены ко мне с таинственным видом подошел Колька и под большим секретом поведал тайну.

— Только поклянись, что никому… — сказал он, протягивая руку.

Для верности мы крепко пожали друг другу руки и сбежали черным ходом с уроков.

Коля привел меня на толкучку Верхнего базара. Мы долго шли между рядами наваленного на снегу барахла. Торговали кто чем мог.

Наконец появились на мешочной подстилке коньки. «Снегурочки», «Яхт-клуб», «Нурмис», «Жокей» и много-много других… Но Колька вел меня все дальше и дальше.

— Неужели продали гады, спекулянты проклятые… — ворчал он про себя. И вдруг больно сжал мою руку.

— Вот они! Смотри!

Я увидел на куске расстеленного на снегу холста, среди множества ржавых и сверкающих никелем коньков — длинные матовые ножи с широкими нашлепками для подошвы… У меня быстро-быстро забилось сердце. Я стоял и смотрел, не отрывая глаз, не веря себе. «А может, это не “Христиания”?» — подумал я.

— Коля, посмотри, что там написано около полоза…

— Смотри сам. Я по-немецки что-то не очень понимаю…

Наверное, продавец-армянин смекнул, что здесь можно заработать. Он взял коньки и отложил их в сторону, прикрыв мешком.

— Чего уставились? Эти проданы. Гражданин пошел за деньгами.

— А может, еще есть такие? — в нерешительности спросил я.

— Нет! В Саратове больше таких нет… Брат привез из Норвегии. «Христиания» — сам понимаешь…

Мы стояли молча. Армянин посмотрел выжидающе и

добавил:

— «Христиания»… Сам каждый день на базар торговать катал… Нога, понимаешь, мал-мал поломал…

И он постучал складным аршином по деревянной ноге.

— Заходи воскресенье, большой базар будет. Все задарма отдавать будем.

Он достал из-под мешка коньки и протянул нам:

— Посмотри, не придет покупатель — твой будет. Совсем недорого.

И он назвал такую цифру, что мы с Колькой только переглянулись…

Коньки были легкие, как пушинки, и звенели в руках. У самого полоза было тонко написано: «Христиания»… Мы со всех ног бросились обратно в школу и успели на русский.

В воскресенье я принес две пары старых «снегурочек», свои фигурные, «Яхт-клуб» и целую связку старых учебников. Требовалась коммерческая сделка…

Воскресенье увенчалось успехом — все было продано, даже складной ножичек, моя гордость, состоявший из двенадцати лезвий. Я стал счастливым обладателем норвежских беговых коньков. Длинные-длинные, они были на два номера больше по размеру. Все друзья-мальчишки завидовали мне, помогая привинчивать к старым ботинкам. Мне не терпелось поскорее встать на лед и стремительно броситься по ледяной дорожке. Коньки намного выдавались вперед, но это меня нисколько не смущало. Важно, что они были настоящие беговые. Такие, на каких катались только чемпионы… Мне казалось, что нет счастливее меня человека на земле.

На другой день после уроков мы все сломя голову неслись домой, чтобы, схватив коньки, кинуться на каток. Было ужасно холодно. Мерзли руки, уши и носы. Дул резкий, обжигающий ветер, низкое солнышко тонуло в какой-то багрово-красной мгле. Но на лед на новых коньках нужно было встать сегодня — во что бы то ни стало. Всем хотелось посмотреть, как я несусь на «норвегах».

На каток мы успели засветло, но когда вышли из раздевалки — уже смеркалось. Горели огни, и оркестр играл вальс «На сопках Маньчжурии».

Мы шли по деревянному настилу. Я страшно волновался. Идти было трудно. Я боялся, как бы не зацепиться непомерно длинными коньками и не упасть. На меня смотрели с нескрываемой завистью.

Мне казалось, что настил никогда не кончится. Впереди горели яркие лампочки, а в светлой раковине сверкали медью

инструменты. Плавно проносились в черном трико спортсмены-чемпионы. Но они меня больше не интересовали. Я их совсем не замечал… Настроение у меня было приподнятое, сердце колотилось быстро и радостно. Мне казалось, что сегодня какой-то особенный день.

Интересно, как же я поеду? Всего три дня тому назад катался на фигурных — коротких, изогнутых, высоких «Яхт-клубах», а теперь вот иду, как на лыжах… Немного не доходя до ледяного поля, мы остановились, чтобы пропустить встречный поток — замерзших, идущих греться.

Вдруг погас свет. Оркестр нестройно оборвал мелодию. Звук трубы протянулся в темноте дольше всех, замер, оборвавшись на высокой ноте. Все столпились в кучу. На секунду повисла тишина. Она потом прорвалась.

— Почему погас свет?!

— Свет!

— Дайте свет!

Мы, как самые нетерпеливые, подхватили и стали кричать громче всех:

— Даешь свет!

— Даешь свет!

Поднялась сумятица, но света не было.

Вдруг кто-то крикнул:

— Тише вы, мелюзга!

Снова наступила тишина. Мы уже начали разбирать окружающее в скудном лунном свете. На эстраду поднялась пожилая женщина в пуховом платке. Тихо, чуть слышно она сказала:

— Ленин умер…

Потом, когда она спустилась с эстрады и проходила мимо нас, мы услышали:

— Идите, дети, домой. Горе-то какое, Боже мой!

Ленин умер… Послышались голоса — тихие, приглушенные. Никто не расходился. Стало вдруг страшно холодно. Ветер обжигал руки и лицо.

Я стоял на длинных несуразных коньках. Со мной рядом стояли и молчали мои друзья. И все, что за несколько минут до этого было наполнено каким-то смыслом, вдруг потеряло всякий смысл…

— Ну что вы тут столпились? Марш в раздевалку и домой, — сказал знакомый нам сторож.

Мы застучали коньками в раздевалку. Я шел и пытался понять, что же это такое случилось? Ленин… Да нет же, совсем недавно, как мне казалось, я видел его — живого, веселого, в

кепке. Он улыбался, разговаривал и махал рукой. Я вдруг вспомнил четко, ясно. Это было… Когда мы с мамой возвращались из Киева, проезжали Москву и ехали с Брянского вокзала на Павелецкий в трамвае. Около Манежа недалеко от Троицких ворот трамвай остановился. Все высунулись из окон.

— Смотрите, Ленин, Ленин! — слышались голоса.

Мама пропустила меня к окну:

— Смотри! Смотри, сыночек. Ленин! Видишь, вон тот, справа от высокого, небольшой, в кепке — улыбается и машет рукой. Видишь? Запоминай на всю жизнь — это Ленин…

Я хорошо видел его лицо, улыбку… Трамвай тронулся. Мама качнулась и, падая на сиденье, оторвала меня от окна. Это было три-четыре года назад, но сейчас я ясно видел каждую малейшую деталь этой короткой встречи. Разве он может умереть? Это было непонятно и страшно… Мы стояли в очереди в раздевалку.

На другой день мы не учились. Был сильный мороз. Солнце висело над городом багрово-красное. Гудели натянутые, как струны, телеграфные провода…

— А помнишь, сыночек, как мы видели его — веселого, живого… — И мать закрыла лицо платком.

Над городом висели паровозные и заводские гудки, а на площади ухали залпы трехдюймовок, сотрясая воздух, и эхо ударяло о стены табачной фабрики. Галки с криками метались над площадью, не находя себе места. Белый снег около орудий окрасился в желтый цвет. Коричневые пластинки пороха после каждого залпа взлетали, как бабочки…

Все это как будто происходило в другом мире, с другими мальчиками, а совсем не со мной. Мне казалось, что у меня еще совсем недавно были какие-то стремления, интересы, мечты. А сейчас внутри холодно и пусто. Только много лет спустя я понял, что так приходит горе. И значительно позже понял, как приходит прозрение.

НЕ СУДЬБА

Ленинград, 1927 год

Поражение… Победа… Я плохо разбираюсь в этих формулах… Одни поражения несут гибель, другие — пробуждение к жизни…

Антуан де Сент-Экзюпери.
«Военный летчик»

Мне семнадцать.

С большими надеждами я сел в поезд и поехал на Балтику, в Ленинград, куда отправил документы и заявление — в Военно-морское училище.

Все для меня было новым и необычным. Самое главное — это моя самостоятельность. Я был один, никто меня не сопровождал, и мне казалось, что я наконец-то стал взрослым… Конец августа ничем не отличался от жаркого лета. Я предполагал, конечно, что в Ленинграде будет значительно холоднее, но я ведь был хорошо физически подготовленным, закаленным, если не морским, то, по крайней мере, речным волком, и поэтому отправился в путешествие в том же виде, в каком был в Саратове. На мне была белая рубашка «апаш» с засученными рукавами, а под ней вылинявшая, видавшая виды тельняшка, черные брюки клеш — вот и весь мой наряд. В таком виде я предстал перед Невским проспектом, когда вышел на вокзальную площадь. У меня был адрес, где должны были приютить меня на месяц-два, пока я не устроюсь в общежитии училища. Адрес был незамысловатым: Невский проспект, магазин Елисеева, парадное рядом на самом верху, тов. Кирносов.

С вокзала, с маленьким чемоданчиком в руках вступив на Невский проспект, я отправился на поиски т. Кирносова. Я знал еще, что он сотрудник ЧК и редко бывает дома. Я шагал не очень бодро по широкому проспекту, о котором так много читал; озираясь по сторонам, я искал приметы из прочитанных книг и держался, если смотреть на меня со стороны, явным провинциалом. Погода, как и следовало ожидать и как написано в книгах, была мокрой, дождливой, И я, еще не доходя до Фонтанки, уже промок насквозь… Но я был закаленным, и это обстоятельство меня нисколько не волновало, хотя по спине

продирал озноб.

Все вокруг было новым, интересным и в то же время странно знакомым, родным — будто бы я в этом городе уже когда-то, давным-давно, жил… Так я незаметно для себя добрался до шикарного хрустального Елисеева, остановился: в какое из парадных мне нырнуть?.. Все было таким, как мне описали, все я нашел и добрался до верхнего этажа, только хозяина не было дома…

Оставив соседке чемоданчик, я пошел дальше по Невскому. Моя мокрая одежда прилипала к телу и «грела» меня, как холодный компресс во время высокой температуры.

Меня одолевало много противоречивых чувств. То мне становилось невыносимо грустно и одиноко, то я чувствовал себя героем увлекательного приключения, которое только что началось, то хотелось побежать, сломя голову, на вокзал и вернуться обратно в Саратов.

Дождь перестал меня хлестать косыми прядями по лицу, ветер вдруг оборвался, и над золотым куполом Исаакия прорвался светлый меч солнца. Он воткнулся концом в купол, брызнул ярким огнем и побежал по свинцовой Неве. Вдали в серой дымке тонким силуэтом прорисовался Петропавловский шпиль.

Я хладнокровно пропускал мимо себя густую, шумную толпу, и только когда появлялись вкрапленные в нее матросы в бескозырках с длинными ленточками, мой взгляд ревниво и долго следил за ними. Я читал надписи на ленточках: вот матросы с линкора «Марат», с «Октябрьской революции», а вот с подплава, а это что-то совсем незнакомое — ЭПРОН. Что же это значит — ЭПРОН?

С каким интересом и внутренним сожалением я следил за моряками Совторгфлота: как вольно и непринужденно они ходят, говорят, стоят группами у сверкающих витрин. Их сияющие огромными золотыми крабами фуражки приводили меня в трепет. Вот это — те самые люди, которые прошли огонь, и воду, и медные трубы, как мой отец — штурман дальнего плавания.

Сердце мое щемило: почему я поменял Совторгфлот на военно-морскую службу — решил поступать в военную мореходку, а не в гражданскую, как мой отец?

Одежда на мне просохла. Стало тепло. Я подошел в конце Невского к высокой башне с золотым шпилем, на острие которого, как флюгер, сиял на солнце кораблик. Вот она, Адмиралтейская игла. Точь-в-точь как у Пушкина. Вот так же, как и я, смотрел он на нее, и строка за строкой сбегали с его гусиного пера… мчался вдоль Невы Медный всадник, бежала по Зимней

Канавке Лиза…

Я не верю своим глазам, неужели в этом городе я никогда раньше не бывал? Так все знакомо, так все близко и явно, будто бы живу во второй раз…

Звенят трамваи мягким приглушенным звоном, бесшумно катятся экипажи, и лошадиный топот приглушен — будто кони обуты в мягкие туфли. Сначала я не мог понять, почему не звенит мостовая, а когда на углу Невского и Дворцовой площади увидел ремонт улицы, то понял причину — мостовая была торцовой. Я никогда раньше не видел и не мог представить деревянной мостовой. Аккуратные шестигранные кубики напоминали игрушки.

Дворцовая площадь меня поразила своей необъятной широтой и строгим видом. Александровская колонна, арка Штаба, сияющий вдали гигант Исаакий и Зимний дворец с Эрмитажем надолго приковали мое внимание, и я застыл с широко раскрытыми глазами под исполинской колонной — ничтожный, маленький… Меня охватили необъяснимые чувства. Они настолько овладели мной, что я потерял себя во времени и растворился в ощущении истории великого города. Улицы, проспекты, площади и набережные, по которым я бродил, замкнулись в один сплошной круг, из которого я уже до самого отъезда не сумел выйти. Только поздно ночью я встретил Кирносова наверху лестничной клетки и определился у него на временное жительство.

Экзамены в училище им. Фрунзе по неизвестным причинам были отложены на месяц, и я с радостью принялся изучать Ленинград.

Русский музей стал моей резиденцией. Целыми днями я просиживал перед полотнами Айвазовского, Куинджи, Семирадского, Васильева…

Эрмитаж произвел на меня холодное впечатление, и после длительного осмотра, продолжавшегося пять дней, я больше в него не возвращался.

Каждый день я совершал пешие прогулки на Васильевский остров, где находилось училище. Каждый день я промокал насквозь и только вечером просыхал. У меня начался отчаянный кашель, и вот я предстал-таки перед глазами медицинской комиссии. Я мог провалить любой предмет — даже любимую литературу — всякое бывает, когда волнуешься. Но не пройти медкомиссию — это было как гром на голову в ясный день.

— Вы к военно-морской службе не пригодны. У вас хронический бронхит. С подобными болезнями мы к испытаниям не допускаем…

Нет слов выразить мое состояние, мое настроение, мою печаль… Я долго стоял в длинном коридоре. Мимо меня проходили в новенькой форме подростки. Они были веселы, будто ничего не произошло. Сильно стучали каблуками и умышленно громко разговаривали о морской службе, чтобы окружающим было до боли завидно на них смотреть. «Вот мы моряки, а вы кто такие? Понаехали сюда. Все равно из вас ни черта не выйдет!» Да, из нас уже ничего не вышло, вернее, из меня. Я с горечью и слезами на глазах рванулся вперед и чуть ли не бегом выскочил на улицу…

Шел мелкий осенний дождь, но мне было жарко. Лицо горело, было страшно стыдно — проделать такой путь и вернуться ни с чем. Забраковали из-за плохого здоровья, какой парадокс! «Плохое здоровье! У меня плохое здоровье…» Я напряг руку и поиграл мускулами — плохое здоровье! Черт знает что! Я медленно брел по набережной Невы, печально смотрели на меня древние сфинксы и, мне казалось, жалели меня, «слабого, немощного».

Вдали сквозь густую серую сетку дождя рисовался прозрачный силуэт Исаакия, и желтый купол, казалось, был изнутри подогрет золотым огнем.

Все такая же взъерошенная, бежала мне навстречу Нева, и все так же на вздыбленном коне скакал Медный всадник… Ничего не произошло… Не остановилась Нева, не провалился мост лейтенанта Шмидта, и не покачнулась Петропавловская колокольня.

Пешеходы на улице проходят мимо и никакого внимания на меня не обращают, а мне казалось, что сейчас все будут надо мной смеяться: «Провалился! Смотрите на него! Он совсем слаб!..» Странно! Как же так! Ничего не произошло, все на своем месте, и там, за тяжелой завесой дождя, наверное, ярко светит солнышко. Удивительно! Я иду по городу медленно и прощаюсь с Ленинградом. С какой грустной завистью я прощаюсь с идущими по Невскому матросами…

«Прощайте, линкоры «Марат» и «Октябрина», прощайте, балтийские моряки! Мне не повезло! Я так хотел быть с вами, шагать широким шагом вдоль Невы, подставлять лицо резким порывам ветра и вдыхать полной грудью влажный соленый ветер…»

Увы! Прощай, соленый ветер. Нева. Мосты и кони. Прощайте, Куинджи, Пушкин, Семирадский… Мне казалось, что больше никогда я не вернусь в этот одетый в гранит город — город, который в короткий миг я так полюбил.

Вечером, когда лакированный от дождя Невский сиял и

переливался светом желтых фонарей, я с маленьким чемоданчиком в руках спешил на вокзал… На этом кончилась моя военно-морская эпопея.

Я испытал свое первое поражение. Впрочем, до сегодняшнего дня я не знаю — было ли это поражением или судьба оберегала меня от чего-то, как оберегала потом всю жизнь.

…Скрылся в туманной дали Ленинград. Стучат вагонные колеса, отчетливо выстукивая: «Не попал, не попал, не попал…»

ПЕРВЫЕ УРОКИ

Москва, 1929 год

«Мне надо рассказать, при каких обстоятельствах я впервые захворал болезнью века».

Альфред де Мюссе. «Исповедь сына века»

Синематограф… Какое чудесное таинственное слово — «синематограф». Синематограф пленил меня, вытеснил мечту о море, заставил приехать в огромную, неуютную Москву.

Уже на вокзале меня встретила шумная, дребезжащая трамваями Москва с ее горластыми торговцами, носившими на голове огромные деревянные подносы с фруктами:

— Кому дюшес, дюшес кому?

— Груша бэра!

— Слива ренклод — сущий мед!

Москва громыхала, стучала коваными колесами груженых повозок, подковами тяжеловесных битюгов и легким цоканьем лихачей по бульварной мостовой. По Тверской мчались такси «рено» с открытыми задними сиденьями, а шоферы старались вовсю и гудели, квакали в резиновую «клизму».

Но самым характерным звуком для Москвы тех времен был тоненький писк резинового надувного шарика. «Уйди-уйди» — четко и ясно пищала вся Москва того времени.

Яркая реклама на Сретенке заклеила весь фасад синематографа «Уран»:

«Женщина с миллиардами»!
В главной роли Миа Май!
Восемь серий! Только у нас!

В кинотеатре «Арс» на Тверском шла «Индийская гробница», а в синематографе на Малой Дмитровке — «Багдадский вор» с Дугласом Фербенксом. Картины те же, что и у нас в Саратове, только афиши несравненно ярче и «шикарнее».

По узкой Тверской гремел-дребезжал трамвай, увешанный на подножках пассажирами, и пофыркивали английские автобусы

«Лейланды».

Даже ночью Москва не утихала — грохотали одинокие трамваи и пели на крутых поворотах рельсы, до самого утра развозили пьяных гуляк от Филиппова, Метрополя и из Арбатского подвальчика, цокая по булыжнику, извозчичьи фаэтоны.

Мчалась шестерка коней на Триумфальной арке у Тверской заставы, и из-под нее расходились пути на Ленинградское шоссе. На шестом трамвае я проезжал под нею и выходил у Яра. Это был ГТК — Государственный техникум киноискусства. Здесь же под одной крышей с техникумом находилась студия «Межрабпом Русь».

Тут же был полный сбор всех желающих попасть в «кинозвезды». Мне сказали сведущие ребята, которые уже третий год пытались попасть, вернее, пробить неприступные стены ГТК, что перед экзаменами нужно походить по музеям и как можно больше «поднатореть» в ИЗО — изобразительном искусстве. Я постарался на славу, хотя многое знал и до этого.

Все свободное время я проводил в ГТК — знакомился с разными точками зрения на систему приема и трудностями ее преодоления. Я сказал «свободное время», то есть свободное от моих походов по выставкам и от работы. Поскольку я приехал на месяц раньше и имел где жить (меня приютила мамина сестра), я сумел даже временно поработать на студии «Межрабпом Русь» осветителем.

В огромном павильоне, где теперь помещается ресторан, стоял величественный католический крест. А весь павильон представлял собой внутренность костела, по которому носился совсем еще молодой Игорь Ильинский. Снимался фильм Якова Протазанова «Праздник святого Йоргена». Я сидел высоко на лесах, и в моем ведении был дуговой осветительной прибор — пятисотка.

Мне надлежало внимательно следить за углями, чтобы они горели и не мигали. Занятие это было не легким, но привычным для меня, так как, работая киномехаником, я привык иметь дело с углями. Но угли то и дело мигали, оператор снизу грозил кулаками, и по его губам я видел, что в мой адрес летели не совсем лестные выражения.

Мы часто работали вдвоем с моим новым товарищем из Новороссийска, Леней Троцким, с которым подружились сразу же по приезде в Москву. Но после инцидента на съемке Лене отказали в работе. А случилось следующее.

Мы сидели на лесах рядом, и каждый корпел над своим прибором, как умел. Леня очень старался «не мигать», но ничего

не получалось — проклятый прибор подмигивал в самое неподходящее время. Оператор грозно показал ему кулак и сделал такой жест ногой, показав на одно мест, что сомневаться не приходилось: если еще раз мигнет, то придется вылететь со студии. Леня, бедный, старался изо всех сил, но после возгласа режиссера: «Камера! Начали!» — пятисотка просто погасла. Леня не стал дожидаться вторичного красноречивого жеста в свой адрес и начал спускаться с лесов вниз. Когда он спустился и, расстроенный и пристыженный, покидал павильон, он не заметил толстый кабель, зацепил его и стащил на себя злополучный прибор. Пятисотка накрыла его. Раздался дикий крик. Все кинулись и извлекли бедного Троцкого с кровавыми синяками на голове. Он так испугался, что его выгонят со студии, что боли не чувствовал совсем. Перепуганный оператор прибежал к месту происшествия и не только не ругал, а обнимал и успокаивал Леню. Леня чудом уцелел, но со студии его все-таки уволили.

Мы часто снимались в массовках. Нам платили «большие», по нашим представлениям, деньги. Ведь в Москве приходилось жестко укладываться в тридцать — сорок копеек в день.

Приближались испытания. Все страшно нервничали, даже видавшие виды «повторники», которых было достаточно. Но вели они себя — особенно вначале, до испытаний — как уже поступившие, как студенты. Преподавателей звали не иначе, как Ваня, Толя, Саша, как будто бы были с ними на короткой ноге.

В техникум то и дело приходили знаменитые режиссеры, чтобы отобрать ребят на съемки. Тогда еще они предпочитали делать это сами. Мы смотрели на них, как на людей, сошедших с Олимпа. Пудовкин, Протазанов, Эйзенштейн. Боже мой. Эйзенштейн! Проходя мимо нас, он вдруг поздоровался со мной, пожал руку, похлопал по плечу, что-то хотел спросить, но, очевидно, поняв, что принял меня за другого, просто сказал: «Ну, как дела?» — и пошел дальше.

Я решил, что это сама судьба в лице знаменитого режиссера отмечает меня… Я всегда был фантазером. Кто-то обиженно спросил: «Почему ты раньше не говорил, что знаком с ним?» Я промолчал. Не говорить же, что это просто ошибка, счастливая случайность.

Испытания начались с мастерства фотографии. Каждый показывал свои работы. А я о фотографии вообще никакого понятия не имел и не предполагал, что меня об этом будут спрашивать. В комиссии главным был Иван Александрович Боханов. «Он видит тебя насквозь и даже глубже», — так говорили о нем «повторники».

Мне было очень страшно, когда я открыл дверь в небольшую

комнату, где заседала комиссия. Три стены были увешаны окантованными фотографиями, а на четвертой были графические рисунки: линии, круги, точки, квадраты… На четырех картинках, сделанных углем, были нарисованы три елочки, горизонт и заходящее солнце. На всех четырех и елочки, и уровень горизонта, и солнце были расположены по-разному — то солнце справа, то слева, то в центре картинки…

Я растерянно смотрел на фото, на картинки, на чертежи и ждал вопросов. Вопросов долго не было. Комиссия уткнулась в мои документы и изучала их.

— Так ты из Саратова? — вдруг неожиданно спросил, взглянув на меня, загорелый симпатичный мужчина с серо-синими глазами. — Давай твои фотографии.

— У меня нет фотографий.

— Как нет?

— Я не умею снимать и не знаком с фотографией.

— Так зачем же ты приехал, если ничего не знаешь?

— Учиться приехал… Я выучусь быстро… — Мне стало жарко.

— Ну как с ним быть, товарищи?

— Отставить… — сказал кто-то унылым безнадежным голосом, даже не взглянув на меня.

Я почувствовал, что на глаза невольно навернулась слеза. Я молчал и думал, что больше в Саратов возвращаться нельзя. Позор.

— Ну, хорошо, друг мой Ме́коша… Так, кажется, твоя фамилия?

Я поправил:

— Микоша.

— Значит, судя по твоему имени, ты приехал, чтобы научиться владеть славой? Да?

— Нет, я сначала хочу учиться, а потом будет видно, чем владеть.

— Ну, если так, тогда отвечай на вопросы. — Он взглянул на членов комиссии и положил руку на плечо тому, кто сказал «отставить».

Я с благодарностью посмотрел на Боханова. Это был он.

— Какой из виденных тобой фильмов тебе больше всего понравился?

— Из заграничных — «Нападение на Виргинскую почту» и «Знак Зорро», из наших — «Потомок Чингиз-хана» и «Человек из ресторана».

— Так… — постучал карандашом по столу Боханов.

— А почему из такого множества фильмов тебе понравились

именно эти?

Я очень коротко и коряво, как мне казалось, начал с «Потомка Чингиз-хана», но Иван Александрович поднял руку и сказал:

— Достаточно. Но откуда у тебя такая непонятная фамилия? Ты что — венгр или чех?

— Нет, я русский, волжанин. А фамилия происходит от Миколы — уменьшительное Микоша. — Я напрочь забыл о польских корнях отца.

— Так-так, Микола… Ну а в Третьяковке ты был? Что тебе, кроме «Ивана Грозного», понравилось?

Мне «бывалые» ребята рассказывали, что когда задавали подобные вопросы, девяносто процентов называли Репина — «Иван Грозный», в лучшем случае — «Запорожцы» или «Бурлаки».

Я назвал Врубеля, Куинджи, Дубовского, Серова, Коровина и, вспомнив Саратов, своего учителя живописи Михал Михалыча, рассказал об итальянской школе живописи, и о Рафаэле, и о Микеланджело Буонаротти… И тут я почувствовал, что комиссия потеплела и иронию в вопросах, как ветром сдуло. Мои познания в живописи и искусстве заинтересовали комиссию, незаметно наш разговор стал обоюдным, перешел на сегодняшний день — на поэзию. Я назвал имена своих любимых поэтов — Блока, Брюсова, Есенина, Пастернака. Когда я назвал Маяковского, то один из членов комиссии раздраженно спросил:

— Чего же вы в нем нашли поэтического? Какое он имеет отношение к поэзии?

Меня выручил Боханов. Он вдруг встал, подошел к стене с непонятными графическими схемами и сказал:

— Дорогие друзья, я думаю, нам пора перейти к последнему разделу. Мы и так уделили слишком много внимания этому волжанину. Посмотрим, на что он способен как будущий оператор.

Я встал перед стеной, увешанной, как мне показалось вначале, простыми схемами графически исполненных карт.

— Дорогой товарищ Микоша, если ты хочешь владеть славой, то назови, пожалуйста, пять кадров — по одному в каждом ряду. Например, вот здесь — сверху вниз.

Тогда я не понял, что это и есть главное мое испытание. Не долго раздумывая, я один за другим назвал пять кадров, которые показались мне наиболее привлекательными. Боханов взглянул на комиссию, развел руками, повернулся ко мне и очень ласково сказал:

— Спасибо, товарищ Микоша. Вы свободны.

Я пробыл на комиссии меньше часа и вышел оттуда мокрый,

обессиленный. Мне задавали вопросы, но я ничего путного не мог сказать. Мое волнение передалось другим.

— Что, срезали, закопали?

— Не знаю, не знаю…

Но я был убежден, что срезался… Тем более я завалил химию и математику…

Чего же ждать? Я решил не ходить «к Яру». Но больше двух дней выдержать не мог. На третий день пошел. В вестибюле возле лестницы на доске объявлений висел короткий список, отпечатанный на машинке. Около него спрессовалась плотная толпа. Я не без труда протиснулся к доске и, волнуясь, стал читать список на букву «М». Там стояло «Микшис Владислав», — дальше на «М» ничего не было, и я с бьющимся сердцем отошел в сторону.

Что теперь делать? Куда идти? Ехать обратно в Саратов нельзя — позор. Что же делать? А может быть, мою фамилию неправильно отпечатали? Там, в списке ведь очень близкая, и имя мое… У меня снова появилась искорка надежды. Да нет же. Я ведь двух экзаменов не сдал, да и у Боханова неизвестно… К тому времени любопытные — и принятые, и не принятые — отошли от списка. Я еще раз с замиранием сердца подошел к нему. Начал читать и вдруг совсем не по алфавиту — гораздо ниже — увидел и свое имя, и свою фамилию. Они были напечатаны правильно, никаких опечаток. Я не верил своим глазам. Перечитал несколько раз. Да, есть. Есть и мой товарищ из Новороссийска — Леня Троцкий.

Своим поступлением в ГТК я был всецело обязан Боханову. Комиссия отклонила меня, два провала — по химии и математике — шутка ли сказать?! Но Боханов вступился за меня:

— Кого мы собираемся готовить из него? Доктора химии, профессора математики или творческого работника? По своим данным он не только отвечает нашему минимуму, но и превосходит его. Из него может выйти толк.

Преодолевая упорное сопротивление, ему удалось отстоять меня. Я узнал об этом значительно позднее, но и с самого начала, не будучи в курсе дела, я проникся к нему большим уважением. Потом я узнал, что он был не только замечательным педагогом, но одним из лучших фотопортретистов своего времени, что, работая в фотокиноотделе Наркомпроса и связав свою жизнь с ГИКом, он не изменил своему призванию — не стал, как многие в то время, кинооператором.

Итак, я студент! Даже не верится. Ведь ничего не случилось нового во мне, каким я приехал, такой я и есть, но одно то, что я студент, меняло многое. Взгляд на окружающее уже был другим,

да и отношение ко мне впервые было, как к взрослому.

Началась для меня новая жизнь.

Новые люди окружали меня, а мне казалось, что я все еще такой же маленький, каким был в школе, что все те же занятия, только вечерние, та же математика, химия, физика и совсем немного фотографии, композиции кадра. Как мы все ждали наступления этих коротких часов! Лекции Боханова были необычайно интересны. Он разговаривал с нами очень дружески, умел строить занятия таким образом, что студенты были предельно активны — дополняли и развивали его мысли. Всегда было занимательно, весело и остроумно.

Время бежало быстро, и всегда хотелось продлить его. Многие из нас не уходили из аудитории даже на перерывы. Иван Александрович был внимательным, добрым, душевным человеком. Особенно к тем, кто действительно хотел получить знания, даже если они не были особенно одаренными. Но к лодырям он относился с такой остроумной иронией, что обычно весь курс смеялся над этими «деятелями», как он их называл. Как правило, это были те, кто прятался за псевдообщественную деятельность и свои неуспехи в учебе оправдывал то заседаниями, то собраниями, то подготовкой к докладам. Одним словом, были «деятели», но ничего не понимали в профессии, к которой себя готовили. Однажды к нам в ГТК приехал режиссер Николай Экк. Он отбирал для своего фильма «Путевка в жизнь» актеров. Нам, всем новичкам, особенно хотелось попасть на съемки. С актерского факультета на главную роль был отобран мариец Иван Кырла. С других факультетов тоже отобрали несколько человек — «эпизодников». В их число попал и я. Снимали нас в неучебное время — долго, много и упорно. Но в фильм, где я промелькнул почти незаметно, вошел только один маленький эпизод — бунт в коммуне, снятый на берегу Москва-реки, на фоне колокольни Ивана Великого. Но даже этого было достаточно, чтобы после демонстрации фильма ко мне из Саратова посыпались письма и поздравления от изумленных друзей.

Потом режиссер Юлий Райзман пришел в ГТК, чтобы отобрать актеров для своего нового фильма. В коридоре ГТК он увидел меня и предложил сниматься в фильме, который должен был называться «Жорж Филиппар». Я должен был играть в нем роль разбитного одесского моряка. Это уже была не массовка и не групповка, а интересная большая роль. Сделали фотопробы, и Райзман предложил мне отрастить шкиперскую бородку. Отрастил. Но, к моему изумлению, борода выросла ярко-рыжая. За нее меня прозвали Барбароссой. Первая звуковая проба

состоялась в студии на Лесной, но дальше дело не пошло: фильм сняли с производства, мотивируя тем, что он не актуален. Так не состоялась моя актерская карьера, к которой я, впрочем, не очень-то и стремился!

С первых же дней учебы я близко сошелся со своим тезкой Микшисом. Нас стали звать Владики. В нашей компании были Борис Горбачев, Паша Русанов — лирик, Андрей Болтянский — «Малая Советская энциклопедия», как мы его называли, Коля Лыткин и Володя Георгиев. Мы всегда держались вместе — пописывали стихи, читали Пастернака, Блока. Паша часто выкапывал неизвестно откуда отдельные строфы и, обращаясь к нам, кричал: «Сто рублей тому, кто отгадает, чьи!» Обычно никто, кроме Горбачева, правильно не угадывал, даже всезнающий Болтянский.

Однажды Борис Горбачев пришел на лекции страшно возбужденный. Перед началом занятий он вдруг поднялся на кафедру, поднял властно руку и громовым голосом прочел:

— «Слушайте, товарищи потомки»…

А надо сказать, что голос у Бориса был красивый, бархатный баритон, хорошего звучания, и стихи, особенно Маяковского, он читал не хуже Яхонтова. Оказывается, Борис вчера познакомился с Маяковским и слушал, как он читает свои стихи. С этого дня Бориса невозможно было узнать. Всюду, где можно и где нельзя, он читал Маяковского.

Борис не только хорошо читал стихи. Он был прирожденным оратором, и не просто оратором, но человеком с очень светлой головой, интересным, творческим. На собраниях он всегда имел свою собственную точку зрения, и трудно было кому-нибудь после выступления Горбачева с ним не согласиться.

Увлечение Маяковским не прошло Борису даром: Горбачева судили товарищеским судом, назвав дело «маяковщиной». Заодно попало и нам, а Бориса постановили исключить из ГТК. Но на одном из общих собраний Борису удалось доказать, что он ни в чем не виноват! Это было блистательное выступление. Шаг за шагом в последовательных логических выкладках Борис «наголову» разбил своих недалеких обвинителей. Переполненный зал устроил ему овацию, и взволнованный, улыбающийся, с всклокоченной шевелюрой Борис спрыгнул со сцены. Он весь светился каким-то особенным светом — светом достойной победы над темным завистливым невежеством…

…Благодарный Боханову, отстоявшему меня, я старался вовсю. Мне было очень трудно, так как я не знал фотографии. Пришлось догонять товарищей. Целыми ночами я не вылезал из съемочного ателье и лаборатории. За короткое время я

сфотографировал не только всех вновь принятых актеров, но и кончивших ГТК. Я твердо помнил поговорку одного из наших самых любимых преподавателей — Евсея Михайловича Голдовского. Когда мы первый раз появились на его лекции по электротехнике и у вызванного студента никак на доске не сходились числа, Голдовский, улыбаясь, сказал: «Ничего, если зайца долго бить, он научиться спички зажигать. Я надеюсь, что к вам это прямого отношения не имеет, но знать об этом полезно».

Москва произвела на меня какое-то угнетающее впечатление. Несмотря на новизну своей жизни, на занятость и новых друзей, окружавших меня, я страшно скучал по Саратову, по Волге, по оставленным друзьям.

…Москва, закопченная, душная, каменная, с грязной рекой, по которой плывут масляные пятна мазута, день и ночь шумит, не дает покоя. Без конца бегут, торопятся люди, как будто боятся куда-то опоздать. Я пробовал отвлечься от своих мыслей, от постоянного сравнения Саратова с Москвой, в котором Москва неизменно проигрывала, а Саратов вставал передо мной светлым, солнечным, сверкающим, таким, каким можно увидеть родной город в детстве. А Волга — о ней и слов нет… Больше всего я, конечно, тосковал по Волге, по ее утренним и вечерним зорям, по ее бесконечно прозрачным далям, заводям, затонам. Порой мне казалось, что я не выдержу и сбегу. Но желание стать оператором пересилило. Когда совсем становилось невтерпеж от тоски, я сильнее налегал на занятия по фотографии, по композиции, и это в какой-то мере отвлекало и успокаивало.

На курсе нас было двадцать шесть человек. Среди них четыре девушки. Мы не успели еще узнать друг друга, как двоих с нашего курса забрали прямо с лекции. Вскоре было курсовое собрание, где руководство ГТК — партийное и комсомольское — обвинило всех нас в «потере» политической бдительности: как это мы у себя дома не распознали врагов-националистов?

Я не мог понять, за что посадили ребят восемнадцати-двадцати лет… Неужели они успели натворить что-либо против советской власти? Мне было страшно. Я стал внимательно присматриваться к своим товарищам — нет ли в них каких-либо вредных особенностей? Люди как люди. И я успокоился: значит, те двое, с которыми еще и познакомиться-то не успели, чем-то отличались от нас, оставшихся на курсе. Но через некоторое время возник еще один процесс. На сей раз объектом его оказался опять член нашей компании Володя Георгиев. Дело называлось «георгиевщина». Я уже не помню всего, в чем обвиняли парня, но кроме Есенина, которого он любил, ему пришили оппортунизм. Теперь только я понимаю — вспоминая те давние времена —

просто парень был очень хороший, светлый, творческий, принципиальный, и с кем-то из наших факультетских «вождей» поспорил. С ним расквитались быстро: исключили и не восстановили.

«ЗЕМЛЯ»

Москва, 1930 год

Я был человек, просто человек, не знал о себе, что я маленький, просто человек, что только недавно появился в мир, что расту, узнаю, постигаю и тому подобное.

Именно я был просто человек.

Юрий Олеша

Трудный был тридцатый год в Москве. Мы жили на маленькую стипендию, ее не хватало, приходилось подрабатывать на съемках то рядом на студии, то на киностудии на Житной, то на строящейся Потылихе.

Я не изменил своей привычке и, как в школьные времена, ходил зимой без пальто. Однажды на доске объявлений ГТК повесили плакат: «Профком! Купи Микоше пальто!» Моя привычка спасла меня — на пальто у меня поначалу не хватило бы денег. Пока новые люди не привыкали ко мне, я ходил у них в чудаках… Потом пальто все-таки купили.

Итак, я полностью приобщился к кино. Проходя практику осветителем, я мог ознакомиться с манерой работы многих больших режиссеров и операторов. Я видел в работе Пудовкина и Головню, Пырьева и Павлова, Протазанова и Гибера. Я не просто видел их в работе — я «светил» в их фильмах. Это было лучшей школой, какую только можно было придумать.

Случались в институте и события из ряда вон выходящие — и по накалу страстей, и по огромному значению для формирования каждого из нас — хотя тогда мы вряд ли понимали это.

— Друзья, вы даже представить себе не можете, кого увидите сегодня в нашем просмотровом зале! — ворвался в аудиторию взволнованный Леня Троцкий.

Мы столпились вокруг.

— Сегодня Довженко показывает свой новый фильм — «Земля»! Нам первым!

— А кто оператор? — деловито спросил кто-то из ребят.

— Домуцкий — лучший оператор на студии ВУФКУ.

— Ребята, там наши деятели готовят разгром Александру Петровичу. Поняли? Я призываю вас постоять за «Землю». Иван

Александрович Боханов видел фильм в Киеве на студии — говорит, что это здорово. Так что постоять есть за что…

Перед началом просмотра на сцене перед экраном появился Александр Петрович Довженко. Он вышел медленной походкой, подошел к краю сцены и впился строгими голубыми глазами в аудиторию. Зал замер. Постояв молча, как бы собираясь с мыслями, он заговорил:

— Друзья! Что касается социального заказа, который мне сделал худотдел, то я не только его принимаю, но должен сказать, что я сам давно уже поставил перед собой именно этот социальный заказ.

Он сделал паузу, окинув взглядом зал — пристально-пристально, как бы стараясь хорошо разглядеть всех своих сторонников. Его всклокоченные светлые волосы горели, как венец, подсвеченный контровым светом.

— Апостол! — шепнул мне в ухо сидящий рядом Борис Горбачев.

— Дядька Панас — украинский середняк — это фактически мой отец, Петр Семенович Довженко, который на шестьдесят седьмом году своей жизни вступил в коллектив…

Александр Петрович говорил недолго, предваряя просмотр. А говорил он о том, как увидел то, что происходило на земле — о революции, коллективизации, которую он воплотил в своем герое Василе, в его столкновении с кулаком Хомой. Я все это знал из скупой кинохроники, которую нам показывали на просмотрах в ГТК, да по ярким разухабистым плакатам, которые в то время были главной массовой пропагандой.

Поразила меня одна фраза в его выступлении — о том, что этот фильм он сделал как бы на переломе двух эпох: лето и осень 1929 года. Я был далек от понимания этого перелома в жизни села, страны, но именно это событие — лето и осень 1929 года — стало «переломом двух эпох» в моей жизни. Я ждал начала с нетерпением.

Погасили свет. Несмотря на общий огромный интерес, зал реагировал по-разному. Он явно разделился уже в самом начале фильма на два неравных лагеря.

Меня фильм потряс. Потряс поэзией каждого кадра, каждого образа. Я не воспринимал его как современную историю — это скорее была притча о добре и зле, жизни и смерти — вне времени и пространства, несмотря на национальный колорит украинского села.

Аплодисменты начались бурные, как поток — еще в темноте, но когда зажгли свет, сразу определились недовольные. Они сидели мрачные и подавленные и держали руки на коленях. На

сцене появился Довженко, и аплодисменты смолкли.

— Тише! Тише! Не надо так… Что сказал о «Земле» худсовет, я знаю, а вот какое сложилось отношение к фильму у вас — мне очень интересно. Призываю быть откровенными!.. — Александр Петрович сошел со сцены в зал и присел в первом ряду на предложенное ему место. На сцене появился наш партийный босс — Мито Варламов и объявил десятиминутный перерыв.

Пока курили, чуть не подрались. Страсти накалялись в вестибюлях, коридорах, и даже на свежем воздухе у входа на Башиловке, куда вышли отдышаться некурящие, шум стоял невообразимый. Уже раньше конца перерыва зал был переполнен.

— Кто хочет первым высказать Александру Петровичу свое мнение о его картине? Учтите, что «Земля» показывается в своем чистом — первозданном варианте!..

— Ты хочешь сказать — в неисправленном! — выкрикнул из зала студент Кишмишов с режиссерского факультета.

— Тише! Прекратить выкрики с мест! Хочешь сказать — выходи…

— На чистую воду! — выкрикнул кто-то с места.

И пошли, и пошли на сцену штатные ораторы. Они не хвалили, не ругали. Говорили, лишь бы показать себя, свое красноречие, умение, говоря, ничего не сказать. За ними в каком-то озлоблении и ярости, неизвестно против кого и чего, один за другим, размахивая руками, как бы рубя кого-то или что-то, с хрипотцой в горле — заговорили, заорали, заспорили…

— Как можно раздеть женщину — не просто женщину, а советскую женщину и притом колхозницу — догола?! Как это можно, я спрашиваю?!

Александр Петрович сидел невозмутимо, с гордо поднятой головой, на его губах застыла саркастическая улыбка.

— Как можно в таком непристойном виде гонять ее перед осветителями, перед группой, в конечном результате перед всеми нами, перед всем миром? Это позор! За одно это режиссера надо лишить права снимать! — гремел, стуча кулаками по трибуне, один из «деятелей».

— Не разбей графин! — кто-то выкрикнул из зала. зал грохнул смехом.

Оратор сбился, махнул рукой и не сошел, а спрыгнул со сцены.

— Какой стыд! Раздеть советского человека! Бросить его на осмеяние и глумление!.. — подхватил следующий «критик».

— А ты родился во френче? — выкрикнул тот же голос.

Зал грохнул от смеха.

— Вам не удастся меня сбить! Я не уйду, как предыдущий

оратор! Так вот на чем я остановился? Да! Судить его надо, я говорю о режиссере, а не приветствовать, как это делают здесь политически ослепшие молокососики, зовущие себя советскими студентами…

В зале поднялся свист и топот ног.

— Долой его! Долой!

— Я многое еще не сказал, но вы свидетели — не дают!

Под свист и топот он убежал со сцены, но не в зал, а за кулисы.

— Эх, если бы я умел так говорить, как ты, Борис, дал бы я этим жару! — шепнул я Боре Горбачеву.

— Умение тут ни при чем — важно идею иметь, позицию! Мысли в голове иметь надо, а выразить их, особенно, когда накипит, — просто! Поднимайся на сцену и шпарь. Вот ты, к примеру, молчаливый человек, и никто не знает, что ты несешь в себе, и несешь ли? А если да, почему ты не хочешь выразить себя, свою позицию? Почему? — Борис внимательно посмотрел на меня. — Ты не обижайся, это не прямо к тебе вопрос, а вообще ко многим и твоим, и моим друзьям, которые вот так, как ты все время молчат. Я понимаю, не каждый может выразить себя словом, но неужели тебе нечего сказать?

Я растерялся:

— Не знаю…

Но, думаю, что сказать тогда мне было действительно нечего: восприятие мое было на уровне ощущений, эмоций, а не осмысления и понимания происходящего. Я просто точно чувствовал, что талантливо, что — нет, что — добро щедрости и искренности, а что — зло зависти и воинствующего эгоизма. Но сформулировать даже это в слова и фразы я не умел.

— Постой, постой! Чего он там мелет?..

Зал только что кончил аплодировать студенту, сумевшему очень хорошо и точно проанализировать фильм. На трибуне грузно и самоуверенно появился новый оратор:

— Эти овации я лично расцениваю как организованное выступление группы так называемых советских студентов, поддерживающих буржуазные реакционные взгляды на искусство вообще! Искусство здесь и не ночевало!

— А ты сегодня, Миша, где ночевал?

Оратор осекся.

— Я? Товарищи, прекратите меня сбивать! Вот вы сейчас, все те, кто мешает нам проводить этот интересный диспут, похожи на того, кто штопором ввинчивается в межу. Поняли, надеюсь, что я этим хочу сказать?

— Нет! Переведи, что ты этим хочешь сказать? — выкрикнул

все тот же голос.

— Я хочу этим сказать, что это чистой воды формализм! Теперь, надеюсь, поняли? А вы, безрассудные сосунки, мешаете моему выступлению и ничего-то за красивостью оператора Демуцкого не увидели! А надо бы увидеть! Подобные фильмы уводят нас от нашей целеустремленной жизни вы знаете куда? Туда! — Широким театральным жестом он показал куда-то в сторону и назад за экран…

Каждое подобное выступление, как правило, кончалось стереотипно:

— Да знаете ли вы, к чему может привести ваше безрассудство?

Борис наклонился ко мне:

— А ты понял, почему они так выступают? Здесь вовсе дело не в «Земле», здесь все гораздо глубже — бездарность, пошлость, лицемерие дает бой всему чистому и талантливому! Понял?

— Борис, неужели ты им не ответишь? — от волнения меня колотила дрожь.

— Отвечу! Отвечу! Подожди немного — вот сейчас зацеплюсь, а потом пусть полязгают зубами…

Я заметил, что Борис не был спокоен. Он волновался не меньше меня. И только силой воли сдерживал себя, чтобы не сорваться и не ляпнуть чего-нибудь непростительного с места.

— Да знаете ли вы, к чему это может привести?..

— Долой, долой!

Свист и топот встал стеной и продолжался до тех пор, пока оратор не сошел с трибуны. Но тут же его сменил другой, и снова потоки «обличения» И снова топот и свист…

Борис встал и поднял руку:

— Прошу слова!

Я пожал ему руку и тихо напутствовал, страшно волнуясь, будто бы сам шел выступать на эту неспокойную трибуну.

— Ни пуха!

Зал предчувствуя что-то интересное, по-доброму загудел.

— А ну-ка! Выдай им, Горбайтер! — во весь голос снова гаркнул тот с места.

Спокойно поднявшись на трибуну, Борис улыбнулся, поднял как бы для приветствия зала руку, и вдруг сошел с трибуны.

— Разрешите мне так выступить — отсюда, а то там тесновато как-то.

Он прошелся по сцене, как бы для разгона своим мыслям и начал:

— Я не знаю, к чему привело наше… — Он стукнул себя в грудь.

— …безрассудство?.. — Зал напрягся и затих.

— Безрассудство таких, как вы, вы, вы и многих, подобных вам… — Он показал в зал пальцем, направленным на выступавших «обличителей». — …привело к четырнадцатому апреля этого года, когда нелепо, глупо и страшно оборвалась удивительная жизнь Маяковского. Интересно, что вы и подобные вам скажете своим детям (если они, конечно, у вас будут) и внукам (если они появятся), которые будут изучать Маяковского как классика наравне с великими Пушкиным, Лермонтовым, Уитменом?..

Зал взорвался аплодисментами, а Борис с поднятой рукой и всклокоченной шевелюрой ждал, прося тишины…

Он говорил недолго, но ярко, точно, остро, убедительно. Его ясные доводы раздевали и убивали лицемеров, ханжей, демагогов. Не пропали даром поэтические уроки Маяковского, его выступления, его бичующий юмор. Борис научился, сам, может быть, того не ведая, многому у любимого поэта. Зал то вздрагивал от хохота, то разражался плотной короткой овацией.

— Эта картина пройдет по всей земле. У нее долгая жизнь — более долгая, чем будет у вас, пытавшихся сегодня ее уничтожить…

Он помолчал и сказал вдруг тихо и раздумчиво:

— Я вот только не могу понять одного: вы ведь совсем молодые люди, жизнь для вас только начинается, все дороги открыты — откуда у вас столько злобы и зависти? И столько рабьей готовности быть «святее святых»?

Борис вместе с овацией сошел со сцены, его окружили плотным кольцом все, кому было дорого сказанное им о «Земле». Нового оратора уже никто не слушал. Поднялась суматоха и шум. Все вместе с мокрым от волнения Борисом выкатились на Башиловку. И еще долго слышался сильный и сочный баритон Горбайтера (как прозвали Бориса друзья) в сумерках под душистыми липами на Ленинградском шоссе.

ЧИСТКА

Москва, 1930 год

Вместо того чтобы утверждать права человека в личности, мы заговорили о правах коллектива. Незаметно у нас появилась мораль Коллектива, которая пренебрегает Человеком…

Антуан де Сент-Экзюпери

В августе 1930 года кинотехникум был преобразован в Государственный институт кинематографии — ГИК, но все осталось по-прежнему: и стены, и аудитории, и педагоги. Менялось другое — сам воздух вокруг нас. Он словно сгущался, спрессовывался, и порой я вдруг ловил себя на том, что словно бы нечем дышать… Отчего бы это?

…Кончилась моя летняя практика на киностудиях Москвы. Я вернулся в институт.

В институте было не до занятий. Его сильно лихорадило предстоящей чисткой партии. Я, будучи беспартийным и не комсомольцем, даже не представлял себе, чем эта чистка грозила людям с партбилетом. Особенно трясся мой товарищ Леня Троцкий.

Процедура чистки происходила в переполненном просмотровом зале на эстраде под самым экраном. Не зря волновался мой друг — его вызвали под экран одним из первых.

— На вас поступило много писем и заявлений, что вы — родной сын Льва Давыдовича Троцкого! — Председатель комиссии потряс в воздухе пачкой бумаг и писем.

— Никакой я не сын и даже не родственник! — обиженным голосом произнес бледный, с мокрым лицом Леонид Троцкий.

— Откуда у вас такая подлая фамилия? Мы что-то не встречали таких странных однофамильцев! — Председатель обвел взглядом зал.

— Меня поймали в Новороссийске! — Леня замолчал и стал пурпурно-красным.

Зал грохнул от смеха. Председатель долго стучал по графину, пока зал не притих.

— Как это понимать, что вас поймали в Новороссийске? Кто

поймал?

— Сотрудники ЧК! — с дрожью в голосе ответил Троцкий.

Зал зашумел.

— Позвольте дать разъяснение, парень волнуется и ничего толком не может объяснить.

К эстраде подошел студент с нашего курса Евсей Иофис.

— Поднимитесь сюда к комиссии и говорите, чтобы все слышали.

— Мы с Леонидом Троцким вместе приехали сюда поступать в институт из Новороссийска, и я хорошо знаю его и его историю с этой дурацкой фамилией. Он действительно пойман дзержинцами в свое время зимой на одной из улиц Новороссийска. Его с другими беспризорниками вытащили из асфальтового котла, где они, согреваясь, ночевали. Он не знал своей фамилии, и в детдоме его нарекли в честь знаменитого тогда революционера — Троцкого.

Разбирательство этого дела тянулось довольно долго. С такой фамилией в институте ему оставаться было запрещено.

Слава богу, вскоре объявилась Ленина родная сестра и сумела доказать родство и настоящие имя и фамилию. Он стал Васей Дульцевым и остался в институте.

Институт лихорадило долго. На многих пришли поклепы, и не только грязные доносы, но и политические обвинения в измене революции, в распространении враждебной идеологии.

Однажды во время лекции профессора Голдовского к нам в аудиторию без стука в дверь и без разрешения вошли двое.

— В чем дело, молодые люди? Вы мешаете вести лекцию!

Не обращая никакого внимания на педагога, один из вошедших задал вопрос:

— Кто из вас Кербабаев-оглы?

Студент за третьей партой отозвался:

— Это я!

— Кто из вас Оганян? Встаньте, когда с вами разговаривают!

— Я и есть Оганян!

— Оба следуйте за нами.

— А дождаться конца лекции у вас, милостивые люди, не хватило терпения? — спросил Голдовский.

— Да, не хватило!

Один из них вышел первым, а второй вслед студентов. Громко хлопнула дверь.

Больше мы этих ребят ни на лекциях, ни в институте не видели…

Нас стали мало учить основам кинопрофессии. Больше внимания уделялось политэкономии, истории партии,

диалектическому материализму. Из нас «выковывали» идеологически стойких, железных, несгибаемых, политически надежных граждан. Студенты-общественники в институте ценились намного выше студентов-отличников. Они редко посещали лекции по киномастерству и часто высмеивали преуспевающих по профессии ребят:

— Ну что? В Эйзенштейны пробиться хочешь? Довженко и Пудовкин жить не дают?

Такие реплики приводили к антагонизму между талантливой молодежью и лентяями, которые под видом общественников процветали в институте.

«Чистка», как цепная реакция, открыла широкую дорогу потоку доносов, кляуз, оговоров ни в чем не повинных (даже беспартийных) студентов, отличавшихся от общей массы своими незаурядными способностями. Так была исключена с нашего курса способная студентка Нина Курбатова. На нее пришла анонимка, что она из семьи богача — дворянина Курбатова, а его род прославился при дворе Ивана Грозного. Никакие доказательства непричастности не помогли.

Не поздоровилось и студенту с режиссерского факультета Швагерусу. Эйзенштейн имел неосторожность предречь студенту большое будущее, а Довженко ему прямо сказал:

— Если вы не зазнаетесь и не будете о себе слишком высокого мнения, то перед вами откроется широкая творческая дорога!

Швагерус очень большое внимание уделял философии. Выступая на многих диспутах, подтверждал свои мысли цитатами из Ленина, Маркса, Фейербаха, а однажды в споре с одним из лекторов-начетчиков позволил себе привести, как доказательство и подтверждение своей правоты, цитаты из Канта и Бердяева. Этого было вполне достаточно, чтобы «обличить» Швагеруса как носителя чуждой антимарксистской буржуазной идеологии. Швагеруса заклеймили и пришили ему ни больше ни меньше, как вражескую вылазку. Да и фамилия совсем не подходящая — явно не наш. Даже приказа об исключении не потребовалось — он просто исчез из института. Зависть и нетерпимость к студентам, которые были не похожи на всех и чем-то отличались от других, играла в институте того времени свою пагубную роль.

— Таких сажать надо — это классовые враги нашего идеологического фронта! — сказал на общем собрании директор института Чернов.

В институте стало «весело» учиться. Не проходило недели, чтобы кого-нибудь не прорабатывали. На этот раз круто взялись за Бориса Горбачева. На одном из собраний Борис после своего

интересного выступления привел в заключение четверостишие Маяковского:

А музыкант не может
Вытащить рук
Из белых зубов
Разъяренных клавиш…

Чаша терпения «руководства» и «общественности» была переполнена. Началась разнузданная кампания против Бориса. Наконец было созвано общее собрание института. На стене висело объявление: «Долой маяковщину! Вон из института ее глашатая и проповедника Горбачева!»

Вскоре Горбачев был исключен из института.

В нашем институте сальеризм принял массовый характер.

Моцарта не надо было травить — на него просто доносили.

Я воспринимал происходящее не как внешний процесс, свойственный всему обществу, — хотя знал, что «чистка» — для всей партии, — а как разбушевавшуюся стихию зависти наших «функционеров». И никак не мог понять — почему они так сильны — и неуязвимы…

Наша компания поредела и немного «научилась жить».

Кто-то перестал «шуметь», кто-то ушел в себя, кто-то перестал интересоваться политикой, хотя интересы наши, как я теперь понимаю, были самые светлые и патриотичные — и весьма наивные.

А кто-то и не изменился: остался самим собой.

ПЕРВАЯ СЪЕМКА

Москва, 1 мая 1931 года
Как грозный духом был над нами,

—

Иных не знали мы имен…

Александр Твардовский

Наступила весна 1931 года, а с ней и пора студенческой практики. Наш курс разбросали по разным местам. Ассистент оператора — это уже ближе к желанному, но еще так далеко до настоящего, что голова кружится…

Нас, несколько человек, определили на студию «Союзкино» на Потылихе. Потолкавшись неделю-две по длинным коридорам студии без дела, я понял, что от такой практики не только оператором, но и ассистентом не станешь.

Я решил попытать счастья на маленькой студии, приютившейся в одном из тесных Брянских переулков. Имея на руках документ, направляющий меня на практику в художественную студию, я предстал перед глазами директора студии кинохроники. Он прочитал направление, посмотрел на меня внимательно и вернул мне бумажку:

— Вы, молодой человек, ошиблись. Наша студия — совсем не то, куда вас посылают.

— А я уже оттуда…

— Ну и как вас там приняли, плохо?

— Да нет… Просто никак. Прошатался две недели без толку по коридорам…

Виктор Соломонович Иосилевич улыбнулся, посмотрел на меня хитрыми, добрыми глазами и, предложив сесть, сказал:

— Давайте с вами, молодой человек, договоримся. Только совершенно откровенно. Во-первых, чтобы у нас работать, надо любить наше дело, во-вторых, после практики вы должны будете дать обязательство, конечно, если вы нам понравитесь, остаться у нас работать навсегда. Учтите — равнодушные люди нам не подходят.

Он внимательно смотрел мне в глаза, и я чувствовал, что, если бы даже и захотел его обмануть, то он бы это наверняка заметил.

— Ну так как? Хотите стать хроникером?

— Я еще, откровенно говоря, не знаю как следует, кем я хочу стать, но знаю точно — оператором. Знаю, что мне очень хочется видеть мир, землю, на которой живу. Вот, пожалуй, и все мои желания, — сказал я, почувствовав к этому человеку большое доверие.

— Ну, тогда оставайтесь у нас, — ответил он приветливо.

Я увидел в его умных, внимательных глазах заинтересованность в моей судьбе. Его хороший, дружеский тон и участие сразу расположили меня к нему и я, долго не раздумывая, дал согласие работать на кинохронике всегда.

— Идите, оформляйтесь! Желаю удачи!

И я пошел — пошел бродить по всей земле, по всей планете…

На следующий день, придя на студию уже ассистентом кинооператора, я столкнулся со страшной суматохой во дворе. Вокруг грузовой машины бегали озабоченные люди и грузили на нее тяжелые ящики.

— Эй, малый! Чего стоишь разинув рот! Ну-ка, помоги мне!

И я присоединился к погрузочной работе. Таскал тяжелые неподъемные для одного человека ящики, которые, как я узнал позже, назывались аккумуляторами. Неудобный для переноски, тяжелый штатив — мы несли его с кем-то вдвоем. Большой кожаный кофр я помог нести, как потом узнал, известному тогда кинооператору Ивану Ивановичу Белякову.

— Осторожно, малый! Это камера «Дебри» — стоит ого-го! — предостерег он меня.

— Куда вы собираетесь ехать? — осмелев, спросил я.

— Не спрашивай, серьезнейшая съемка, брат! Будем снимать самого народного комиссара Максима Максимовича Литвинова!

— Возьмите меня с собой! Я ассистент оператора.

— Что ты, милый! У меня свой есть — видишь, на машине суетится? — Юра Фирганг. И к тому же взгляни — полная машина.

Огорчение мое было недолгим, потому что уже через несколько дней Иосилевич назначил меня помощником к оператору Сергею Семенову, которому вместе с другими операторами предстояло снимать первомайский парад на Красной площади. Я ликовал: попасть на первомайский парад — я даже не мог мечтать об этом.

Недалеко от Красной площади у подъезда «Фотохроники ТАСС» был сборный пункт всех кинооператоров — хроникеров и фоторепортеров, снимавших торжественные парады на Красной площади. Первого мая 1931 года в семь часов утра нас стали разводить по заранее определенным точкам. На крышу ГУМа, на Спасскую башню, на Исторический музей, на Никольскую и

Сенатскую башни, на Василия Блаженного, на Лобное место…

«Самое-самое» было у Мавзолея Ленина, и снимали здесь «самые-самые» асы кинохроники — Михаил Ошурков, Иван Беляков, Борис Макасеев, Владимир Ещурин, Марк Трояновский, Алексей Лебедев, Сергей Семенов, у которого я, студент ГИКа, был помощником. Каждого оператора разводил по точкам заранее прикрепленный товарищ. Они почему-то, как правило, ходили с поднятыми воротниками, отчего их и прозвали «воротниками». Наш «воротник» подвел нас с Семеновым к правому крылу Мавзолея, где на тротуаре, недалеко от ограды и голубых елок стоял полутораметровый деревянный куб.

— Вот ваше место! Ставьте аппаратуру и отсюда никуда! Понятно?

Мы все поняли и, забравшись по приставной лесенке, поставили на штатив отличную для того времени кинокамеру «Дебри» и кофр с кассетами. Это была очень удобная точка для съемки, она охватывала и трибуну Мавзолея, где появится правительство, и Красную площадь, где пройдет демонстрация, и правую от Мавзолея трибуну, которая уже начала заполняться. Шли пестро одетые гости экзотических стран, строгие дипломаты, облаченные в парадные костюмы-формы аккредитованных в стране дипломатических миссий, ударники производства и полей, командиры Красной армии, представители науки и культуры. Наши кинооператоры еле успевали снимать прибывающих знаменитостей. Если бы мне тогда сказали, что через год я сам буду снимать первомайский парад, — я бы не поверил.

На той ли первой съемке у Мавзолея, или на других, когда снимал я сам — уже вспомнить невозможно, — видел я, как появлялись на гостевой трибуне Качалов, Мейерхольд, Станиславский, Иофан, Томский, Кончаловский, Нежданова, Щукин, Обухова, Толстой, Чуковский, Федин, Соболев; а в тот первый раз я видел, как трудно было снимать нашим кинохроникерам, не выходя за рамки дозволенного. Их строго охраняли прикрепленные к каждому «воротники». Я стоял рядом с оператором, растерянный и смущенный. Справа внизу колыхалась в волнении ожидания гостевая трибуна. Мне казалось, что все смотрят на меня, и я не знал, куда мне себя деть.

Вдруг ударили, переливаясь, куранты, и застрекотала наша камера. Как водопад, обрушилась овация. Легкой походкой, в черных сапогах, мягко ступая по гранитным ступеням, на трибуну Мавзолея стал подниматься Сталин. Немного отстав, за ним шли Молотов, Ворошилов и другие. Меня охватило непонятное волнение — такого я никогда не испытывал. Я смотрел не

отрываясь на Него и больше ничего не видел. Охватившее меня волнение вызвало дрожь. Я забыл, что стою рядом с моим шефом, которому нужно помогать. Хорошо, что он неотрывно крутил ручку и смотрел в камеру — тоже на Него.

Передо мной на высокой трибуне Мавзолея, над коротким словом «Ленин» — стоял Сталин с поднятой для приветствия рукой и скупой улыбкой из-под черных усов. Я, как загипнотизированный, смотрел на «Него» и трясся в волнении. Из этого состояния меня вывел мой шеф. Кончилась пленка — нужна новая кассета.

— Давай скорей! Что с тобой? Ты весь дрожишь — тебе холодно?

Что я мог ответить?..

— Ничего, не волнуйся! Ты первый раз видишь Сталина? Это, как правило, бывает! Закаляйся! — напутствовал мой шеф.

Я не был уже «мальчишкой»: мой возраст — двадцать один год — для того времени был вполне зрелым, но я был далек от всего, что касалось моей будущей профессии. На этом событии я был только ассистентом оператора, а испытанный мною «мандраж» был непривычным и неодолимым. От зарядки до перезарядки камеры у меня было достаточно свободного времени, чтобы находиться под сильным гипнозом стоящего передо мной «Великого гения человечества». Живым я его никогда раньше не видел. Мое знакомство с ним через газеты и журналы меня никогда не волновало. Что же произошло теперь, когда я увидел его живым? Откуда такое неожиданное волнение?

Если бы меня тогда спросили: «Можешь отдать за него свою жизнь, если понадобится?» — я не задумываясь ответил бы: «Да!»

Я — КИНООПЕРАТОР

Ленинград, лето 1931 года

И куда они торопятся,
Эти странные часы?

Иосиф Уткин

Иосилевич оказался удивительным человеком, истым патриотом, вернее даже сказать — фанатиком своего дела. Советская кинохроника и мы, операторы старшего поколения, многим ему обязаны.

Меня определили ассистентом к оператору Алексею Лебедеву, с которым я сразу же отправился снимать закладку первого у нас в стране шарикоподшипникового завода, а затем на целый месяц уехал в Зосимову пустынь снимать военные маневры.

С первых же шагов работы на хронике я почувствовал себя на своем месте. Мне очень понравилось все время быть в движении, все время куда-то стремиться, идти, ехать, плыть, лететь.

Вскоре Лебедев, уходя в отпуск, передал меня Семену Шеру, и мы уехали на Шатуру снимать торфоразработки. Здесь впервые приобщился к кинокамере «Дебри», и оператор доверил мне снять несколько крупных планов «торфушек» — так звали девушек-комсомолок, приехавших из Москвы на помощь заготовителям торфа для Шатурской электростанции. Я почувствовал себя несказанно счастливым — шеф доверил мне самостоятельно снять несколько планов, которые войдут в картину! Я был так взволнован, что даже забыл поблагодарить его.

Мы вернулись из командировки, и мой шеф, уходя в отпуск, сказал Иосилевичу, что «этому парню можно доверить съемку самому». Тогда я и не представлял себе, что это значило для моей дальнейшей судьбы!

Я познакомился со многими людьми разных специальностей — от монтажеров до осветителей. Всюду были хорошие, приветливые люди, и особенно близко я сошелся с осветителями. Они напоминали дружную самоотверженную команду трансокеанского парохода. Среди осветителей я хорошо знал Колю Теплухина, Виктора Штатланда, Володю Китаса, Женю

Ангелова. Многие потом стали операторами. Близко сошлись мы с Кокой, как на студии звали Николая Теплухина.

Сблизила нас тяга к морю, романтическим приключениям и опасностям, к рискованным съемкам под землей, на воде и в воздухе. Не прошло и двух месяцев моей практики на студии кинохроники, как у нас «сколотилась» дружная, веселая компания.

К тому времени из Новороссийска вернулся наш документально-событийный ас Миша Ошурков, только что закончивший съемку фильма о торговых моряках Новороссийского порта. Двор студии окрасился в ярко-синий цвет. Приехавшая съемочная группа во главе с Ошурковым щеголяла, так же, как новороссийские бичи, в морской американской робе. Казалось, аромат морской романтики захлестнул студию валом, и корабельная «травля» слышалась во всех ее уголках — от склада пленки, где восседал мудрый Шнеерсон, до маленького кабинета, в котором веселый и острый на язык Ошурков «травил» соленые морские анекдоты.

Мое знакомство с веселой компанией «синих» перешло в большую дружбу. Мы стали встречаться не только на студии, но и дома, в клубе «Рабис», на волейбольных площадках ЦПКиО и в саду «Эрмитаж». Предводителем и душой нашей компании был Коля Теплухин.

Снова начались мечты — одна головокружительнее другой — о дальних странствиях и морских путешествиях с киноаппаратом в руках. Мы с Колей стали подумывать о том, чтобы удрать из Москвы на Дальний Восток. Но прежде мы решили осуществить трудное мероприятие — перевести Колю из осветительного цеха в операторский в качестве помощника оператора. А это пока было трудноосуществимо.

Прошло два месяца практики. Меня вызвал к себе Иосилевич и предложил принять новую американскую камеру «Акелей» — для спортивных и событийных съемок. Я был так рад и удивлен, что подумал, не шутка ли это? Но Иосилевич шутить не любил. Я получил камеру и долго не верил, что являюсь счастливым обладателем такого чудесного аппарата, тем более что это был единственный экземпляр в Союзе. Прежде чем начать снимать, я очень внимательно изучил свой «акелей».

Более совершенный аппарат трудно было себе представить. Он имел штатив, позволявший делать плавные панорамы в любой плоскости на 360 градусов. Для того времени это было большой новинкой. В короткое время я освоил камеру, мне казалось, что ею можно снимать с закрытыми глазами. Не успел я опомниться от счастья, что владею этой камерой, как получил вместе с

другими операторами направление в Ленинград снимать прилет «Графа Цеппелина» в СССР.

Вот и началось оно, то, к чему я стремился, о чем непрестанно думал, о чем мечтал. В вагоне поезда я долго не мог заснуть. Я вспомнил свою первую, неудачную поездку в этот город и стук колес на обратном пути в Саратов: «Не попал! Не попал!» Это совсем другой ритм, другая мелодия.

Наконец, я уснул и увидел фантастический сон: я лечу на огромном корабле с парусами и пропеллерами на кончике мачт, и на каждом парусе написано: «Граф Цеппелин». Собираюсь снимать, но пленки в кассетах нет, и камера вдруг стала мягкой-мягкой, а двойные объективы, похожие на глаза, вдруг посмотрели на меня и заплакали настоящими слезами…

Я проснулся. В руках у меня была тощая вагонная подушка, в купе было темно, и только изредка мелькали за окном случайные огоньки полустанков. Начинался рассвет.

Ленинград предстал совсем другим — солнечным, жарким, пестрым, веселым, праздничным. Мы промчались на открытом «линкольне» в гостиницу «Астория», а оттуда сразу же на аэродром.

Какой он — этот «Граф»? Махина, судя по фотоснимку в газете. Мы очутились на зеленом поле аэродрома. Низко над полем кружил маленький самолетик, вдали рядком стояли еще такие же.

Мы разложили свои кофры с аппаратурой и начали ждать. Я ни с кем не был знаком, и на меня никто не обращал внимания. Я волновался. Еще раз тщательно проверил камеру, оптику, штатив. Все работало превосходно.

Аэродром волновался. Люди то и дело поднимали головы к небу. Но оно было бледно-голубым и совсем чистым — ни облачка, ни самолета.

Вдруг раздалось: «Летит! Летит!» Поднялся шум. И действительно, вдали показалась точка. Она росла и превращалась в сигару все больших и больших размеров. Мы все забегали в поисках своего места. Я стал снимать. Волнение мое тут же улетучилось. Я спокойно, как мне казалось, снимал приближение корабля, изредка меняя оптику. Пока все шло гладко. Я имел возможность проверять и контролировать все свои действия. Недостаток времени еще не захлестнул меня. Все шло хорошо, и я все больше и больше успокаивался и начинал верить себе, камере и своей удаче.

Через несколько минут, когда тело воздушного гиганта закрыло надо мной все небо, я схватил камеру на плечо и побежал снимать детали встречи на земле. Но я забыл снять

членов команды и пассажиров крупно.

Я снимал все по порядку. Я даже ни разу не столкнулся с нашими операторами. И только когда все кончилось, дирижабль взмыл, отпущенный солдатами, и через несколько секунд опять превратился в черную точку, еле заметную на бледном небе, я снова «вернулся» на землю. Увидел своих спутников и улыбающееся лицо нашего руководителя — Виктора Николаевича Ильина. Он подошел, похлопал меня по плечу:

— Ну, как, Микоша? Ноги еще держат тебя? Я наблюдал за тобой. Как ты со своей камерой успевал, и как тебя с твоим ростом не задавили?! Завтра посмотрим, что у тебя получилось. Экран покажет.

«Экран покажет»… Да, это самое главное. Я отлично понимал, что от этой съемки зависит мое будущее — быть или не быть мне кинооператором.

На другой день после приезда мы всей студией смотрели нашу ленинградскую съемку.

Ура! Я стал оператором. Меня поздравляли с удачей.

А на следующий день я увидел на доске приказов: мне присвоили звание оператора с соответствующим окладом.

А как же ГИК? Зачем учиться дальше, если я уже стал тем, кем должен был стать только через два года? Кажется, от первого успеха у меня закружилась голова. Но это скоро прошло, я понимал, что многого еще не знаю, многое еще надо освоить, осмыслить, пережить, понять. Многому научиться.

И все же я оператор. Снимаю самостоятельно сюжеты для журнала, имею постоянного помощника. И как-то странно — вчера еще сам был помощником…

Поверят ли мои товарищи-студенты, когда осенью мы вновь соберемся в стенах института?

МОСКВА ПОДО МНОЮ

Москва, лето 1931 года
Мы все ощутили это бессилие — передать увиденное…

Антуан де Сент-Экзюпери.

Недалеко от старого Крымского моста, напротив ЦПКиО на глинистом берегу Москвы-реки, появились грузчики с ящиками и самолетными частями. Началась сборка нового гидросамолета-амфибии для испытания его на Москве-реке. Я узнал об этом, когда проходил мимо, спеша на волейбольную тренировку в ЦПКиО.

Иосилевич заинтересовался моим предложением снять небольшой фильм о сборке и испытании первой советской амфибии.

На другой день я уже был с камерой на месте и ждал главного начальника, чтобы приступить к съемкам. Ждать пришлось недолго. Подкатил автомобиль неизвестной мне марки, и из него вышел человек в ярко-желтой кожаной куртке и кожаных штанах.

— Он? — спросил я у одного из рабочих.

— Он!..

Я подошел, показал свои документы и письмо от студии. В письме говорилось, что на студии решено снимать фильм об испытании самолета. Человек в кожанке внимательно прочел письмо, повертел в руках мое удостоверение, взглянул на меня с любопытством добрыми глазами, улыбнулся:

— А снимать кто будет, ты?

На минуту мне стало страшно — может, я в самом деле не справлюсь, не сумею снять самостоятельно фильм?

Он смотрел на меня сверху вниз, испытующе.

— ?

— Да, я буду снимать!

— А летать не боишься? Ты летал когда-нибудь? — спросил он, грозно сдвинув мохнатые брови.

— Да-да, летал! — быстро соврал я, боясь, что от этого зависит мой полет над Москвой.

Человек в кожанке мягко захлопнул дверцу в автомобиле и деловито зашагал вниз к реке, где хлопотали у фюзеляжа люди.

— Кто это в кожанке? — спросил я у техника.

— Это сам пилот-испытатель Бухгольц. Неужели не знаете?

Я смутился и промолчал.

Бенедикт Бухгольц был известным, можно даже сказать, знаменитым пилотом и летчиком-испытателем того времени. Он приезжал к гидроплану в своем лимузине. Личная машина для той поры была большой редкостью. Поскрипывая кожаной курткой, он вставал из-за руля и начинал всех ругать за медлительность и лень. Он любил напускать на себя суровость, но все знали его необычайно доброе сердце. Его обветренное с морщинами лицо так и светилось природным добродушием.

Бухгольц казался мне человеком необыкновенным. В нем все было необычно, в этом типичном представителе летной романтики тридцатых годов.

Мы вскоре очень подружились, и часто после работы сидели на ящиках у самой реки и подолгу разговаривали на самые разные темы.

— Долго спишь, — кричал Бухгольц, встречая меня на набережной, когда я приходил позже него.

— В век высоких скоростей долго спать нельзя. Вот так и случится — опоздаешь, а я улечу без тебя на другую планету…

Он мечтал облететь вокруг Земли без посадки. Любил на эту тему разговаривать. Тут глаза его загорались, голос становился звонче, движения — острее и порывистее. Я любил его в эти минуты как родного и думал о том, что, может быть, еще не поздно переучиться на летчика, чтобы быть таким, как Бухгольц…

Однажды он вдруг совсем неожиданно спросил меня:

— Скажи-ка мне, ты случайно не из Саратова? Выговор у тебя на наш похож!

Так я узнал, что он мой земляк — волжанин. Мне еще ближе и роднее стал этот мужественный, жизнерадостный человек, годившийся мне в отцы.

Так день за днем на берегу у Крымского моста обрастал деталями остов амфибии. И, наконец, когда гидросамолет был собран и спущен на воду, я надел парашют, оказавшийся страшно неудобным, залез в переднюю кабину, где должен помещаться летнаб (летчик-наблюдатель), и спросил Бухгольца:

— А как раскрывать парашют?

— Зажмурь покрепче глаза, крикни «мама!», потом досчитай до пяти и дерни за это кольцо!

— А когда прыгать??

— Когда увидишь, что меня в самолете уже нет, — смеясь, ответил Бухгольц.

Установив штатив с камерой, я с трудом втиснулся вместе с

парашютом на узкое сиденье летчика-наблюдателя. При всем желании я не смог бы самостоятельно вылезти из кабины для прыжка с гидроплана, даже если бы он загорелся в воздухе. В случае аварии мне действительно оставалось только зажмуриться и кричать «мама!».

Гидросамолет дернулся, меня окатило холодной струей воздуха и не менее холодными струйками воды. Но волнение было так велико, что даже студеная вода не смогла охладить мой пыл.

Пропеллер засверкал и погнал в лицо густую терпкую смесь бензина и эфира. Свежий и упругий ветер, напоенный новыми, незнакомыми запахами, сразу же опьянил и закружил голову.

Когда гидросамолет вышел на редан и понесся с необычной для меня скоростью, я приступил к съемке. Крутить ручку аппарата было трудно. Ветер бил тугой струей и мешал мне работать.

Мы стартовали от Крымского моста справа. Там, где теперь поднялись кварталы высоких домов, беспорядочно громоздились темные склады, берег был грязный, заваленный. Слева, на глинистом откосе, зеленели деревья Нескучного сада.

Берега Москвы-реки поплыли, удаляясь в сторону. В сознании мелькнула мысль: как хорошо, спокойно там, внизу, в Нескучном… Но острота и новизна впечатлений скоро заслонили волнения и тревоги. Я углубился в работу и совсем перестал обращать внимание на то, что мы висим над водой, и что положение наше не очень-то устойчиво и надежно.

И вдруг прямо на нас стремительно понесся Окружной мост. Казалось, что самолет ни за что не перелетит через него и неминуемо врежется в стальные переплеты. «Хоть бы он совсем не поднялся, — подумал я, — тогда бы мы проскочили под мостом, словно на глиссере…» Перед самой аркой Бухгольц рванул машину вверх, и мост провалился и уплыл назад.

Мы летим над Москвой. Я был счастлив — это была моя первая съемка Москвы с воздуха.

До меня Москву с воздуха снимал в 1917 году оператор Франциссон с самолета французской фирмы «Фарман». Съемка была неудачной — при посадке самолет разбился, оператор погиб, а летчик Валентей, пилотировавший самолет, ранен. Интересно, что после этого он больше не летал, а изучил операторское мастерство и стал оператором.

В 1924 году Москву с самолета снимал оператор П. В. Ермолов — в день похорон В. И. Ленина.

Может быть, были и другие случаи съемок столицы с воздуха. Тогда я об этом не думал.

Крутить ручку аппарата было вначале так трудно, что рука деревенела, и приходилось часто отдыхать.

Но вскоре я освоился и нашел удобное положение: под углом к напору воздуха — так, чтобы ветер не раздувал веки глаз и не залезал в рот, мешая дышать.

Волновала мысль, что я снимаю необыкновенные по красоте кадры. Москва с птичьего полета — как здорово! Я чувствовал себя уже настолько свободно, что жестом руки попросил Бухгольца пролететь над четырьмя кирпичными трубами около фабрики «Красный Октябрь». Тогда эти трубы были намного выше теперешних. Во время Отечественной войны их для маскировки изрядно подрезали. Мы пронеслись на крутом вираже совсем низко, и я заглянул в черные жерла труб.

Ура! Москва подо мною!

Полыхнул, обжег золотым пламенем внизу купол храма Христа Спасителя. Какой он отсюда маленький, а ведь громадина…

Я снимал, пока не кончилась пленка.

— Конец, — показал я, скрестив руки. Бухгольц понял меня и занялся проверкой летных качеств самолета, а я восхищенно смотрел на город и старался узнать знакомые улицы, площади, дома. Неужели город такой огромный?

Вдруг самолет резко толкнуло в сторону. В гуле мотора послышался какой-то посторонний звенящий звук, и с левого крыла сорвался и полетел вниз, сверкая на солнце, кусок обшивки элерона. Машина круто скользнула на крыло и пошла на посадку. Я оглянулся и увидел серьезное, суровое лицо Бухгольца. Он даже не взглянул в мою сторону. Я понял, что с самолетом неладно, что мы, резко теряя высоту, круто идем на Каменный мост.

Но вот звенящий звук в моторе неожиданно прекратился, и машина стала выравниваться. Под нами, совсем рядом, промелькнул Крымский мост. Внизу на мосту ломовая лошадь встала на дыбы. Не успел я отвести от нее взгляд, как по глазам больно хлестнула вода, и я невольно зажмурился.

Несколько сильных толчков чуть не выбросили меня из кабины. Если бы не парашют, плотно прижавший меня к борту люка, я бы выскочил из самолета, как из седла строптивой кобылы.

Мокрый, но радостный, спрыгнул я на землю. В аппарате была вода, но до кассеты и пленки она не достала.

— Легкая рука у тебя, дорогой, — сказал Бухгольц. — Всегда буду рад летать с тобой. — Положил мне на плечи тяжелые, жилистые руки, заглянул в глаза и дотронулся своим горячим лбом до моего. — Тебе повезло, мальчик! Будешь долго-долго

жить!..

Он глубоко вздохнул и крепко пожал мне руку:

— Ну, на сегодня хватит!

Еще два раза забирались мы с ним в московское небо, и каждый раз я ни на секунду не жалел о том, что на земле спокойнее и безопаснее. Я безгранично верил этому человеку и, не задумываясь, доверил ему свою жизнь.

Он был моим земляком — волжанином и погиб при посадке гидросамолета на Волге. Из экипажа уцелел только один штурман по фамилии Падалко, с которым я встретился спустя несколько лет, во время спасения челюскинцев. От него и узнал о гибели Бухгольца — одного из замечательных летчиков-испытателей, одного из лучших людей, с которыми свела меня жизнь.

АНТИХРИСТ

Москва, осень — зима 1931 года

Да будет сей храм во все грядущие роды памятником милосердного Промысла Божия о возлюбленном Отечестве нашем в годину тяжкого испытания, памятником мира после жестокой брани, предпринятой… не для завоеваний, но для защиты Отечества от угрожающего завоевателя…

Из манифеста Александра III

в честь освящения храма Христа Спасителя.

26 мая 1883 года

…Первый раз я увидел вдали сияющий, как солнце, золотой купол — задолго до появления Москвы, куда я ехал на поезде сдавать экзамен в ГТК.

— Храм Христа Спасителя! — сказала пожилая женщина, стоявшая рядом у окна, и перекрестилась.

Храм доминировал над городом и вместе с Иваном Великим создавал главный силуэт Москвы.

Потом, в дни летних каникул, мы часто проводили время под его притягательной сенью. Это было любимое место прогулок, встреч и свиданий москвичей. При съемках фильма об испытании Бухгольца он случайно попал в кадр, а потом мне удалось через поплавок амфибии снять с воздуха далеко внизу на берегу Москвы-реки храм Христа.

В конце лета меня вызвал Виктор Соломонович Иосилевич.

— Я решил тебе, Микоша, доверить очень серьезную работу. Только будет лучше, если об этом меньше болтать. Понял? Есть указание свыше! — И он поднял выше головы указательный палец. Посмотрев очень пристально мне в глаза, сказал: — Есть указание — снести храм Христа! Будешь снимать.

Мне показалось, что он сам не верит в это «указание». Я, сам не знаю почему, вдруг задал ему вопрос:

— А что, Исаакий в Ленинграде тоже будут сносить?

— Не думаю. Впрочем, не знаю… Не знаю… Так вот, с завтрашнего дня ты будешь вести наблюдение за его разборкой, снимая, как можно подробнее и детальнее всю работу с ограждения его до самого конца, понял? «Патронов не жалеть», как понимаешь, — это надолго и всерьез, я на тебя надеюсь! Ни пуха!

К черту я его, конечно, не послал — слишком был молод, а задуматься над таким заданием у меня просто не было времени. Надо было готовиться — на завтра была назначена съемка. В первом отделе студии с меня потребовали подписку о неразглашении того, что я буду снимать, и выдали пропуск на территорию храма.

Поздно вечером я пришел домой на Ленинградское шоссе, куда зимой из Саратова перебралась мама, — в маленькую комнатку, которую для нас сняла мамина сестра Каля. Скрыть от мамы то, что мне предстояло наутро, я просто не мог! Мама, конечно, не поверила.

— Если ты шутишь, то я не люблю таких шуток! — сказала она строго.

— Я не шучу, мама!

— Этого не может быть! Во-первых, это произведение искусства, он украшает нашу Москву — сияет над ней, как солнышко. Какой красоты в нем мраморные скульптуры, золотые оклады, иконы, фрески на стенах. Их же писали лучшие художники — Суриков, Крамской, Верещагин, Семирадский, Маковский… И скульптуры Клодта… В галереях под храмом находится мраморная летопись побед в Отечественной войне. Там же все имена героев написаны — каждого! Ведь в честь победы русского оружия и был воздвигнут храм Христа Спасителя. Мы все на него деньги жертвовали — по всей Руси — от нищих до господ… Упаси бог! — Мама разволновалась и замолчала. Потом взяла себя в руки и сказала: — Сам Господь Бог не позволит совершить такое кощунственное злодеяние против всего русского народа, построившего этот храм…

Я промолчал. Не стал расстраивать маму, все равно она не может в это поверить. А утром уже снимал, как вокруг храма возводили высокий глухой забор. Я снял первые две доски этого забора, которые перекрестили, как бы поставили крест на этом памятнике в честь русского оружия. Перед храмом была огромная клумба роскошных астр. Она первая была втоптана в грязь. С нее и началось нападение на сам храм Христа Спасителя.

Первые минуты я даже не мог снимать. Все было настолько чудовищным, что я в изумлении стоял перед камерой и не верил глазам своим. Получая задание, я, конечно же, не предполагал, что мне предстоит пережить и перечувствовать.

Когда Иосилевич сказал: «Будешь снимать снос храма Христа Спасителя», — я воспринял это просто как информацию об очередной съемке. Я не мог предположить, что все, что я буду снимать, будет врезаться в мою душу, в мое сердце, как отвратительный ржавый нож, будет терзать меня и долго саднить и кровоточить болью уже после того, когда храма не станет. Всю оставшуюся жизнь…

До сих пор я так и не понял, чей приказ я выполнял? Тех, кто отдал «указание» снести храм? Тогда зачем им, окружившим свое варварское деяние высоким забором, это тщательное, душераздирающее киносвидетельство? Ну, решили снести — и снесли себе, и забыли. Но класть в спецхран киноархива это чудовищное обвинение себе — за гранью всякой логики…

Или… Или это Иосилевич, рискуя вся и всем, взял на себя решение оставить это свидетельство для будущих поколений?… Поэтому и — «помалкивай» (он знал, что, дав слово, я его сдержу). Но чем и как тогда оправдал он мои съемки перед теми, кто обязан был «все видеть и все слышать»? Каждую снятую кассету у меня забирал «человек с Лубянки», и я даже не касался своего материала и не видел его ни на пленке, ни на экране. Увидел только спустя шестьдесят лет, когда пленку рассекретили и она попала на телеэкран.

Тогда все, что я должен был снимать, было как страшный сон, от которого хочешь проснуться и не можешь…

Через широко распахнутые бронзовые двери не выносили, а выволакивали с петлями на шее чудесные мраморные творения. Их просто сбрасывали за землю, в грязь. Отлетали руки, головы, крылья ангелов, раскалывались мраморные горельефы, порфирные колонны дробились отбойными молотками… Стаскивались стальными тросами при помощи мощных тракторов золотые кресты с малых куполов. Погибали уникальные живописные росписи на стенах собора. Рушилась отбойными молотками привезенная из Бельгии и Италии бесценная облицовка стен.

Наконец, взяв себя в руки, стиснув зубы, я начал снимать.

Все время, весь день, пока я снимал, меня ни на минуту не покидало чувство горечи, жалости и страшной обиды. Но на кого? Я не знал. Было еще и горькое умолчание дома — ни я, ни мама больше о храме не говорили. Но это умолчание было умолчанием отчужденности, которой у меня с мамой никогда не было ни до,

ни после.

Изо дня в день, как муравьи, копошились, облепив несчастный собор, военизированные отряды… За строительную ограду пускали только с особым пропуском. Я и мой ассистент Марк Хатаевич перед получением пропуска заполнили длинную анкету с перечислением всех родственников, живых и умерших.

Красивейший парк перед храмом моментально превратился в строительную площадку — с поваленными и вырванными с корнем деревьями, изрубленной гусеницами тракторов сиренью и втоптанными в грязь розами.

Шло время, оголились от золота купола, потеряли живописную роспись стены. В пустые провалы огромных окон врывался холодный со снегом ветер. Рабочие и солдаты в буденовках начали вгрызаться в трехметровые стены. Но стены оказали упорное сопротивление. Ломались отбойные молотки… Ни ломы, ни тяжелые кувалды, ни огромные стальные зубила не могли преодолеть сопротивление камня. Храм был сложен из огромных плит песчаника, которые при кладке заливались вместо цемента расплавленным свинцом. Почти всю зиму работали рабочие и военные — и ничего не могли сделать со стенами. Они не поддавались. Тогда пришел приказ. Мне сказал под большим секретом симпатичный инженер:

— Сталин был возмущен нашим бессилием и приказал взорвать собор.

Только сила огромного взрыва 5 декабря 1931 года окончательно уничтожила храм Христа Спасителя, превратив его в огромную груду развалин. В храме Христа мог свободно поместиться собор с колокольней Ивана Великого, так он был грандиозен…

Мама долго плакала по ночам. Молчала о храме. Только раз сказала:

— Господь не простит нам содеянного!

— Почему нам?

— А кому же? Всем нам… Человек должен строить… А разрушать — это дело Антихриста… Мы же все как один деньги отдавали на него, что же все как один и спасти не могли?..

Я не верил в Бога. Но тоже долго просыпался по ночам от кошмаров.

В одну из ночей даже увидел в руинах свой дом — все Ленинградское шоссе, на котором мы жили. Это было так страшно, что я никому — даже маме не рассказал об этом…

Но время шло и затягивало все тонкой, хрупкой вуалью забвения. Работы было много, и я кидался в работу, как в теплые, желанные, все лечащие волны моря…

Старался забыть боль тех съемок, боль того сна… Я не верил в Бога. Я верил в Него.

ЕЩЕ ОДНА СЪЕМКА

Москва, октябрь 1932 года

Бал — маскарад. Век — волкодав,
Так затверди ж назубок:
Шапку в рукав… Шапкой в рукав —
И да хранит тебя Бог!

Осип Мандельштам

Шел второй год моего операторства. Я снимал много, взахлеб, получая ни с чем не сравнимое удовольствие от каждой съемки. Я снимал Москву, Ленинград, ездил в командировки по стране, снимал маневры Черноморского флота, весеннюю посевную, начало навигации на Москве-реке, рыбаков на Волге, первую олимпиаду РККА, визит в СССР Анри Барбюса, руководителей партии, Москвы, страны. И все это за один год работы на хронике. Я был счастлив. Но что-то неосознанное мешало полноте моего счастья, тревожило, пугало.

…Ночью в комнате была страшная духота. Я никак не мог заснуть. На часах было около двух. Вышел на балкон — в доме напротив у парадного стоял «черный ворон». Военные в форме НКВД выводили двоих — мужчину и женщину. Рядом стоял наш домоуправ. «Это тоже враги народа?» — подумал я, и в тот же момент у меня зашевелилось сомнение — сколько же их? Долго я не мог заснуть, представляя себе, что с ними будут делать на Лубянке. Было гадко, не по себе.

Праздничным октябрьским утром, развернув «Известия», прочел: «Не дадим врагам народа повернуть вспять колесо истории!»

— Боже мой! Сколько же у нас их развелось, врагов народа? — причитала мама, читая газету. — Живем хорошо! Все у нас есть, и чего им надо? Врагам этим! Будь они прокляты! Прости меня, Боже!

А ровно в десять я снова снимал Сталина на высокой трибуне Мавзолея. Сталин был красив и царствен. Позже, когда я увидел его совсем близко, я не мог понять, как этот маленький,

низкорослый человек, с изъеденным оспой лицом, мог производить такое впечатление? Что за странное искажение сознания, восприятия срабатывало на расстоянии — даже на небольшом?

Парады Первомайские, Октябрьские, Физкультурные, Авиационные. И всюду Он. Единственный. Только Он. И никто другой. Снимая крупные планы, я видел глаза, выражавшие преданность и обожание. А Он стоял над ними, проходящими внизу, как царь, римский император, монарх. «Не может быть, чтобы от Него исходили все эти аресты и расстрелы. От Него просто скрывают…» — думал я, стоя на своей «точке» у Мавзолея.

Было пасмурно и довольно холодно. Шел редкий снег. Я стоял с кинокамерой на широком деревянном кубе у правого крыла Мавзолея и снимал проходящую демонстрацию.

На кого бы я не направлял телеобъектив, выхватывая из людской массы крупные планы, — лица поражали меня своей эмоциональностью. Люди будто пьянели от одного только облика вождя. Через небольшие промежутки времени вся эта масса людей по команде диктора-оратора у микрофона, который выкрикивал лозунги с нижней угловой трибуны Мавзолея, кричала в упоении, громко, на всю площадь — «Ура!».

Неожиданно меня поманил с куба вниз «товарищ в штатском». Я знал, что он из Его охраны. Слезая с куба, я вдруг поймал себя на том, что у меня тревожно забилось сердце.

— Где ваша шапка? Немедленно наденьте ее! — грозно, но тихо, чтобы не привлекать постороннего внимания, скомандовал он.

— У меня нет шапки, я зимой хожу без шапки!

— Тогда немедленно с площадки, и чтобы духу твоего здесь не было!

— Почему? Чем я провинился?

— А сам не можешь сообразить?

— Нет!

— Привлекаешь на себя внимание демонстрантов. Вместо вождя на тебя все пялят глаза. Такая холодина, снег идет, а ты герой, с голой башкой у всех на виду!

Наш тихий разговор услышал мой ассистент и дал мне свою шапку, а сам спрятался от холода в кубе, накрыв голову перезарядным мешком.

— Если еще раз увижу без головного убора — пеняй на себя, — пригрозил «товарищ в штатском» и что-то записал в книжечку.

Состояние сделалось омерзительным. Я чувствовал себя то ли без вины виноватым, то ли преступником. Несколько дней

уговаривал себя, что сам виноват: на такую съемку надо собираться с головой. Ведь мне снимать Самого! Впрочем, нам не такое еще «доверяли» снимать. Со съемки строительства канала Москва — Волга возвратился оператор — мой сокурсник Костя Широнин. Он отвел меня в тихий уголок и рассказал:

— Ну, насмотрелся я! Такое видел — никогда не забуду. Канал копают заключенные — их тысячи, все за колючей проволокой. Голодные, худые. Много женщин, и даже подростки попадаются. Валят лес, копают землю. Падают от изнеможения, и все вручную. Сторожит их вооруженная охрана с собаками. Сам видел, как умирали на работе — уносили на носилках. И все это в основном по пятьдесят восьмой статье. Страшно. Только смотри, никому об этом не говори, а то нас обоих закатают туда же. Сажают по любому поводу. Сказал, что ты недоволен обедами в столовой — значит, недоволен советской властью — и привет, шагай на Волгоканал…

Еще страшнее был рассказ приехавшего из Сибири кинооператора Савенко. Там заключенные прокладывали железную дорогу на восток — БАМ. Валили тайгу в жесточайшие морозы, вгрызались в вечную мерзлоту, простужались, замерзали насмерть. Выживали очень немногие, а срок — меньше десяти лет не было.

— Я не мог тебе не рассказать. Так страшно, что хотелось душу отвести. Как ты думаешь, Хозяин знает об этом?

Я не ответил, думая о своем.

Я с дрожью вспоминал последнюю съемку у Мавзолея, ярость «своего» «воротника», стащившего меня с куба. «Слава богу, на этот раз пронесло. А может быть, не пронесло? Ведь он что-то там у себя записал…»

Съемок этих «доверительных», о которых рассказывали ребята, никто не видел — ни мы, ни тем более зрители. Они ложились мертвым грузом в закрытые архивы. И не знаю, кто успевал посмотреть их до архивного заточения.

А время день ото дня приносило все новые и новые недоумения и заставляло задумываться — тяжело и безысходно. Что-то очень часто и близко «падали снаряды», становилось страшно, особенно по ночам. Невольно, просыпаясь, прислушивались к шагам на лестнице. Уж не за мною ли прибыл «черный ворон»?

Кого-то снова забирали из нашего огромного дома. Было омерзительно от бессилья. Хотелось скорее уснуть, но сон, как назло, не шел. Мама тоже не могла уснуть, и вдруг неожиданно задала мне вопрос:

— Неужели это все враги народа? А мы не окажемся в их

числе?

В памяти возник что-то записывающий «воротник», но я ответил:

— Как это тебе могло прийти в голову? Мы же знаем с тобой, кто мы есть на самом деле?

К МОРЮ

Севастополь, 1932 год
Владивосток, 1933–1934 годы

И, кажется, в мире, как прежде, есть страны,
Куда не ступала людская нога…

Николай Гумилев

Еще летом, до съемок Октябрьской демонстрации на Красной площади, произошло важное для меня событие: на студии меня встретил известный тогда режиссер, бывший кинооператор и брат Дзиги Вертова — Михаил Кауфман и предложил снимать с ним большой фильм о военно-морских маневрах Черноморского флота. Через неделю наша съемочная группа прибыла в Севастополь. Я был на седьмом небе. Севастополь был моим любимым городом. Я бывал в нем и раньше.

Съемки начались на линкоре «Парижская коммуна». Моей радости не было предела. Осуществилась моя детская мечта — стать моряком.

Я действительно стал похож на моряка. Нас, всю съемочную группу, одели в военно-морскую форму. Я выглядел настоящим матросом, только в руках у меня вместо штурвала был ручной киноавтомат «Аймо», и мне была предоставлена полная свобода действий.

— Снимай все, что, на твой взгляд, будет интересным, а матросов и командиров особенно выразительных приводи сюда, на ют, будем снимать крупные планы моряков и их разговоры на звук.

Звуковая камера почти всегда стояла на юте под главным калибром корабля. Отсюда весь линкор был виден как на ладошке — и Севастополь, и другие корабли, что стояли недалеко на бочке, и «Графская пристань» — только веди панораму и подводи под «дуло» объектива экипаж, который окажется на фоне Севастополя и стоящих на рейде кораблей. Все это очень хорошо продумал Кауфман.

— Полундра! Нас вчера обстреляла «кинопушка»! — так хвалились матросы в кубрике после съемки.

Получив задание режиссера, я после своей съемки подводил моряков группой или по одному под «кинопушку». И со стороны наблюдал (не помню, кто был тогда оператором), как с ними начинал работать Кауфман. Он или сразу безо всякой подготовки начинал снимать, задавая неожиданные вопросы, или, когда это плохо получалось, говорил:

— Вы же моряки — «морские волки», а испугались! Ну, ладно, снимать больше не будем, просто поговорим по душам! Не бойтесь, не снимаем!

Эта фраза служила для оператора сигналом к незаметной для моряков съемке телеобъективом. Увлеченные душевным разговором, моряки переставали смущаться и вели себя так, как хотелось режиссеру.

Это были первые шаги звукового кино у нас на хронике.

За несколько дней я освоил «Парижскую коммуну» от машинного отделения до клотика. Огромный, тяжелый линкор на полном ходу резал высокие зеленые волны. Забравшись под самый клотик, я буквально висел на конце мачты. Эффект был поразительный. Далеко внизу подо мною нос линкора врезался в море, длинные белые усы расходились по обе стороны форштевня, а на высокой волне радужная жемчужная масса воды накрывала весь корабль стремительным, как ураган, ливнем. Мачта порывисто раскачивалась, как огромный маятник, и мне стоило огромного труда не только удержаться на ней, но и снимать…

Море для меня, я понял, было родной стихией, а город Севастополь стал после Саратова второй родиной. Мечты детства начали сбываться. За эти дни черноморских маневров я прошел большую школу на море и полюбил его навсегда. Вернувшись в Москву, я долго скучал и томился. Мне не хватало синего простора и ярких зорь восхода и заката, соленого ветра и аромата морского прибоя. Если бы я знал тогда, что судьба готовит мне в войне участие в обороне Севастополя!..

Итак, я затосковал по морю…

И когда в конце года директор Дальневосточного отделения кинохроники предложил мне постоянную работу во Владивостоке, я с радостью принял это предложение.

Ребята шутили — то ли с грустью, то ли с завистью:

— Владик едет во Владик…

С первого же дня окунулся я в напряженную жизнь приморского города. Не вылезая сутками из порта, наблюдал за погрузкой судов, снимал спуск судов на Морзаводе и приход кораблей в бухту Диомид.

Жизнь огромного порта захлестнула. Я был поистине

счастлив своей работой.

Наконец сбылась моя давняя мечта — я попал на корабль.

Первыми были «Алеут» и китобоец «Авангард», потом ходил с рыбаками в Охотское море, на Сахалин, на Камчатку, к берегам Японии, на Командоры и в Берингов пролив.

Я стоял на капитанском мостике, и ледяной соленый ветер обжигал мне лицо.

Трудно было поверить в то, что это правда — уж очень долго и жгуче об этом мечталось. Но как действительность оказалась не похожа на мои мечтания! Не было ни белогрудых игрушечных кораблей, ни зноя, ни теплого ветерка, ласково играющего парусами. Да и самих парусов не было. В детстве и в юности мне почему-то всегда рисовались в мечтах южные моря — может быть, потому, что я о них больше прочел, и видел на экране в своей кинобудке «Моану южных морей» режиссера Роберта Флаэрти. А север в моем представлении был больше связан с собачьими упряжками, суровыми золотоискателями, с прошлым веком, с Джеком Лондоном и еще с эскимосом Нануком.

Да, я на корабле. Но в руках у меня не секстант, а кинокамера, и я снимаю суровое лицо капитана китобойной флотилии Дудника — знаменитого морского волка, больше похожего на северных героев Лондона, чем на абстрактных элегантных капитанов Гумилева.

Впервые в жизни я снимал жестокий шторм в Японском море. Вот они, мои мечты детства, вот она, настоящая морская романтика. Она встретила меня сурово, по-мужски, и я принял ее всей душей, взахлеб и навсегда. Как хорошо, что я подготовил себя к этой трудной и замечательной жизни, как хорошо, что я сумел себя закалить, и теперь мне не страшны никакие штормы. Я готов им противостоять.

Впоследствии судьба не раз устраивала мне суровые встречи с морями и океанами. На чем только ни приходилось плавать — на торпедных катерах и линкорах, на тральщиках и траулерах, на эсминцах и крейсерах, на пассажирских лайнерах и подводных лодках. Но об этом позже…

Однажды, вернувшись во Владивосток из дальнего плаванья, я услышал о гибели в Арктике парохода «Челюскин», который впервые совершал за одну навигацию переход по трассе Северного морского пути из Мурманска во Владивосток. Экспедицию эту возглавил известный полярный исследователь Отто Юльевич Шмидт.

На спасение челюскинцев на днях должен был выйти пароход «Смоленск». В тот же день я узнал о своем участии в спасательной экспедиции.

Я отправил маме в Москву телеграмму: «Двадцать восьмого февраля иду в Арктику спасения экипажа «Челюскина» пароходе «Смоленск» буду радиографировать Известия события Сорокину не беспокойся»…

Уже позже я получил от мамы ответ:

«Всегда с тобой будь осторожен Правда Комсправда Известия Водный транспорт просят кадры…».

Я снимал «Лейкой» фоторепортажи для «Известий», «Вечерней Москвы» и владивостокской газеты «Красное знамя», спецкором которых стал во время работы во Владивостоке. Негативы собирались в большой коробке и ждали своего часа — возвращения на Большую землю. А тем временем я отправлял в «свои» газеты дневниковые публикации, которые передавал им по радио.

Просили еще и еще, по радио давали конкретные задания — на событийные материалы, на дневниковые очерки, на интервью с моряками и летчиками. Иногда материалы оказывались удивительно живыми, яркими, зримыми — и моей заслуги в том не было. Может быть, самая малость, когда удавалось найти и «разговорить» интересного, самобытного человека.

Так уже позже, когда мы вернулись с героями-челюскинцами на пароход «Смоленск», мне удалось отправить на Большую землю ряд интересных свидетельств — простых и неповторимых, как, например, вот это:

«Владивосток.
«Красное знамя» для полосы.
Рассказ метеоролога Ольги Комовой.

…На лед выходили не торопясь, не думали, что через несколько часов или минут корабль пойдет ко дну. Иду по коридору. Настежь раскрыты двери кают. На полу валяются чемоданы, сапоги, книги, белье, бумаги. Большинство уже покинули каюты: выгружают на лед продовольствие, теплые вещи. Иду в штурманскую рубку. Надо собрать все метеоприборы, записи метеопогоды за все месяцы работы на «Челюскине».

Встретился кочегар Румянцев. Увидев меня, вспоминает:

— Эх, книг-то я вам в библиотеку не сдал.

В штурманской тот же беспорядок, что и в каютах. Все ценное вынесено на лед. Наскоро собираю метеоимущество, бумаги, несколько пустых книжек для записи наблюдений. На льду они пригодятся. Карандаш, резинка тоже нужны. Все запихиваю в мешок, подаю его кому-то из матросов прямо в окно. У меня в

руках большой термометр, бинокль. Пароход сильно кренит на правый борт. Уже трудно идти по коридору. На спардеке встречаю капитана:

— Как? Женщины еще не все вышли? Сейчас же на лед! — сердится он.

Бегу на левый борт. Он высоко поднялся. Трап лежит почти параллельно льду. Осторожно ползу по нему подальше от борта и прыгаю. Здесь несколько человек строителей и кто-то из команды. С борта скидывают вещи. Вдоль корпуса корабля и дальше влево и вправо от него — огромная трещина с водой.

Вся главная выгрузка происходит на правом борту по ту сторону трещины. Надо перейти туда. Пробегает Дора Васильева с узелком детского белья.

— Перейдемте на ту сторону!

Пытаемся перелезть через трещину. У меня на ногах валенки и калоши. При первой же попытке перешагнуть через полынью на твердый, как мне кажется, ропак нога моя теряет калошу.

— Нельзя здесь! — кричу я. — Вода!

Пробуем другое, третье место. Везде вода, обманчивый снежный покров. Наши ноги уже мокры.

— Идите через пароход на ту сторону! — догадываюсь.

Идем. Сильный ветер дует прямо в лицо, режет мокрым снегом. Подходим ближе к корме. Трап поднялся еще выше. Как же на него лезть? Неожиданно для нас кормовая честь поднимается резко вверх. Нос глубже и глубже уходит в воду, под лед. Что это? Неужели конец? Уже виден винт «Челюскина».

— Отбегайте дальше! Дальше! — кричат со всех сторон.

Мы бежим куда-то в сторону. Спотыкаюсь. Теряю вторую калошу. Оглядываюсь. Наш «Челюскин», наш дом виден лишь наполовину. Чья-то черная фигура в длинном тулупе прыгает прямо с борта вниз на лед. За ним кто-то еще, такой же большой, темный. Шум, треск, видны клубы черного дыма, слышны крики людей — и все кончилось.

Нет «Челюскина»! Тихо. Люди стоят молча. Маленькие серенькие фигурки среди льдов и пурги, засыпанные снегом, такие неловкие, растерявшиеся.

— Сосчитайте народ! — слышится чей-то голос.

— Все ли здесь? Собирайтесь все в одно место! — кричат что-то еще, я не слышу.

Ревет ветер, метет пурга, торосы сразу стали чужими, незнакомыми…»

Потом я узнал, что не успел покинуть корабль только один человек — завхоз экспедиции Могилевич…

И ведь какая фамилия — словно предупреждение!..

Рассказ Ольги Комовой был напечатан в газете без единого сокращения.

Мои личные материалы значительно отличались от рассказов моих героев, и сейчас я только диву даюсь: как это их печатали — без сокращений и правки, что сегодня мне бы поправили в любой газете…

«Первого марта. До мыса Поворотного шли вдоль нашего берега, а затем повернули на восток, держа курс на Японию. День был абсолютно безоблачный, было очень тихо и тепло. На солнечной стороне припекало. Мерно покачиваясь на мертвой зыби, шли все вперед и вперед. День кончился, солнце, как гигантский парашют, медленно спускалось к горизонту и вдруг, коснувшись его, окрасило цветом сурика воду, и быстро-быстро утонуло, не оставив больше никаких следов, сразу горизонт окрасился в молочно-сиреневую дымку. Слева появился перекошенный бессонницей грустный лик луны…

А пароход идет дальше и дальше…».

Такие, или примерно такие «зарисовки» мелькали на газетных страницах в моих дневниковых записях — вперемежку с описанием жизни и работы на корабле.

А телеграммы из Москвы все шли и шли: «Известия взяли все кадры проводов экспедиции во Владивосток. Просят Правда, Комсомолка, Водный транспорт. Всегда с тобой привет товарищам…»

Телеграфировала мама из далекой Москвы.

…Мама! Мама, милая, хорошая… Я помню тебя совсем маленьким… Помню и никогда не забуду червонное золото твоих волос — густых, длинных, ниспадающих на плечи… Я нырял в них с головой, пряча свои глаза, когда был перед тобой виноват.

Я помню прекрасное, немного печальное лицо и голубовато-зеленые задумчивые глаза. Они излучали хрустальную чистоту и светились тихим задумчивым благородством. Густая волна медно-золотых волос и зеленые на нежно-розовом лице глаза нашли то гармоническое сочетание красок, какое ищут всю жизнь многие художники и не всегда находят…

Моя мама была не только красива, стройна, молода, природа щедро наградила ее тонкой поэтической душой… Она видела и ощущала красоту всем своим существом. Она умела чувствовать природу, ее тончайшие нюансы, она находила в природе не только краски, музыку, ароматы, но и какую-то внутреннюю, гармоническую связь природы с глубоко внутренним состоянием человека.

Я вспоминаю, как мама водила меня за руку по тюльпанному

полю, ему не было конца… Огромные, яркие, красные, желтые, белые, огненные венчики окружали меня со всех сторон и заглядывали мне в глаза темными бархатными чашечками…

«Смотри, смотри, сыночек, какая вокруг красота!» — восторженно восклицала мама и, схватив меня в охапку, целуя, кружилась со мной в каком-то восторженном исступлении…

«Боже, какая красота! Красота какая!» — громко и нежно пела она свой звонкий и нежный гимн весне, цветам, небу, горячему солнышку!

«Смотри, смотри! Жаворонок! Слышишь, слышишь, о чем он поет? Красота, красота какая! Ты слышишь, сыночек? Посмотри, как он быстро, быстро машет крылышками и висит в небе, будто на ниточке подвешен. Это нам он поет о весне!»

Я жмурюсь от сверкающего солнышка и вижу в синеве трепещущий серый комочек, и он поет, поет тоненьким, слабеньким голосочком.

«Красота, красота, боже мой!..»

Так мы шли по тюльпанному бескрайнему полю… Мама набирала огромный букет только огненных цветов, а я помогал ей как мог — срывал тюльпаны, но в руках оставались у меня одни венчики — стебельки упорно не хотели расставаться с землей.

Где бы мы с мамой ни были, где бы ни шли, ни ехали, меня всюду сопровождали ее слова:

— Посмотри, сыночек, какой закат! Послушай, милый, как поет скворец! Какой ароматный вечер! Какой запах от упавшего дождя! Смотри, как танцуют капельки на дорожной пыли!… Чуешь, какой они принесли запах: Это весна!.. А на небе, на небе, там над горизонтом, где спряталось солнышко, видишь, идет слон, а за ним верблюд… А сейчас их обоих настигнет чудовище…

Я смотрю на закатное небо и вместе с мамой фантазирую — что же рисуют легкие облака на багровом закатном небе?..

…Я стоял на палубе «Смоленска», начавшего свой дальний путь к «Челюскину», вглядывался в одинаковые и неповторимые водяные валы, в сгущающиеся над морем тучи и фантазировал: что же «рисуют» эти тяжелые глыбы на сером фоне непогодного неба?..

МЫС ОЛЮТОРКА

Я это сам не раз испытывал.

Николай Гумилев

Японское море встретило нас штормом и секущей пургой. Неприветливое, оно, казалось, готовило еще много неожиданных и непредвиденных каверз.

Я познакомился с капитаном корабля Василием Вагой, летчиками — старым полярником В. Молоковым, Ф. Фарихом, с группой молодых военных летчиков под командой капитана П. Каманина. Мы очень сдружились с Фарихом и Молоковым. Оба они были великолепными рассказчиками и знали массу историй из жизни своих друзей-летчиков. Историй и веселых, задорных, и суровых, героических, вошедших в предание. Я сразу привязался к этим людям потому, что они напоминали мне Бухгольца, потому, что сами были чудесными, замечательными представителями летного племени.

Вскоре «Смоленску» пришлось менять курс — Татарский пролив и пролив Лаперуза забиты льдами. Пойдем через Сангарский пролив мимо города Хакодате.

Прошли зеленые берега Японии, и корабль, ласково покачивая, принял Тихий океан. Он встретил нас горячим солнцем и распластался, огромный, зеленый, молчаливый.

Слева по борту, как на детской переводной картинке, проявились Курильские острова. Мы прошли довольно близко от них. Покрытые снегом Курилы производили мрачное впечатление — дикие, пустынные. За Курильской грядой стеной стоял серый туман, и плескалась высокая волна. Какой контраст: там — Охотское море, бурное, холодное, серое, здесь, по восточную сторону, — теплый мир и чистые голубые краски.

Черная птица с длинными острыми крыльями распростерлась над кормовым флагом, будто привязав себя к нему невидимой нитью. Ее пробовали отогнать — кричали, стучали, махали шапками. Но она только хищно и зло поворачивала голову на наши крики и продолжала лететь, строго соблюдая первоначальную дистанцию.

— Обратите внимание, — сказал подошедший капитан, — настоящий буревестник. Я и сам впервые его вижу. Он не зря

носит свое имя. Видимо, придется нам испытать хороший шторм…

Капитан отправился на мостик, а я — за камерой. Буревестник дал себя снять и, пролетев еще несколько минут, вдруг метнулся вниз к самой воде. Почти задевая крылом воду, он исчез в западном направлении.

К концу дня погода резко изменилась. Налетел холодный, порывистый ветер со снегом. Видимость пропала. «Смоленск» заплясал на крутой волне, выписывая сложные восьмерки килевой и бортовой качки. Черная птица оказалась настоящим вестником бури.

…Надвигается вечер, а с ним — мутная ночь. Ветер становится ураганным и воет остервенело в снастях парохода. Волны давно уже превратились в какие-то сказочные горы, на которые со скрипом и скрежетом взбирается наш корабль, а, забравшись, — вдруг падает стремительно в морскую бездну. И так мы двигаемся со скоростью 4–5 миль в час к нашей далекой цели…

Спать совершенно невозможно — угол крена парохода достигает 50˚, и, лежа на койке, — либо стоишь на ногах под этим углом в 50˚, либо под тем же углом — на голове.

Снежная пурга ворвалась между Курильскими сопками, как в распахнутые ворота, и дохнула на нас с Охотского моря ледяной стужей. Все скрылось в белом вихре, а корабль превратился в причудливую ледяную глыбу.

Сыграли аврал. Команда и члены экспедиции, вооружившись топорами и ломами, начали обкалывать с корабля лед. Труд адский. Стремительная качка создавала непреодолимые трудности. Нужно было держаться обеими руками, чтобы не вылететь за борт, и в то же время скалывать быстро растущие ледяные наросты на частях корабля. Мороз сковывал движения, руки деревенели.

Ледяной шторм продолжался до Командорских островов. Восемь суток экипаж боролся с белым ураганом. Наконец впереди, в разрывах пурги, показалось солнце и битый лед. «Смоленск» вступил в полосу мертвой зыби. Ветер немного стих. Только огромные валы, покрытые сверкающей мозаикой льда, поднимали и опускали пароход, укачивая чуть ли не насмерть новичков из состава экспедиции.

Скорость нашего продвижения снизилась. Вскоре корабль остановился, не в силах преодолеть сопротивление сплошного ледяного массива. Решено было выбираться обратно.

Нас окружило белое безмолвие. Мертвая зыбь, как люлька, плавно и ритмично баюкала «Смоленск». С огромными

трудностями удалось выскочить из крепких тисков.

Капитан Вага повел пароход вдоль кромки льда.

Так мы двигались в поисках прохода на восток — к берегам Америки, но безрезультатно.

На совещании в кают-компании летчики Молоков и Фарих предложили пробиваться к берегу материка, а оттуда лететь прямо в лагерь Шмидта. После небольшого сопротивления молодой военный летчик капитан Каманин присоединился к старым полярникам.

— Мы сейчас находимся на шестидесятой параллели, если мы возьмем курс ост, то выйдем по этой параллели к мысу Олюторскому! Там есть хорошая береговая возможность для высадки нашей летной экспедиции на открытый галечный берег и совсем рядом хорошее, ровное взлетное поле. Мне приходилось бывать на этом пустынном, безлюдном берегу. — Капитан Вага проложил курс на карте к мысу Олюторскому.

Все собравшиеся внимательно слушали нашего «морского волка».

— А жилье там какое-нибудь есть? — спросил Фарих капитана.

— На самом берегу — развалюха-хибара. Там жил тогда старый рыбак коряк, но для нашей команды ее в расчет брать нельзя. Придется собирать самолеты днем, а ночевать на корабле.

С капитаном нельзя было не согласиться, и все решили действовать по его совету. Курс ост — мыс Олюторский.

Итак, было решено пробиваться к мысу Олюторка. Там создать на берегу базу, собрать самолеты и отправить их в Ванкарем. А «Смоленску» пробивать себе путь в бухту Провидения.

Через несколько дней в кромке льда появились большие разводья, и мы двинулись по ним вперед. И тут нас затерло льдом основательно. Взрывчатка не помогала. Корабль застрял.

Начали собирать на борту самолет-амфибию для ледовой разведки. Работа закипела. Одни занялись сборкой, другие непрерывно обкалывали лед у черных бортов «Смоленска».

Каждую минуту мы ждали подвижки ледяных полей. Тревожное настроение подгоняло в работе. Недалеко от корабля лед торосился, налезая друг на друга. Началось сжатие. В обшивке появились серьезные вмятины, несколько шпангоутов лопнули. Наше положение стало не менее опасным, чем положение «Челюскина». Каждую минуту лед мог раздавить «Смоленск». Работали и днем и ночью, до изнеможения. Все понимали, что от этого зависит не только собственная жизнь, но и жизнь людей, к которым мы шли на помощь.

Двое суток продолжалась упорная борьба с налезавшим на пароход льдом. Наконец в воздух поднялся на амфибии летчик Шурыгин, и после часового полета сообщил, что в пяти километрах на северо-запад есть небольшие разводья, которые ведут к чистой воде. Это вселило надежду, и мы с ожесточением снова начали пробиваться к спасительным разводьям.

И днем и ночью долбили, взрывали вокруг «Смоленска» лед и медленно-медленно — по километру в день — двигались навстречу воде.

Последнее усилие. Взрывы аммонала раскололи еще одно ледяное поле. Торжественно, как салют освобождения, прозвучал гудок «Смоленска», и мы медленно двинулись вперед. На горизонте засверкала живая вода.

Наконец, ледяной плен позади, и мы снова закачались на мертвой зыби — теперь уже в Беринговом море. Радовались все — даже те, кто не переносил качку. «Лучше качаться и болеть на поверхности, чем спокойно идти ко дну», — сказал завхоз экспедиции и недвусмысленно перегнулся через борт.

Прошло несколько дней. Показались белые сопки мыса Олюторка. Они, как призрак, повисли над голубым горизонтом — будто горы без оснований.

— Может, это мираж? — спросил я у капитана.

— Нет, дорогой друг, это реальная земля, и вот смотри — в лоции имеет свой опознавательный силуэт. Видишь подпись — «Олюторка»…

Итак, первый этап пути завершен благополучно. Не доходя шести-семи километров до берега, «Смоленск» отдал якорь. Идти ближе к берегу опасно — мелко. Теперь предстояло при помощи корабельного катера и двух рыбачьих кунгасов выгрузить самолеты и запчасти.

Но эта простая на первый взгляд операция поставила перед участниками экспедиции и экипажем столько неразрешенных задач, что порой люди просто не знали, как поступить. Выгрузить неуклюжие фюзеляжи с палубы на катер или кунгас при помощи лебедки и стрелы было нетрудно, но когда с грузом подходили к берегу, обледенелому и дикому, высокий накат ежеминутно грозил накрыть зеленым гребнем или перевернуть деревянный кунгас.

Недалеко от воды, у края приливной полосы, стоял небольшой деревянный домик. С корабля его даже не было видно. Жили в нем несколько промысловиков-зверобоев. Они выходили в море за нерпой на длинной, узкой, похожей на челн лодке. Мы часто пользовались ею для сообщения между берегом и катером — катер не всегда мог подойти вплотную к берегу. Каждый рейс

на этой валкой посудине сопровождался для любого из нас весьма неприятными ощущениями. Приходилось балансировать, размахивая руками, чтобы не потерять равновесия. Лодка была такой неустойчивой, что трудно было понять, каким образом можно выходить на ней в море на охоту за морским зверем.

Каждое утро груженый катер и небольшой деревянный кунгас отходили от корабля к берегу. За ночь чистая вода покрывалась коркой льда, и нам приходилось разбивать ее баграми, стоя на носу катера. К счастью, почти всю операцию по выгрузке самолетов удалось провести в штилевую погоду, когда тонкий ледок не давал подниматься волне.

Скоро подул сильный ветер, и нам пришлось очень туго. Целый день работали, собирая самолеты. Я снимал, как в лютую стужу летчики и бортмеханики, техники и мотористы, не жалея ни сил, ни здоровья, готовили машины к полету на льдину.

В маленьком домике на берегу не было места для ночлега, поэтому на закате, когда уже было трудно работать, все возвращались на корабль. И так каждый день.

Пока была штилевая погода, корабельный катер подходил вплотную к закраине берега, и можно было легко спрыгнуть с него прямо на берег. Но когда началась пурга, поднялся высокий накат, и для того, чтобы попасть на катер, приходилось сначала садиться в рыбачий челн, а затем выжидать время между высокими волнами и прыгать на катер. Этим руководили два местных рыбака. С удивительной ловкостью они переправляли нас утром с катера на берег, вечером — с берега на катер.

Каждый раз, когда я с аппаратурой балансировал в челне над кипящей студеной водой, мне становилось не по себе — одно неосторожное движение, и прощай вся моя экспедиция. Ведь если утонет аппаратура… Но об этом не хотелось думать.

Однажды, когда я ждал своей очереди для переправы, челн недалеко от берега накрыло огромной волной, и все пассажиры вместе с перевозчиками оказались в ледяной воде. Мне ничего другого не оставалось, как снять этот эпизод, со стороны казавшийся смешным. Одетые в меха и валенки, летчики барахтались в воде, как слепые котята, пока с берега баграми и веревками их не перетаскали на сушу. Тридцатиградусный мороз моментально сковал одежду, и «купальщиков» отнесли в рыбачий домик оттаивать. Когда с ними управились и вылили воду из челна, очередь дошла до меня. Пока канителились, стало значительно темнее, а волны, как мне показалось, стали выше и злее. Что делать? Вдруг накроет еще раз? Рисковать аппаратурой нельзя. И я решил камеру с пленкой на ночь оставить в домике у рыбаков. Но всю ночь мне снилась переправа, и что я несколько

раз тонул вместе с аппаратурой…

Утром, наскоро позавтракав, я отправился на берег. Дул резкий ветер, в сторону берега катились длинные, тяжелые валы. Катер, подгоняемый ими, шел рывками. Не доходя до берега метров тридцать, он бросил якорь. Надо было ждать рыбаков с челном. Мы видели, как несколько раз они пробовали выскочить на волну. Но неудачно. Волна все время накрывала лодку у самого берега.

Неудача за неудачей. А мы все ждем и ждем, стуча зубами от пронизывающего до костей ветра. Наконец рыбакам удалось прорваться, и они подрулили под катер. С большой осторожностью, балансируя, как в цирке, расселись мы по местам. Я ни минуты не сомневался, что буду в воде. Невольно вспомнилась Волга — Крещение, большая-большая прорубь, и я с веревкой на поясе ныряю в черную ледяную дыру. Брр… Высокие валы — зеленые и прозрачные, — поднимая и толкая корму, почти накрыли нас. Проплыв, мы уже решили, что все в порядке, как вдруг на нас обрушилась шипящая громада с пенным гребнем. Откуда она взялась? Непонятно. Зеленая стена накрыла нас, и мы очутились в воде. Вначале я даже не ощутил ледяной воды, просто провалился куда-то…

Наше счастье, что меховая одежда не сразу намокла. Мы, как пробки, выскочили на поверхность. Я пробовал плыть. Теперь сам очутился в положении слепого котенка. В этот момент нас подхватила другая волна, еще больших размеров, и с размаху выбросила на мокрую ледяную гальку. Пока я поднимался на ноги, одежду мою прихватило морозом, и я так и не сумел сделать ни одного шага…

Я сидел у раскаленной докрасна печки и не спускал глаз с камеры, лежащей в противоположном углу. Как это мне пришло в голову оставить ее вчера здесь?

Наконец самолеты собраны и стоят рядом на снежном поле у подножия невысокой сопки. Назначенный на завтра вылет пришлось отменить. Барометр предостерегал.

К вечеру белый ураган достиг такой силы, что мы пожалели, что собрали самолеты. Резкий порывистый ветер рвал на крыльях перкаль, а измученные, с обмороженными руками летчики и техники не успевали тросами крепить самолеты. Несколько раз лопались причальные тросы. И только благодаря нечеловеческим усилиям экипажа, ценой обмороженных рук и ног, простуженных легких удалось спасти машины и выстоять бешеный натиск ледяной пурги.

Начальник летной группы капитан Каманин терпеливо ждал хорошей погоды — от этого зависел успех всего мероприятия.

Пурга свирепствовала несколько дней и так же неожиданно, как началась, — кончилась. Выглянуло солнце, и все преобразилось и засверкало. Но метеосводки лететь не разрешали.

15 марта… «Иды марта»…

…Сегодня удивительно хорошая погода. Чистое небо, ослепительный снег и бирюзово-зеленое море… Я сел на катер и поплыл к берегу. Не доходя до берега, оглянулся на наш корабль и… обомлел: корабль отделился от горизонта и повис в воздухе — большой, увеличенный в несколько раз… А вечером, когда алым цветом окрасились сопки и спокойное свинцовое море приняло розово-сиреневый оттенок, ярко-красное солнце, не дойдя до горизонта — до линии моря, — как бы проскользнуло в невидимую щель…

Ночью небо здесь далекое-далекое — каким оно будет за Полярным кругом?..

17 марта решили с помполитом Злобиным съездить в корякский поселок за 12 километров — провести политчас по докладу Сталина XVII партсъезду. Сели на нарты с упряжкой из 12 собак, взятых из Петропавловска. Их хозяин — каюр Скурихин — старый полярник, шесть лет проведший на Земле Врангеля. Собаки с радостным лаем рванулись вперед…

Мы бешено мчались меж низких пригорков, сияющих ослепительным блеском. Слезились глаза, и захватывало дыхание от морозного ветра. После корабельного плена, казалось, собаки разнесут нас, развеют по белой пустыни. Иногда поднимались на пригорок. Скурихин спрыгивал с нарт и бежал рядом, помахивая в воздухе длинным шестом. Собаки с веселым лаем преодолевали препятствие и снова стремительно неслись вперед. Так добрались до стойбища коряков, где я снял интересный сюжет о жизни оленеводов.

В поселке зашли в факторию АКО (Акционерное камчатское общество) — маленький домик, где в одной половине живет с женой зав. факторией Дюжиков, а в другой — магазин, увешанный пушниной, заставленный товарами для обмена на пушнину. Выпили у Дюжикова несчетное количество чашек чаю, зашли в соседние яранги — хижины, сложенные из дерна, в каждой из которых живет несколько семей. В яранге, увешанной и устланной оленьими шкурами, вповалку лежат голые ребятишки, женщины и мужчины.

Провели в этом поселке митинг. Оказалось, что во всем поселке у них три члена партии и несколько комсомольцев. О гибели «Челюскина» они ничего не знают, да, вероятно, и после митинга не поняли, зачем корабль пошел туда, где опасно

плавать. Узнав от нас, что мы привезли с собой больших чаек, на которых могут люди летать, один из оленеводов тут же, не дожидаясь нас, ушел в Олюторку на аэродром.

Когда мы тронулись в обратный путь, коряки долго стояли толпой и махали нам вслед, и ветер доносил гортанные крики их напутствий… Что они поняли из длинного рассказа нашего помполита о XVII партсъезде? Да и все ли достаточно хорошо понимали по-русски? Тогда мы об этом не задумывались — мы возвращались в Олюторку с умиротворенным чувством исполненного долга…

СТРАНИЧКИ ИЗ ДНЕВНИКА

И покуда живу, и покуда дышу,
Океанский простор не забуду.

Песня 30-х годов

Наконец 20 марта пурга прекратилась. Начали опробовать самолеты. Одному из первых, с летчиком Шурыгиным, удалось полетать тому самому коряку, который ушел на аэродром сразу же после митинга — не дожидаясь нас. До момента полетов он оставался на берегу, жил рядом с самолетами. Он даже оказался членом Осавиахима, чем страшно гордился. Когда после полета он вылез из кабины самолета, восхищенный и взволнованный, он долго прыгал на месте, а затем быстро убежал в свой поселок. Конечно, он стал самым большим человеком у себя в округе. И потом, когда уже самолеты улетели, и ребята из нашего экипажа поехали в поселок, вернувшись, они рассказывали, как наш воздухоплаватель то и дело повторял, к месту и не к месту вставляя в разговор: «Есть контакт! От винта!».

21 марта — солнечный, ясный, тихий день. В 9 часов 20 минут пять наших самолетов под командованием летчика Каманина, тяжело оторвавшись от снежного поля, поднялись над берегом и взяли курс на север… К концу дня ждали от них радиограмму, но весточка пришла только 23-го — мы узнали, что три самолета долетели до Анадыря, один потерялся в тумане и один не смог вылететь из Майна Пыльгина.

21-го попытались вылететь и два самолета-амфибии Ша-2 с парохода «Сталинград», но, покружив над нами и так и не набрав высоты, оба свалились у самого берега моря. Одна машина разбилась вдребезги — чудом уцелел экипаж, другая при падении подломилась. Амфибии решили погрузить на «Смоленск» — одну для починки, другую на запчасти.

В ночь на 24 марта «Сталинград» ушел в Петропавловск. Только 29-го началась погрузка амфибий — до этого море не давало такой возможности.

1 апреля на спасение челюскинцев отправляются все новые и новые силы.

Из Америки вылетели Леваневский и Ушаков, но, не долетев до Ванкарема 30 километров, попали в пургу, самолет обледенел и с высоты 2 тысячи метров перешел в штопор… Машина разбилась, а пилотов доставили в Ванкарем на собаках.

Из Владивостока идет пароход «Совет» с летчиком Красинским и его дирижаблем на борту.

В Каменке на Охотском сидят летчики группы Водопьянова.

Из Ленинграда вышел ледокол «Красин».

Летчик Бабушкин прилетел из лагеря Шмидта в Ванкарем. 3 апреля на самолете У-2 с летчиком Гореловым — вместо его бортмеха — я поднялся в воздух на пробный полет и съемку антуража. 4 апреля уже была готова к полету вторая группа самолетов. На следующий день поступило известие, что самолет Демерова найден в 30 километрах от Анадыря. Когда местными усилиями самолет завели для доставки его на Анадырский аэродром — Демеров поднялся, улетел и не вернулся обратно.

В тот же день 7 марта получили из Москвы приказ Куйбышева брать самолеты У-2 на борт и идти в бухту Провидения.

8 апреля начали грузить самолеты, но поднялась пурга.

Сегодня получили известие о том, что Каманин и Молоков вывезли пять человек из лагеря Шмидта, а летчик Слепнев в лагере подломал машину и остался на месте. Ура! Наши со «Смоленска» первыми вывезли пять человек — не считая Ляпидевского.

9 апреля «Смоленск» снялся с якоря и покинул уже порядком надоевшую Олюторку. Снова начались поиски прохода среди ледяных полей…

В 12 часов дня 14 апреля пересекли 180-й меридиан и вошли в Западное полушарие. Кромка льда вывела нас к американскому острову Матвея, но льды перегородили нам путь, и мы вынуждены были повернуть назад.

Не дойдя 100 миль до острова Лаврентия, вновь начали искать возможности пробиться изо льдов. Иногда за весь день только и делали, что разворачивались на месте — чтобы корабль не вмерз во льды.

15 апреля 1934 года я отправил очередную радиограмму в газету:

«Радиограмма газете «Красное знамя». Владивосток

В ответ на решение правительства о втором займе 2-й пятилетки ударный п/х «Смоленск», штурмующий полярные льды, созвав экстренное собрание экипажа,

летной экспедиции постановил единогласно подписаться на 200 % основного оклада и вызвал на соцсоревнование идущий впереди п/х «Сталинград». После собрания объявили аврал на дополнительную подписку, в результате чего дали стране 34 400 рублей.

Владислав Микоша».

Уже с Ванкарема в Уэлен вывезли всех челюскинцев, а мы все «тыкались» в непроходимые льды. Теперь до полного спасения недостает только нашего «Смоленска». Нас самих впору спасать. Нам обещают дрейф до июня, а на носу майские праздники. Выбрали комиссию для подготовки к Первомаю… Если даже через месяц мы сумеем выбраться отсюда и прийти в бухту Провидения, чтобы забрать челюскинцев, то и тогда только через месяц можно надеяться попасть в Москву, к маме… К радистам ходили по нескольку раз в день — нет ли весточки?..

«Смоленск» начал обмерзать. Начались разговоры, что делать на случай, если льды раздавят «Смоленск»? — Летчики могут улететь, каюр на собаках. Экипаж на лед под шлюпки. А все остальные пешком на американский остров Лаврентия — он ближе всего.

Со «Сталинграда» получили сообщение: борт парохода получил вмятину, полопались несколько шпангоутов. Где-то далеко у Панамского канала «топает» нам на помощь ледокол «Красин». Но это так далеко, что когда он подойдет, мы можем уже либо высвободиться из ледового плена, либо последовать за «Челюскиным»…

Все время думаем, как лучше провести 1 Мая. Музыкальных инструментов у нас всего-навсего балалайка, гитара и мандолина. Есть сломанный патефон с до хрипа заезженными пластинками.

Радист Лисицын со своей службой обещал к Первомаю дать грандиозный концерт… В ожидании праздника заметно, как у всех поднялось настроение. Собирались в каютах, шутили, пели песни — почему-то все грустные — украинские и русские народные. С особым чувством пели:

Когда в море блестит бирюза,
Берегитесь шального поступка…
У нее голубые глаза
И дорожная серая юбка…

23 апреля. «Красин» прошел Панамский канал и полным

ходом шел к нам — до нас ему «каких-нибудь» 25 дней. Мы уже не двигались, лишь рвали вокруг себя аммоналом лед — когда особенно начинало «стискивать».

И вдруг 27 апреля лед стал расходиться, и «Смоленск» очутился на чистой воде, посередине небольшой прогалины, затем вышли в большую прогалину и полным ходом на норд. 29-го вновь «заклинило». Но на «носу» был праздник, и команда начала «чистить перышки»: мылись, стриглись, гладились. Началась уборка на корабле. Радисты обещали транслировать парад с Красной площади, но у нас он будет в три часа ночи.

Накануне праздника весь день обкалывали лед вокруг корабля. До чистой воды рукой подать, из Америки получили радиосводку о том, что от бухты Провидения до самого Лаврентия — чистая вода.

Начали развешивать по кораблю праздничные флаги. Праздничное утро началось для меня скверно — дикой головной болью, видимо, вчера перестарался, отогреваясь спиртом. В одиннадцать снял короткий митинг, после чего все отправились в кают-компанию на торжественный обед, а я полез на мачту и почти с самого клотика снял сквозь флаги праздничный «Смоленск». Во время обеда произносились торжественные речи и тосты и, конечно, — «За вождя и учителя, родного Сталина». Потом пели, потом был обещанный концерт, потом, разгоряченные, отправились на спардек танцевать. Танцевала даже мишка Машка, которую пригласил суровый представитель особого отдела Лукьянов.

Так и прошел праздник, который закончился трансляцией с Красной площади.

6 мая идем полным ходом, курс норд, по абсолютно чистой воде…

7 мая в туманной дали появились суровые контуры Чукотки. Свинцовые тучи ровной линией срезали верхушки снеговых сопок. Все хотели видеть долгожданную землю, к которой с таким трудом пробивали путь в течение двух месяцев.

На мостике — наш бессменный капитан Вага. Его обветренное лицо, похудевшее от бессонных вахт, посветлело, на губах впервые за много дней появилась улыбка. Я снимаю его на фоне Чукотки.

— Тихий ход! — говорит он в переговорную трубку и со звоном переключает рубку телеграфа.

— Сейчас будем входить в бухту Провидения. Снимите непременно — красота исключительная. Жаль только, пасмурно.

Вдруг налетел порывистый ветер с туманным мокрым снегом. Все исчезло, растаяли сопки, и мощный гудок потряс сырой

воздух, покатилось, долго не замирая, многоголосое эхо… Новый порыв ветра снял снежную завесу, и перед нами открылась большая, покрытая льдом бухта с крутыми черными ребрами белых сопок.

«Смоленск» тихо вошел — словно в лунный кратер — и отшвартовался у ледяного припая.

Справа у крутой сопки я заметил маленький деревянный домик. Это было единственное жилье в «лунной долине».

Первым сюда из челюскинского лагеря прилетел Анатолий Ляпидевский. Его самолет был переполнен женщинами и больными. Моя камера заработала, и пленка метр за метром запечатлела событие, получившее впоследствии название «челюскинской эпопеи».

Вскоре прилетели Водопьянов, Галышев, Доронин, а с ним знаменитые летчики Слепнев и Леваневский. Каманин и Молоков еще продолжали переброску челюскинцев со льдины в Ванкарем.

Вместе с появлением первых спасенных в бухту Провидения пришли и отшвартовались еще два корабля: один из Владивостока — «Сталинград», другой из Ленинграда — «Красин». Бухта оживилась и превратилась в шумный порт.

Солнышко стало пригревать, и Берингов пролив очистился ото льдов.

Капитан Вага получил приказ выйти в бухту Лаврентия и взять на борт группу челюскинцев, которая двинулась на собачьих упряжках из Ванкарема.

Погода стояла отличная. По Берингову проливу плыли большие белоснежные льдины. А вдали на горизонте в голубой дымке легким силуэтом прорисовывалась Аляска.

Бухта Лаврентия оказалась забитой тяжелыми торосистыми льдами, и мы снова вынуждены были швартоваться у мощного ледяного припая.

Ждать долго не пришлось. Вскоре между торосов появились юркие собачьи упряжки с бегущими рядом каюрами-чукчами. Лай и крики огласили окрестности.

Челюскинцы заполнили «Смоленск», и на палубе сразу стало ужасно шумно, тесно и радостно. Правда, трудно пришлось мишке Машке: каждый норовил ее приласкать, и от этих ласк медведица уже начала приходить в ярость. А челюскинцы все прибывали.

Стоя на мостике, капитан Вага торопил. Надо спешить. Берингов пролив весной капризен. Погода и ледовая обстановка меняются здесь невероятно быстро. Нужно скорее уходить отсюда.

13 мая. Наконец поступила команда отдать концы. Не успел

«Смоленск» развернуться, как повалил густой и мокрый снег, все исчезло, провалилось в белой пропасти. Опасения капитана оказались более чем пророческими.

Быстро налетела пурга и так же быстро пролетела дальше. Снова появилось солнце. Мы успели вовремя развернуться на обратный курс. Нам вслед двигались тяжелые льды из Северного Ледовитого океана. Сильный ветер загонял их в Берингов пролив. Они громоздились и шли за нами сплошной стеной. Запоздай мы на несколько минут — затерло бы нас, раздавило.

Прощай, Арктика! Обходя белые поля, мы обогнули с востока американские острова — Св. Лаврентия и Св. Матвея. Вдоль Америки спустились южнее и взяли курс на Петропавловск-Камчатский.

24 мая получил строгую радиограмму:

> «П/х «Смоленск» корреспонденту «Красное знамя» Микоша прошу выполнить важное задание Организуем большой интересный номер дню прихода челюскинцев Владивосток тчк Плане тире шестьсот строк на тему Путь челюскинцев от лагеря до Дальневосточных ворот Советского Союза тчк Привлеките организации страницы Семенова Громова других обсудите планы страницы тчк Очерк том как были взяты последние со льдины тчк Очерк челюскинцах борту Смоленска тчк очерк Здоровья тчк Высказывание челюскинцев тчк Беседы пожелания тчк Все шестьсот строк надо частями течении дней передать по радио Красное знамя тчк Радируйте каждый шаг этого дела тчк Придаем исключительно большое значение этому заданию тчк Жду радио привет главный редактор Ходаков».

…Только позднее, когда я вернулся в Москву, мне под большим секретом сказал корреспондент «Правды» Лева Хват (тоже бывший на «Смоленске»), что Куйбышев посылал в экспедицию спасения радиограммы совсем другого рода. Смысл их сводился примерно к следующему: «Гоните в шею этих корреспондентов, пусть не мешают нашей работе…»

Я готовил огромное количество материалов — записывал рассказы челюскинцев, систематизировал свои дневники, снимал «лейкой» фото для газет, кинокамерой — кадры для будущих фильмов. Вместе с товарищами кинохроникерами посылал телеграмму и в Москву:

«…После встречи «Смоленска», «Красина» и «Сталинграда» с челюскинцами в бухте Провидения объединили на «Смоленске» весь снятый материал похода «Челюскина», его гибели, спасения. Снимаем обратный путь «Смоленска», челюскинцев, героев-летчиков во Владивосток. Имея ценнейший исторический материал, снятый в сложных условиях суровой Арктики, горим нетерпением показать его всему Советскому Союзу. Горячий привет! Операторы «Союзкинохроники»: Шафран, Микоша, Вихирев, Самгин…»

…Эпопея окончена. На экраны страны вышел документальный фильм. Его снимал оператор Марк Трояновский. Когда «Челюскин» зазимовал и предстояла длинная полярная зима, никаких интересных съемок не предвиделось. Трояновский с небольшой группой членов экспедиции вернулся в Москву, оставив вместо себя своего ассистента Аркадия Шафрана. Шафрану выпала самая большая честь и самая трудная миссия — снимать гибель «Челюскина» и жизнь на льдине. Он совершил подвиг, и я был счастлив, что мой скромный труд — съемка спасения — вошел интересным эпизодом в этот фильм.

19 июня в газете «Вечерняя Москва» вышла первая рецензия на первый фильм «Челюскин», который стал вступлением к киноэпопее о спасении челюскинцев.

В той же газете Максим Горький в своей статье писал:

«В истории гибели «Челюскина» и героической работе спасения экипажа его от неизбежной гибели есть нечто, требующее особого глубокого внимания и понимания…

Подвиг спасения челюскинцев возможен только в стране, где пролетариат взял в руки власть и создал родину себе. Подвиг этот возможен только в Союзе Социалистических Советов, где разоблачены лживость и лицемерие буржуазного гуманизма и растет гуманизм пролетариата, основанный на сознании равноценности всех людей социально полезного труда. Этот подвиг возможен только у нас, где правительство неустанно и успешно работает над укреплением всеобщего мира ради охраны жизни трудового народа всех стран, всех наций земли — народа, миллионы которого буржуазия снова намерена уничтожить…

В нашей стране «малоценных» людей нет, наши люди все более дружно и успешно доказывают, что это действительно так: ежегодно из среды рабочих, крестьян выдвигаются десятки тысяч новой, советской интеллигенции. Текстильщики и пастухи, шахтеры и слесари, уборщицы, швейки и вообще люди физического труда быстро перевоспитываются в людей высокой интеллектуальной квалификации. У нас человек становится все дороже, ибо перед каждым открыты все пути к развитию его способностей, талантов, и в 170-миллионной массе населения Союза Советов растет количество людей, которые сознают, что они мужественным трудом своим строят себе родину, которой у них не было.

История челюскинцев исполнена глубокого смысла, ибо она внушает людям всего Союза Советов, что у них есть родина, что она в любой момент явится на помощь каждому, что для нее нет «малоценных людей» и что поэтому каждый из нас, усиливая ее мощь, ее богатства своим трудом, должен работать честно, ненавидеть врагов неустанно, своих единомышленников, своих разноплеменных и разноязычных родичей любить и уважать… М. Горький».

Мы безоговорочно верили любимому писателю. Да и как мы могли не верить — мы, сами прошедшие через суровую ледовую одиссею? Мы даже не заметили «литературных перлов» в статье живого классика. Только сейчас, перечитывая эту малограмотную галиматью, я усомнился: неужели это Горький?

ЭХ, ПРОЩАЙ, МАМА!

Хочешь,
вниз
с трех тысяч метров
прыгну?!

Владимир Маяковский

Владивосток гудел сиренами, пароходами и паровозными гудками. Медленно и торжественно, мимо сотен расцвеченных буксиров, катеров, лодок, переполненных людьми и цветами, входил в бухту Золотой Рог пароход «Смоленск».

Многотысячная толпа на пирсе колыхались, как море, полыхала пламенем алых полотнищ. Ритмичные взрывы сотен голосов скандировали: «Добро пожаловать, челюскинцы!», «Слава отважным летчикам, бесстрашным героям!» Крики «ура», как ураган, захлестывали все вокруг, и в небо взлетали белые голуби, а к нам на палубу летели сотни букетов цветов. До вечера бушевало веселье, шумел и плескался радостью город.

Но вот отзвучали торжественные речи, салюты, приветствия, увяли, запылились цветы на тротуарах и мостовых… Голубой экспресс умчал на запад пьяных от счастья героев и горластую толпу операторов, репортеров, журналистов.

С корабля я попал на самолет. И случилось так, что мой новый полет чуть не стал последним. Цель предстоящей съемки была не сложной. Нужно было отснять новый цементный завод недалеко от маленького городка, приютившегося у подножия огромной сопки, из которой добывали сырье — известняк.

Я добросовестно выполнил свое задание и уже собирался обратно, как вдруг директор завода, прощаясь, обронил фразу:

— Сырья для завода хватит на триста лет…

У меня перед глазами возник хороший кадр — большая сопка и маленький сегментик карьера, около которого дымит завод. Наглядный образ — зритель сразу увидит и поверит, что сырья действительно хватит на триста лет. Но такой кадр можно снять только с воздуха.

Я вспомнил, что по пути на завод в стороне от дороги видел оживленный небольшой аэродром, с которого взлетали меленькие учебные самолеты. Возвращаясь с завода, я завернул на аэродром

и подъехал к только что подрулившему самолету. Из него выскочил молодой парень в комбинезоне, снял шлем с очками, и когда я объяснил ему, что мне нужно, он не задумываясь предложил свои услуги.

— Но сначала, для знакомства, покажите ваши документы — кто вы и откуда? — Он тщательно проверил командировку и удостоверение «Кинохроники».

— Наверное, надо доложить начальству? — спросил я.

— А тебе меня мало? Так вот — сначала сделаем пробный полет. Что-то барахлит мотор. Я проверю машину, а ты осмотрись, прикинь, как лучше снимать. Камеру пока не бери, чтобы не отвлекала зря. Мне легче будет понять, чего ты от меня хочешь в воздухе. Понял? — он говорил, «тыкая» — явно показывая свое превосходство, хотя был не намного старше меня, — громко и развязно.

— Только один уговор! Ты должен снять меня крупным планом! Вот так! Понял, надеюсь? — И он показал руками, какой должен быть план, — от подбородка до лба.

— Иначе не полечу!

— А может, все-таки надо представиться начальству?

Он обиделся.

— Ты еще не понял, что я и есть главное начальство?

После такого разговора у меня пропало всякое желание лететь. Но отказываться было уже неудобно, и я решил — будь что будет. Он дал мне парашют, и когда увидел, что я не знаю, как с ним обращаться, надел на меня его, застегнул ремни, а затем объяснил, что и как делать.

— А может, не надо? Будет очень мешать в съемке…

— Надо! Надо! Самолет барахлит, а ты тем более без камеры! — И он полез в кабину.

Я с грустью вспомнил Бухгольца и его шутливое: «Зажмурь покрепче глаза, дерни кольцо и крикни “мама!”».

Я сел в переднюю кабину. Сидеть было неудобно — мешала вторая ручка управления и педали под ногами.

— Контакт! От винта! Контакт! От винта!

Чихнул, поперхнулся мотор, загудел, и через пару минут машина понеслась по кочковатой земле, припорошенной снегом. Бежавший у крыла техник что-то крикнул, взмахнул руками и исчез… Я оглянулся назад и увидел очкастое лицо пилота.

Мы благополучно взлетели и сделали два круга над сопкой. Я показал летчику, как и на какой высоте лететь, и мысленно пожалел, что не взял камеру. Съемка была бы закончена. На редкость хорошее освещение. Вот сейчас бы снимать на крутом вираже — сопка бы закрутилась в кадре, а зритель увидел бы все,

что я хотел ему показать.

Я так увлекся землей, что не обратил внимания на перебои в моторе, а когда перебои стали сильнее и из мотора вырвался черный дым, у меня от испуга в животе стало холодно и пусто. Я оглянулся и увидел перекошенное лицо летчика. Он что-то мне кричал и показывал рукой вперед и вниз. Я ничего от испуга не понял и стал пристально смотреть вперед. Вонючий дым хлестал мне в лицо. Глаза слезились, рот разрывало ветром…

Вдруг из мотора выползло красное пламя. Дым больно хлестнул лицо. Я стал задыхаться. В эту минуту машина подскочила вверх и стала заваливаться на правый борт. Дым ушел от меня в сторону. Оглянувшись на пилота, я чуть не лишился чувств: его в кабине не было, внизу белел венчик парашюта… Сердце захолодело и остановилось. Что же делать? Кольцо! Я крепко схватил кольцо. Самолет стал переворачиваться, и я сам собой вывалился из кабины и тут же что есть силы рванул кольцо.

Как я догадался найти его и не выпускать из рук? Вспомнил ли я совет Бухгольца, или сработал инстинкт самосохранения — не знаю.

Меня подхватила густая струя воздуха, мелькнул на секунду черной тенью самолет, и вдруг — сильный резкий рывок. Я думал, что крыло отрубило мне голову и она летит отдельно от туловища. В этот момент я увидел над собой белый купол, а внизу — землю. Она быстро надвигалась на меня и раскачивалась из стороны в сторону. Мной овладела радость — я жив. Жив! И голова на месте. Как хорошо вокруг! Как греет солнышко!..

«Милый, дорогой, Бухгольц!» — я даже не успел крикнуть: «Мама!» Земля была совсем рядом. Я прицелился в нее ногами, но легкий толчок — и я упал на четвереньки. Парашют, наполненный ветром, потащил меня за собой. Я вскочил на ноги и побежал — значит, ноги целы. Невыносимо болела шея. Во время прыжка я не сгруппировался, как обычно делают парашютисты, не напряг мускулы, не вобрал голову в плечи.

Пузырь парашюта тянул меня по полю, а я все бежал за ним, никак не успевая подтянуть и погасить. Наконец мне удалось это сделать. Я лежал, обняв парашют, а на склоне сопки дымил наш самолет. Жаль, пропал такой кадр. Но камера опять уцелела…

Первым прибежал ко мне летчик. На нем лица не было. Он уже говорил со мной на «вы»?

— Скорее уматывайтесь отсюда! Скорее и подальше! Вас здесь не было! Вы поняли?

Я понял: ему предстояла нелегкая задача. Я сел в свой «газик» и умотал…

…Через два года, вернувшись в Москву, я разбирал ящики в

своем секретере, и среди разных бумаг нашел и эту:

Государственное Всесоюзное
Кино-фото Объединение
«СОЮЗКИНО»
Всесоюзный трест хроники
«Союзкинохроника»
Военный сектор.
22 сентября 1932 г. № 65
Москва, I-й Брянский пер. дом II
тел. Г-I 43–95.

Начальнику
научно-исследовательского
Института УВВС РККА

По личной договоренности с нач. штаба УВВС нами было получено от него разрешение на произведение киносъемок спуска на парашюте.

Спуск на парашюте снимается нами с целью удовлетворить запросы общественности, возникшей у нее к парашютному делу.

Снятый материал будет помещен во Всесоюзный СОЮЗКИНОЖУРНАЛ.

Посылаем к Вам т. Микоша договориться с Вами о месте и времени киносъемки спуска на парашюте.

Начальник Военного сектора
СОЮЗКИНОХРОНИКА
Детеныщев

Тогда я так и не выполнил это задание — что-то помешало. Но судьба, наверное, была сильнее любых случайностей — и, предписав мне какое-либо испытание, обязательно находила возможность воплотить предначертанное…

SOS «РЫБАКИ НА ЛЬДИНЕ»

Мне стали подвластны
Свободные воды,
Просторы земли и
Небесные своды…

Винцас Путинас

Снова Москва. Я стою у открытого окна на втором этаже студии. Вдали башня с часами Киевского вокзала. Одиннадцать тридцать. В граненом стакане на подоконнике букет сирени. Во дворе осветители тянут, наматывая на катушку, длинный кабель. У «эмки» стоит Иосилевич и нервно курит «Казбек», дожидаясь, пока шофер подкачает баллон. В синем небе над башней пролетел самолет. Гул его мотора перебил визгливый гудок маневренного паровоза.

Я невольно вспомнил встречу челюскинцев во Владивостоке — гудки, сирены, цветы… Берингов пролив, Чукотка, Алеутские острова, Камчатка, Сахалин, пролив Лаперуза, Сангарский пролив, Японское море. Да, есть что вспомнить!

Вдруг меня кто-то сильно обнял… Я обернулся:

— Вася, дорогой! Какими судьбами?

Передо мной стоял, улыбаясь, Вася Василенко, наш саратовский комсомольский вожак.

— Угадай, зачем я здесь? Ну, если угадаешь, с меня ужин в «Метрополе». Молчишь, не знаешь! Я за тобой приехал. Мы уже в Саратове слышали о твоих приключениях на Дальнем Востоке… Поедем ко мне на студию — я теперь директор Нижневолжской кинохроники. Без тебя в Саратов все равно не вернусь. Ты ведь знаешь, какой я упрямый. Помнишь, как я отправил тебя в Москву в институт?

Да-да, конечно, я все помнил… И вот я снова в Саратове. У родных берегов Волги, среди старых школьных друзей. Вот Серега Соловьев, Юра Рыпалов, а Вити Белякова и Коли Кулагина нет уже в городе: один — инженер на водном транспорте, а другой плавает по морям-океанам. Как бы мне сейчас хотелось с ними поделиться рассказами о своих трансокеанских рейсах и путешествиях по Дальнему Востоку.

Однажды меня срочно вызвал к себе в кабинет Василенко.

— Я решил, что это серьезное задание могу поручить тебе.

Так вот, слушай и не перебивай. На Каспии унесло на льдине в открытое море большую группу рыбаков. Ты будешь снимать их спасение. Думаю, что после «челюскинской эпопеи» это для тебя большого напряжения и особого труда не составит, так ведь? — Но тут раздался телефонный звонок.

— Алло! Да, Василенко. Алло! Ну, вот, прервали. Даже не шипит… — Вася раздраженно бросил трубку на аппарат. — Не будем терять времени, слушай меня внимательно, Летчик Казаков вылетел на выручку… Лети завтра утром в Астрахань, там с ним встретишься на аэродроме и полетишь вместе на спасение. Понял? Ни пуха ни пера!

Снова пронзительно зазвонил телефон, я пожал Васе руку, но ему было уже не до меня.

После недавнего случая в Спасске я, честно говоря, не испытывал особой тяги к новым полетам, но задание есть задание. И к тому же получаю я его от своего друга. Надо лететь.

В Астрахани я не застал летчика Казакова, не раз снимавшего со льдины унесенных в море рыбаков. Он оставил записку, что будет ждать меня в Гурьеве. Чтобы снова не опоздать, я тут же договорился с начальством, и мне выделили маленькую амфибию «Ша-2», знакомую по «челюскинской эпопее».

Своего ассистента Костю Лавыгина пришлось оставить в Астрахани — рейс был дальний, и запас горючего не позволял брать лишнего человека. Костя страшно обиделся, узнав от начальника аэродрома, что он — «лишний вес».

— Не грусти, Костя. Мы с тобой еще полетаем, а пока на-ка вот, захвати в гостиницу и жди меня там. Я скоро вернусь!

Я отдал Косте фуражку и кожаную куртку, надел меховой комбинезон, шлем с очками, положил камеру с пленкой на заднее сиденье и сел в самолет.

— Моя фамилия Сотников, — сказал мне долговязый молодой летчик, садясь с бортмехаником впереди меня.

— Контакт! От винта! Контакт…

«А где парашюты?» — подумал я, но спросить постеснялся, еще подумают — струсил.

Все шло хорошо, но, очевидно, в нарушение теории вероятности на мою долю было отпущено непропорционально большое количество происшествий, и особенно воздушных.

Мы блестяще взяли старт и тут же повисли над Волгой.

Волга разлилась на множество протоков, желто-ржавые джунгли проносились под крылом нашей летающей каракатицы.

Серая, пасмурная погода и унылый, однообразный пейзаж не предвещали ничего хорошего, радостного. Впереди перед моими глазами маячили два кожаных шлема, перетянутых тесемками

очков, и низкий ветровой козырек из поцарапанного плексигласа.

Не успели мы пролететь и двадцати минут, как что-то со звоном отскочило от мотора и полетело в Волгу. Я увидел белый всплеск и круги на воде. Самолет бросило в сторону и стало кренить на бок. Пришлось камеру опустить вниз и прижать ногами. Руками я вцепился в борт амфибии. Я понял, что случилась непоправимая беда, но страха почему-то не ощутил. С каким-то непонятным интересом следил за тем, что будет дальше, будто это меня не касалось. Машина кренилась на левое крыло, быстро приближалась к Волге. Не успел я по-настоящему испугаться, как послышался сильный треск и скрежет. Какая-то непреодолимая сила меня прижала к сиденью… Надвинулись и просвистели желтой полосой камыши, рассекаемые нашей лодкой. В глазах потемнело. Моя голова очутилась между плечами пилота и бортмеха. Я почувствовал резкую боль в коленях. Наступила непривычная тишина. Вдруг я услышал, как молчаливый пилот и не проронивший до этого ни слова бортмеханик изысканно-красноречиво и громко выражают свои чувства. Я не в силах воспроизвести образность и живописность их языка. Это означало, что мы еще живы! У бормеха на лбу красовался огромный фонарь, и я, несмотря на трагичность нашего положения, не мог удержаться от смеха. А он решил, что кинооператор спятил от страха.

— Над кем смеетесь? Плакать надо! Кто нас теперь здесь найдет?

У пилота текла по лицу кровь. Он сильно ударился о ветровой козырек.

— Да если бы не камыши, быть бы нам теперь в раю! Как ты думаешь? — задал вопрос бортмеханику пилот.

— С такой блямбой в рай не пустят! — ответил Саня, прикладывая к своей шишке медную пряжку от пояса.

Итак, «Шумел камыш» — отныне наш спасательный гимн! Тем не менее что же делать? Куда идти или, вернее, плыть?

Густой, плотный камыш смягчил удар, и наша летающая лодка, прочертив короткий след, застряла крыльями в зарослях, а острым носом выскочила на песчаную отмель. Местность здесь, в устье Волги, ранней весной безлюдна. Мы могли просидеть в астраханских джунглях много дней, и, пожалуй, Казакову после спасения рыбаков пришлось бы разыскивать и спасать нас… Но, к счастью, нашу вынужденную посадку видел один из местных жителей — рыбак. Он с трудом разыскал самолет в зарослях, предварительно сообщил об аварии на рыболовецкий пост…

Через несколько часов за нами прилетел другой самолет. В Гурьев я попал только на следующие сутки. Казаков уже

израсходовал весь запас ругательств, а я, увидев его, сгоряча высказал свои претензии к авиации:

— Или вы, летчики, летаете как попало, или самолеты плохие…

— Постой, постой, не горячись! — обиделся Казаков. — Ты еще оценишь авиацию, а потом — считай, что тебе повезло: два раза попал в аварию — жив остался. Теперь летай сто лет — ничего не случится.

Да, по сравнению с сегодняшними машинами, самолеты тех времен кажутся весьма примитивными, несовершенными, но тогда они были для нас совершенством. Ничего удивительного: пройдет десяток лет, техника сделает новый рывок вперед, и красавцы самолеты, которыми мы сейчас восхищаемся, тоже будут казаться смешными и неудобными.

Конечно, Казаков был прав — авиацию я еще не успел оценить. Полеты с ним меня убедили. В первый день мы семь часов патрулировали над закованной в лед прибрежной полосой Каспия и ни с чем возвратились на аэродром. Я впервые увидел реку Урал и ее дельту с птичьего полета, а город Гурьев, расположенный на ее берегу, запечатлелся в моей памяти как план географической карты, отпечатанный на серой оберточной бумаге.

Нас привезли на открытой полуторке в город. Такой непролазной грязи я еще в жизни своей не видел и не встречал. Пешком ходить по городу было невозможно, улицы переезжали группами на телегах или верхом на коне. По широким и прямым улицам без тротуаров бродили беспризорные мохнатые лошади, желтые верблюды и худые, как скелеты, собаки. Изредка попадались пешеходы, месившие грязь огромными, по пояс, рыбацкими сапогами.

Гостеприимные хозяева нашего жилья приготовили много вкусной еды и жарко натопили печи. Мы поужинали и, усталые, завалились спать.

Проснулся я от прикосновения чего-то холодного и мокрого. В голове остро и болезненно стучали молоточки. Веки были настолько тяжелы, что с трудом открывались. Я никак не мог сообразить, где я и что со мной происходит. Резко пахло нашатырным спиртом. В ушах стоял колокольный звон. Первое, что я увидел, склоненные надо мной лица.

— Слава богу, жив!.. — услышал я голос женщины в белом халате.

Наконец, я пришел в себя и вспомнил, где нахожусь.

— В чем дело? Что со мной стряслось?

Я попытался повернуть, приподнять голову. Резкая боль

ударила в темя, и на грудь упал мешок со льдом. Холодная воды пролилась за шею. Я снова упал на подушки. Дикая головная боль лишила меня речи.

— Вы, молодой человек, сильно угорели. Вчера печку закрыли раньше, чем полагалось, а форточку не открыли. Теперь беспокойству нет оснований, к вечеру вы будете на ногах.

— Как к вечеру? Сколько сейчас времени? Где Казаков?

Я вскочил с постели. Лед упал на пол и разлетелся на мелкие кусочки.

— Он улетел на поиски льдины с рыбаками.

— А как же я?

— Вы лежали без сознания, и мы старались привести вас в чувство.

— Я вам очень благодарен, спасибо!..

Угораздило же меня угореть! Печь топилась из моей комнаты, и из всей команды угорел один я.

Казаков вернулся поздно — усталый, расстроенный безрезультатным полетом, но когда увидел меня, повеселел и сказал:

— Завтра полетим вместе, а то сегодня было бы неудобно обнаружить их без тебя и твоего аппарата.

Только на второй день далеко в море мы увидели небольшую белоснежную льдину, на которой чернели какие-то точки. Казаков скользнул ниже и сделал крутой вираж. Со льда медленно поднялись люди. Они отчаянно махали нам руками, шапками, полушубками. Бортмеханик сбросил рыбакам продукты, и, убедившись, что они попали на льдину, мы полетели обратно. Наконец-то в моих кассетах появилась снятая пленка. Я был рад вдвойне — за успех нашей экспедиции и за свой.

На этот раз мы вернулись быстро.

— На такую маленькую льдину сесть невозможно, да? — спросил я Казакова.

— Возможно, но тебя я оставлю на аэродроме.

— Вот так раз!

Я стал горячо возражать. На что только я не ссылался: на задание студии, на затраченные деньги, на политическую важность события, которое, если я полечу, увидят во всем мире…

— Вы видели, как рыбаки измучены? — Казаков вдруг перешел со мной на «вы». — Надо как можно скорее снять самых слабых.

Я смотрел на Казакова и ничего не мог понять — то он отказывается меня брать, а то вдруг говорит, что надо снять самых слабых…

— Извини, Микоша, ты не понял. Наши профессиональные

термины совпали. Только ты «снимаешь» на пленку, а я со льдины снимаю людей, чтобы переправить их на землю.

— Ну как же мне быть? Для чего я тогда летел сюда, да еще чуть не угробился? Ну поставьте же себя на мое место — как я вернусь без материала, когда спасение произошло? Я согласен остаться на льдине и снимать ваши прилеты и отлеты, а меня вы захватите последним.

— Первый раз я слетаю один, а во второй согласен на твое предложение.

Никакие доводы больше не помогли. Казаков был непреклонен.

Когда я увидел изможденные лица рыбаков, я понял, как был прав летчик. Окончательно я поверил в Казакова при посадке на льдину. Ее поля явно не хватало для торможения машины. Смелым маневром развернув приземлившийся самолет поперек льдины, Казаков отвратил, казалось, неминуемое падение в море.

Я надеялся снять возбуждение и радость спасенных рыбаков. Но ничего этого не было. Черные от копоти и голода, обтянутые тонкой кожей, обессиленные до предела, они уже ни на что не реагировали. Только глаза, светившиеся на этих исстрадавшихся лицах, выражали какое-то подобие радости. На льдине валялись два конских скелета и множество деталей от сожженных телег — колеса, втулки, обода…

Рыбаки на льдине, да еще с лошадьми и телегами — как они туда попали? Я знал, что когда северная часть Каспия покрывается льдом, далеко в море по льду отправляются группами рыбаки — для подледного лова рыбы.

Я снимал крупные планы предельно расстроенный — лица людей ничего не выражали, как мне тогда казалось. Я боялся, что материал будет скучным и невыразительным. Но волнения мои были напрасны и преждевременны. Материал получился хороший, убедительный, с внутренним напряжением и драматизмом, которого так часто недостает внешне динамичным сюжетам. Было главное — событие.

Я снимал все последующие посадки Казакова, и каждый раз удивлялся, как он, экономя пространство, приземлялся точно на расстоянии полуметра от края льдины. Я улетел со льдины последним — как и договорились.

ВЕЛИКИЙ АКЫН

Отель «Савой», Москва, 1936 год

Все этого пестрого мира дела, — как я вижу —
Презренны, никчемны, исполнены зла, — как я вижу.

Омар Хайям

В 1936 году я вернулся в Москву. Газета «Известия» предложила мне стать ее фоторепортером, и я согласился. Меня хорошо приняли в большом коллективе газеты, для которой я много снимал и на Дальнем Востоке, и на Нижней Волге. Одним из первых заданий было задание снять «великого акына» Джамбула Джабаева, которого привезли в Москву на какой-то съезд или очередной слет. К этому времени «великому акыну», родившемуся в 1845 году, был уже 91-й год — возраст, которому я очень удивился, когда мне назвали его в редакции, — потому что переводы хвалебных песен Джамбула сыпались из нашей прессы, как из рога изобилия.

Получив задание, я приехал в отель «Савой», что на Пушечной, недалеко от Лубянской площади. В номере люкс, огромном и шикарном, с венецианскими зеркалами, мраморным камином и позолоченной мебелью, меня встретил немолодой человек, не то казах, не то русский.

— Я личный переводчик нашего уважаемого акына. Прошу прощения, он еще не поднялся — отдыхает после утомительного перелета из Алма-Аты. Мне звонили из газеты «Известия» — значит, это вы будете его снимать?

— Да, к завтрашнему номеру, где будет напечатана его поэма, срочно нужен его портрет. Хорошо бы с домброй. Ну, так, как всегда, когда он поет и играет.

— Боюсь, что это не совсем выполнимо. Он плохо слышит и плохо видит. Попробую его уговорить и помочь вам, но лучше будет, если вы придете часа через два, и к этому времени я его приготовлю.

Прошло два часа. И вот я снова в раззолоченной гостиной

отеля «Савой» После небольшого ожидания мне навстречу вышел ведомый под руку старик, скорее, старец с седой бородой, в круглой соболиной шапке и в роскошном, расшитом золотом халате-чапане. Он шел с протянутой рукой, и если бы ведущий не остановил его, он так и прошел бы мимо меня. Его безжизненно протянутая рука никак не ответила на мое осторожное пожатие. Его замутненный взгляд был направлен куда-то в никуда… Меня он, конечно, не видел.

— Ну, как и где лучше вам его…

Переводчик не успел даже договорить, как Джамбул опустился и сел на ковер посередине гостиной. Я, честно говоря, растерялся, но отступать от съемки было уже поздно и нетактично. Переводчика это не смутило. Он принес как ни в чем ни бывало домбру, вложил ее в руку Джамбула и сказал:

— Вам повезло! Снимайте и лучшего случая не ждите!

Да, такого случая в моей репортерской практике еще не было. Я приготовился. Включил свет и ждал, когда переводчик накричит на ухо акыну нужную команду: открыть глаза.

Джамбул с закрытыми глазами, казалось, ничего не слышал, сидя в позе почти «лотоса», а я, лежа перед ним на том же пушистом ковре, ждал. «Ну, открой же глаза, открой!» — молча прошу его…

Ура! Глаза открылись, хотя смотрели в вечность, струны пропели несколько «блям-блямов», и Джамбул вдруг завалился на спину с поджатыми кверху ногами, не прерывая «блям-блямов» на домбре. Его левая рука, не шевеля пальцами, крепко держала гриф. Переводчик, будто ничего не произошло, сказал:

— Повторим еще раз! — И поднял его в нужную позу.

Акын с закрытыми глазами как ни в чем не бывало продолжал делать «блям-блям» и снова заваливался назад. Так продолжалось несколько раз.

Наконец переводчик сказал:

— Одну минуточку! Сейчас мы его закрепим.

Джамбул, лежа на спине с закрытыми глазами, продолжал извлекать из домбры «блям-блямы». Подушки были закреплены за спиной великого акына, и завалиться он больше не мог. Теперь надо было, чтобы он открыл глаза.

Моему терпению приходил конец. Было жарко, и я взмок. Вдруг мой герой открыл глаза, переводчик отклонился и затих. Я успел снять один кадр.

Как ни странно, портрет Джамбула получился прилично и был, к моей радости, опубликован в печати.

Но что на меня произвело неизгладимое впечатление — это то, что наутро во всех центральных газетах были напечатаны

вирши великого акына казахского народа о гении человечества, отце всех народов Сталине. Я никак не мог сопоставить то, что увидел и ощутил в гостиной «Савоя», с тем, что прочел в нашей прессе.

Это была какая-то фантасмагория! Не приснилось ли мне съемка в «Савое»? Да нет — вот она, фотография, у меня в руках!

1937 ГОД

Москва

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу.

Данте Алигьери

Как-то перед Первым мая главный редактор «Известий» вызвал к себе в кабинет известного тогда фоторепортера Николая Макаровича Петрова и совсем неизвестного — меня. Петров получил задание снять Сталина в Кремле — на пути к Мавзолею и на трибуне — крупно, в динамике, с поднятой в приветствии рукой.

— А вы, молодой человек? — И он пытливо посмотрел на меня. — Мне говорили, что вы хорошо снимаете Москву сверху. Вот и снимите Красную площадь во время Первомая, как бы с птичьего полета, заполненную до краев праздничной демонстрацией. Мне передавали, что вы снимали Кремль с Никольской башни с самой звезды во время ее ремонта, верно? Вот и подумайте над моим предложением!

На другой день после Первого мая в «Известиях» красовался огромных размеров мой снимок Красной площади, снятой сверху. На первом плане был темный силуэт двух шпилей Исторического музея, за ними в перспективе — переполненная народом Красная площадь с краем Мавзолея, вдали, чуть в дымке — Василий Блаженный и Спасская башня. Рядом с Мавзолеем во главе колонны демонстрантов развевалось огромное знамя, на котором сверкали золотые слова: «Сталин — наше знамя!»

После такого фото в «Известиях» со мной стали не только здороваться, но и разговаривать даже такие признанные мастера журналистики и репортажа, как Эль Регистан, Дебабов, Шагин, Кудояров…

Время шло не торопясь. Газеты по утрам приносили новые информации о «врагах народа», о процессах над ними — как правило, они полностью признавались во всех предъявленных обвинениях.

Так признался во всех преступлениях против Советской власти соратник Ленина — Бухарин.

Время ползло как черепаха. Наконец закончился процесс над Бухариным и другими. Всем Верховный суд вынес высшую меру наказания — расстрел. На другой день, когда радио и газеты объявили об этом, ко мне подошел фоторепортер ТАСС Борис Кудояров и сказал:

— Ты знаешь, кто давал тебе задание на твой знаменитый снимок в «Известиях»?

— Знаю! Главный редактор газеты! — ответил я с гордостью.

— А ты что? Не читал свою газету? Он же враг народа! Твой главный редактор! Так что берегись — задание тебе давал враг народа, и тебя могут посадить!

Борис явно получил удовольствие от такого сообщения.

Только теперь я понял, что главным редактором «Известий», таким простым, симпатичным и добрым, был Николай Иванович Бухарин.

За своими делами, за постоянной «гонкой за материалом», за съемками событий и самими событиями я «не сосредоточился» даже на том, кто же был главным редактором газеты, где я теперь работаю. Это просто было не важным для меня…

Я по-прежнему снимал хронику событий и Сталина на парадах — только теперь на фото, для своей газеты. Парады первомайские, октябрьские, физкультурные, авиационные. И всюду Он — Единственный. Только Он. И никто другой. Великий Сталин. Вождь народов. Гений человечества. Только Он приковывал фанатическое внимание толпы и каждого в отдельности. Я снимал этих загипнотизированных Им людей. Они, я глубоко был уверен, как и я, пошли бы за ним в огонь и воду и, не задумываясь, отдали бы свои жизни. Снимая, я видел их глаза, выражающие преданность и обожание, влажные от набежавшей слезы. А Он стоял над ними, проходящими внизу, как царь, римский император, монарх, нет — бог всемогущий — с поднятой в приветствии рукой и скупой улыбкой из-под усов.

И так продолжалось год за годом — и до этого черного года, и после него. Он твердо, непоколебимо стоял на трибуне, только из его окружения на трибунах исчезали понемногу соратники. Их места занимали другие, вскоре и их заменяли новые. Он по-прежнему скупо улыбался, только уже из-под седых усов. И, как всегда, бессменно стояли по обе его стороны до конца послушные и преданные ему Молотов и Ворошилов.

Трибуна не пустовала — приходили новые, но плохо запоминались. Все они были в одинаковых шляпах, в одинаковых костюмах, и все они были одинаково серые, мрачные, без улыбки,

симпатии не вызывали.

А врагов народа становилось все больше и больше. Те, кому выпало великое счастье не быть расстрелянным, строили Беломорканал, БАМ, каналы Москва — Волга, Волга — Дон и другие многочисленные «стройки коммунизма» за колючей проволокой. Другим «повезло» — копали руду на Лене, намывали золото в Якутии, валили лес в Сибири, в Карелии, обживали лагеря в Певеке, Магадане, на Колыме и еще во многих и многих краях нашей необъятной родины.

— Куда пропал наш друг? Исчез, никаких вестей!

— Говорят, «надолго вон»!

— Как это — «надолго вон»?

— Очень просто — «на Волго-Дон»!

Но такие шутки стоили многим более дальней поездки, вплоть до Колымы.

Встречаясь с друзьями со студии, узнал из осторожных разговоров что «Кольку посадили, а режиссеру с нашей студии Блиоху дали 58-ю. Только не надо об этом никому говорить». Говори — не говори, а на студии его проработали как врага народа и обвинили коллектив в том, что его окружение и друзья потеряли бдительность. А Колька — Лев — волейболист из Парка культуры, совсем сопляк и вдруг — враг народа. Я могу понять: Блиох, старый революционер, может, оказался в свое время меньшевиком, и теперь это стало известно, а Колька — юнец и вдруг враг народа?

Мы недоумевали: кто-то перестарался. Там, наверху, о таких ляпах наверняка не знают.

Встречи с друзьями стали редкими, а при встречах любые разговоры кончались шепотом:

— В соседнем подъезде… Ночью подъехал «черный ворон» и забрал симпатичнейшего человека — авиаконструктора с женой и двумя детьми.

— А что, дети тоже враги народа? — спросила мама, не скрывая своего возмущения.

— Давайте не будем! Не надо! Лучше поговорим о футболе! — сказал наш гость — человек из соседнего подъезда.

— Поговорим о «Спартаке»!

Поговорив о «Спартаке» и Старостине, невольно зашептали снова:

— А ведь распознали! Ну ладно, можно поверить, выдавал секреты военных самолетов, а жена, дети? Какие же они враги?

— Черт их разберет! Не надо больше, прошу вас! Не надо об этом! — взмолился сосед.

«Прореживали» и в «Известиях», и на студии, о чем

рассказывали мне мои друзья. На «Брянке» забрали прямо с работы звукооператора Аркашу Карасева. Потом на общем собрании студийное партруководство корило всех — как это не распознали врага, который был у всех на глазах? Все пообещали наперед быть более бдительными, зоркими и проницательными. Прошло с тех пор не так уж много времени, забрали нашу молодую, только что окончившую ГИК подругу — кинооператора Отиллию Райзман. Снова обещания быть особо бдительными. «Ведь враг не дремлет»», — сказал парторг Саша Щекутьев.

— Проморгали! — сказал он, встретив меня в Доме кино.

Саша Щекутьев был на студии организатором съемок — директором группы. Он был отличным организатором, и поэтому ему поручали самые ответственные правительственные съемки. На одной из таких съемок, где присутствовал Сталин, после конца заседания, когда зал опустел и осветители убирали приборы, сматывали кабель, им усердно помогал Саша, раскрасневшийся, мокрый от пота. Вдруг совершенно неожиданно в зале появился Сталин. Он поманил к себе Сашу:

— Я часто наблюдаю за вами. Вы сегодня не как всегда — грустны и не веселы! Может, у вас есть проблемы?

Саша никак не ожидал такой высокой чести — чтобы Сталин вдруг заинтересовался его плохим настроением.

— Да, Иосиф Виссарионович, очень хочу стать кинооператором! — сказал Саша, очень смущаясь.

С тех пор не стало больше Саши — директора группы, стал Саша самым уважаемым везде, где бы ни захотел снимать, оператором. «Вот какой наш дорогой и любимый Сталин — он прежде всего человек большой души. Ну кто ему Саша? Никто! А он позаботился о нем, и у Саши сбылась его заветная мечта».

Студия потеряла одного из самых деловых, энергичных и пробойных организаторов кинопроизводства, а хорошим кинооператором Саша так и не стал.

И редактура газеты, и руководство студии все больше и больше требовали от фотокоров, режиссеров, операторов съемок, приукрашивающих нашу действительность. Снимая в колхозе или на производстве, мы были обязаны показывать ударников — бритых, хорошо одетых, при галстуках, которых они никогда не носили, при орденах, несмотря на то, что работать при «иконостасе» было трудно и неудобно. Снимая магазины, заполняли пустующие полки продуктами, которых в магазине не бывало. Требовали и приучали снимать организованную «липу»…

Пресса старалась преподносить нашу действительность во много раз более привлекательной, чем она была на самом деле. Часто бывало так: судя по газете, в передовом колхозе творились

такие удивительные показатели, что мы мчались туда за тридевять земель в надежде снять прекрасный сюжет из зажиточной жизни нашего крестьянства. Но часто возвращались не солоно хлебавши. Все написанное в газете было сплошной «липой»…

— Почему не снял? Зря прокатал и время и деньги! — негодовал редактор.

— Колхоз оказался убыточным! В газете напечатали «липу»! Корреспондент получал информацию по телефону, а там постарались вовсю. Украсили свое хозяйство так, чтобы прославили в газете, а там недалеко и до высоких наград.

Однажды после такой поездки вернувшись домой, застал маму в слезах. Она получила письмо от своей племянницы из города Луганска. Ее мужа, главного инженера большого машиностроительного завода, арестовали как врага народа.

— Я никогда не поверю, чтобы Ян был врагом. Он таким всегда был честным, порядочным, открытым… Нет! Нет! Этого не может быть. Может, за то, что он был по происхождению поляком? Римма осталась совсем одна с двумя детьми. Она скоро приедет в Москву хлопотать.

Через год перестали принимать передачи. Значит, конец — расстреляли…

По воскресеньям, когда не было съемок, мы с Зоей (будущей женой) проводили время в Центральном парке культуры и отдыха. Тренировались перед календарной игрой в волейбол с командой «Госзнак». Мы играли за команду РАБИС (работников искусства). В парке встречались регулярно, и была у нас очень дружная компания. Вместе развлекались — ходили в кино, на пляж, на танцы. Перестала появляться подруга Зои Верочка Крушельницкая. Она как в воду канула, и телефон перестал отвечать. Наконец по слезам Зои стало ясно: ночью забрал Верочку «черный ворон». Она была просто загляденье, русая, синеглазая — глаз не оторвешь, и лет ей было семнадцать. «Ну, не может же она быть врагом народа», — плача, говорила Зоя. Вместе с ней увезли и ее друга Яшу Беленького, который, вернувшись из лагеря через десять лет, сказал, что Верочку расстреляли.

Что же происходит? Какую уйму народа объявили врагами народа, не говоря уже о близких и знакомых! Неужели они причастны к этому? Нет, этому нельзя поверить, невозможно! Кто же это все делает? Неужели никто не скажет Ему об этом?.. Что же это такое?..

Не успели на Брянке затихнуть очередные разговоры о «бдительности» и студийных «врагах народа», как появился

новый. К общему удивлению — всеми любимый, веселый, жизнерадостный, талантливый молодой режиссер Михаил Слуцкий. Его забрали ночью вместе с известным драматургом, сценаристом Алексеем Каплером.

Вскоре на Мосфильме прямо со съемки забрали главного кинооператора Нильсена. Он снимал с режиссером Григорием Александровым нашумевший тогда фильм «Цирк» с Любой Орловой в главной роли. Это было для нее большим ударом: лучше Нильсена ее никто не снимал.

Да, «враги народа» проникли и в наш киношный мир… Теперь ночью я часто стал просыпаться, когда слышал со двора характерный шум мотора. Уж не за мной ли прибыл «черный ворон»?

— Не верю я, что Он ничего не знает… Как это — «не знает»? — раздумчиво сказала мама.

И у меня стало совсем скверно на душе…

…Я снова увидел Его на авиационном параде в Тушине. Режиссер фильма об авиапараде Володя Байков пригласил меня на эту съемку в группу кинооператоров, которых ему для такого события показалось недостаточно.

И вот Он вновь в объективе моей кинокамеры.

Сразу стало светло на душе и радостно. Растаяли и улетучились всякие дурные предположения. На нем был кремовый френч и в тон ему фуражка. Он, как всегда, был красив, от него нельзя было оторвать глаз. Празднично одетый народ валил тысячами. Живописность происходящего была непередаваемая. У меня много было работы, и все же я любовался им. Отвлекшись, я не заметил Буденного, который шел к трибуне, и, чтобы успеть снять его приход, я побежал, обгоняя его со штативом и камерой на плече. И вдруг, оступившись, упал перед ним. Хорошо, что камеру не разбил — она оказалась у меня на спине. К моему удивлению, Буденный помог мне подняться. Я невольно посмотрел на трибуну и увидел, как Сталин рассмеялся, показывая на меня стоявшему рядом Куусинену. Я был удостоен «высокой чести» — он сам обратил на меня свое внимание. А если бы не заметил? — моей работе наступил бы конец: был бы с позором удален без права больше появляться на подобных важных событиях. А теперь мне охрана разрешила занять очень удобную для съемки позицию.

Володя Байков каждому оператору дал четкое задание. Нашему асу — Михаилу Федоровичу Ошуркову — снимать крупно вождя, трибуну и все, что там происходит, а мне — высший пилотаж и реакцию народа. Я пользовался длиннофокусной оптикой и телеобъективом 500. В промежутках

между двумя пролетами решил заглянуть на Сталина этим объективом. На этот раз я увидел его так близко, как никогда. Даже почему-то мне стало страшно. Он стоял совсем рядом — передо мной. Можно было дотронуться до него. Его лицо крупно — во весь кадр. Правильный овал лица, чуть тронутого не то мелкой оспой, не то непонятной рябью. Я даже оглянулся, не следит ли кто за мной. Рыжеватые усы с проседью прикрывали мягкую скупую улыбку. Его немного прищуренные — живые веселые глаза с оранжевой искоркой, показалось мне, все время улыбались. Я смотрел в объектив, разглядывая с большим любопытством «Великого вождя человечества», и совсем не волновался — как тогда, на Красной площади, в первый раз. Этот короткий взгляд прервал нарастающий рев эскадрильи тяжелых, новой конструкции, надвигающихся на Тушино бомбардировщиков. Я продолжил съемку парада, а в мыслях был Он…

«Нет, нет, мама, конечно, не права. Он ни в чем не виноват — он слишком высоко — до него невозможно дотянуться… И этим кто-то пользуется».

Тяжело и медленно — пешком — шло время. Тридцатые годы… Лучше о них не вспоминать. Больше было недоумений и вопросов, чем ответов на них. Газеты, журналы, театры и кино славили наши умопомрачительные успехи в строительстве социализма. Все самые выдающиеся открытия в науке, культуре, искусстве принадлежали только нам, и Великий Сталин — наш отец родной — вел нас к полному торжеству коммунизма. Тридцатые годы — ералашный, пестрый калейдоскоп горечи, радости, недоумения, сомнений и тяжелых потрясений. Люди жили и никак не могли осмыслить происходящее.

Он! Только Он знает, как жить стране! За всех думает… Жили и ждали, что скажет Он. И Он сказал: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей!» И Он это сказал не на ветер. Каждое первое марта каждого года в стране происходило снижение цен на продовольственные и промтовары, и это мероприятие особенно возвеличивало его славу. Тогда народ не догадывался, что каждый из нас сам участвовал в этом снижении, выплачивая из собственной зарплаты огромные займы.

Высоко поднялась и захлестнула страну новая волна славы. Писатели, композиторы, поэты, художники, кинодеятели не скупились в своем творчестве, славя «великого гения человечества». А выдающиеся ученые — академики превозносили его труды по вопросам марксизма и языкознания.

«Жить стало легче и веселей»: продовольственные магазины завалены крабами. Промтоварные — ситцем и гардинами. Но,

казалось, веселое настроение граждан было тревожным. Так жил город. Как жила деревня — мы не знали. Не знали, что в деревне тяжко и голодно. Но и наше «благополучие» было тяжким… Никто не знал, придут за ним ночью или не придут? Прислушивались к шагам на лестнице, к шуму мотора «черного ворона». Им даже стали пугать детей — «Вот приедет «черный ворон» и заберет тебя!».

…Время шло с остановками на парадах. Торжественных, пестрых, красочных, неповторимых. Каждый парад с высокой трибуны кто-то исчезал. Заболел, наверное, думали мы, кинооператоры, фоторепортеры. Только Молотов и Ворошилов никогда не болели. Твердо, непоколебимо стояли они по обе стороны от «Него»…

ВЫСТАВКА

Москва, май — июнь 1940 год

…Перечитывал написанное. Мало у меня глаголов. Вот в чем беда. Существительное — это изображение. Глагол — действие… Излишества изображения — болезнь века.

Валентин Катаев

Три года я работал для «Известий» — снимал по всей стране и для газеты, и для «души», — и 1 мая 1940 года в Центральном Доме кино открылась выставка моих фотографий. На открытие собрались друзья — и из газеты, и со студии, и из ВГИКа. Пришли и совсем незнакомые мне люди. Выставку открывал писатель Лев Кассиль, он говорил много хороших слов, каких — не помню, так был взволнован этим первомайским событием, героем которого стал я сам, что все слова, которые говорились мне в этот день, проходили через меня, не задерживаясь — ни в сознании, ни в памяти. В какой-то степени эта выставка стала итогом моей работы в тридцатые годы — от ГИКа до начала войны. И не только экзаменом профессионального мастерства, репортерского и художественного видения, но и показателем гражданственного и личностного уровня, которого я достиг к этому времени. Теперь я понимаю, что, будучи достаточно «зрячим» в том, что касалось образов времени, я был и достаточно слеп в том, что касалось их значений. И в этом я, наверное, был типичным представителем своего времени, своего поколения, его уровня сознания.

Все время, пока была открыта выставка — с 1 мая по 15 июня на столике у стены лежал красный альбом с кремовыми тисненными страницами, в котором весьма охотно и обильно расписывались посетители — и пришедшие на выставку специально, и случайно. И эти записи, на мой взгляд, — очень точный слепок времени и нашего самоощущения в нем.

«Тов. Микоша, замечательный первомайский подарок Вы преподнесли в своей прекрасной работе». «Вы с большой любовью и тактом отразили нашу советскую действительность и нашу природу…» Эта запись открывала «книгу отзывов». Подпись неразборчива.

Неизвестному зрителю вторил режиссер В. Немоляев:

«…Вкус, прекрасная композиция, умение выбирать тему, а главное — как-то по-новому и интересно отобразить нашу многогранную действительность…»

Я выбрал эти записи не из-за «вкуса» или «композиции» — из-за неизменной нашей «многогранной действительности», о которой писали почти все — и не по традиции, а, скорее всего, по велению сердца: записи были очень разные, но неизменно искренние и откровенные.

Оператор первого советского цветного фильма «Груня Корнакова» Г. Рейсгоф хвалил мои цветные работы. Наверное, это была одна из наших фотовыставок, на которой были представлены цветные фотографии, и думаю, что именно это привлекло к ней такое внимание.

В день открытия выставки, просматривая вечером первые записи, я вдруг обнаружил эту: «Замечательные фотографии, которые следует называть произведениями искусства… Григорий Александров».

А под ней короткое: «С восхищением присоединяюсь к высокой оценке. Любовь Орлова».

Как я их просмотрел? Или «заговорили» друзья — операторы и фотохроникеры, или выходил в буфет «схватить» бутерброд со стаканом лимонада? Или уж настолько потерял голову, что вообще ничего вокруг не замечал?

На следующий день на выставку пожаловал секретарь Президиума Верховного Совета Александр Григорьевич Горкин. Я не раз видел его, снимал на сессиях Верховного Совета, на встречах и награждениях, где он неизменно присутствовал. Что привело его на выставку в Дом кино? Может быть, думал увидеть себя? Или в свободное от Верховного Совета время занимался фотографией? Да и откуда он вообще узнал об этой выставке? Не знаю. Он взял меня под руку и так обошел всю выставку, особенно задержавшись у стенда с цветными фотографиями павильонов ВСХВ. Смотрел и вблизи, и отходя на расстояние, наклонял голову то на один бок, то на другой. Неподалеку, не мешая нам, прохаживался директор Дома кино — С. Левинсон.

— Ты не возражаешь, если я привезу Вячеслава Михайловича Молотова? — спросил Горкин, уже прощаясь. — Он любит хорошее искусство. Не возражаешь?

Я не возражал.

Каким-то образом дирекция Дома кино прознала про такую возможность.

— Ты что, знаком с Вячеславом Михайловичем? — спросил меня Левинсон.

— А как вы думаете? — неопределенно ответил я.

Дом кино «отдраили» к «высокому визиту», но он так и не состоялся…

Зато 13 мая вдруг в дверях выставочного зала я увидел огромную голову Эйзенштейна. Он спросил что-то у дежурной и направился прямо ко мне.

— Ну, показывайте ваши достижения…

Я был ошеломлен гораздо больше, чем визитом Горкина. Эйзенштейн, «мастер номер один» нашего кинематографа, был от меня так же далек, как Господь Бог.

Его приход на мою скромную выставку был для меня и царским подарком, и самым страшным экзаменом: все знали изысканность его композиций, высочайшее чувство формы, непревзойденную эрудицию. Он пробыл на выставке долго — очень долго… Водил меня за собой, изредка роняя короткие точные реплики. Иногда мне казалось, что он забывал, что я стою рядом, что я вообще существую, потом вдруг на меня обрушилось его ироничное, но заинтересованное внимание.

Уже прощаясь, он вдруг замешкался, стал искать что-то глазами, а обнаружив у дальней стены красное пятно «книги отзывов», отправился к столику и, наклонившись над ним, быстро записал:

«Впечатление от выставки работ тов. Микоша прекрасное. Радует талант и свежесть, вкус и зрелость мастерства. От души желаю автору дальнейших блестящих успехов. Сергей Эйзенштейн. 13.V.40 г.».

Я понял, что сдал свой главный экзамен. С тех пор число «13» стало счастливым для меня — я словно перевалил какую-то невидимую черту, за которой уже никакая «чертовщина» не могла меня «достать»…

Появились, впрочем, в моей красной книге и другие записи, которыми я мог по праву гордиться — это отзывы «старейшин» двух цехов — «фотоцеха» и операторского «цеха», снимавшие еще В.И. Ленина.

Первая запись была сбивчивой, записанной красивым «старинным» почерком на отдельном листке, который я потом, расшив альбом, вшил, встроил в него:

«Счастлив, что дожил видеть не просто фотографическую выставку, а выставку фотохудожественную — юного большого мастера фотоискусства.

Микоша является большим примером для нас всех своим чутким и умелым подходом с любовью к ценному и нужному фотоискусству, которое наша культурная общественность и правительство оценивают по должному…

От всей души желаю тебе, дорогой Микоша, много-много лет здоровья и быть полезным своим искусством для нашей культурной социалистической родины.

Простите, что я от души выразил слово Тебе, ибо Вы и Ваше стремление к фотоискусству мне родные и близкие…». Петр Оцуп.

Еще с двадцатых — саратовских — годов хранилась у меня открытка: В.И. Ленин в своем кабинете склонился над газетой. А совсем недавно — в начале года — в журнале «Огонек», кажется в № 2, появилась статья «Как я фотографировал Ленина», подписанная — «Петр Оцуп».

Я несколько раз перечитал летящие строчки, сбивающиеся с «ты» на «вы», записанные стариком Оцупом. Меня не было, когда он осматривал выставку, и эта запись была для меня, что называется, «нечаянной радостью».

Григорий Владимирович Гибер — кинооператор, снимавший Ленина на кино, бывший тогда намного моложе Оцупа, записал в моей «красной книжке»:

«…Виденное мной произвело на меня неизгладимое впечатление, очень редко встречал среди мастеров — фотографов подлинное искусство. Ваши снимки сделаны с любовью и большим мастерством. Еще раз желаю Вам на долгие годы творчества для нашей великой социалистической родины. Старейший оператор Г. Гибер».

А «старейшему» к тому времени было 49 лет!

Сейчас, когда я перечитываю записи в этом красном альбоме, я ловлю себя на мысли, что те полтора месяца я буквально «купался» в человеческой доброте. В книге нет не то чтобы злобы, которая в таком изобилии выливается сегодня на каждого, но даже легких «шпилек», которые могли бы уколоть. Самые критические записи — а их всего две — от студентов операторского факультета. Но насколько же они уважительны, а аргументация критических замечаний серьезна и благожелательна! Среди подписей студентов ВГИКа — «студент А.Колошин», тот самый Анатолий Колошин, с кем через сорок лет мы будем вместе работать над фильмами «Трудные дороги мира» и «ФРГ — урок немецкого».

А другой студент ВГИКа написал: «Жаль, что я Вас плохо знаю и не видел в лицо. При первой же встрече я Вас просто расцеловал бы — до того меня тронули Ваши работы…». Студент ВГИКа Меламед.

На страницах «красного альбома» разгорелась дружеская «битва» за меня между двумя «цехами» — фотокорреспондентов и кинохроникеров. «Я бесконечно рад, что в нашем звене пионеров

цветной фотографии вклад — новые работы Микоши», — писал замечательный мастер, фоторепортер Георгий Зельма.

«Микоша не фотограф, а кинооператор…» — парировал кинооператор М. Беркович. «Хроника много выиграла бы, если бы в ее рядах вновь появился Микоша».

«За три года вне работы на Хронике т. Микоша колоссально вырос. Т. Микоша должен быть возвращен в систему Кинохроники…» — вторил ему главный инженер студии К. Ксандров.

И, наконец, безоговорочная:

«Несомненно, на всех этих работах лежит печать опыта оператора-хроникера. Микоша снова должен взять в руки киноаппарат и с таким же мастерством снимать нашу замечательную жизнь». Р. Кармен, М. Слуцкий.

Но дирекция студии так и не «снизошла» до того, чтобы вернуть меня на хронику. Зато я принял, наконец, давнее предложение режиссера Александра Згуриди снимать с ним научно-популярный фильм «Крылатые путешественники» с весны следующего 1941 года…

Я сдал свой экзамен по фотографии и мог вновь вернуться в кино.

Одна из последних записей — оператора Бориса Волчка, снимавшего фильмы Михаила Рома, — стала как бы последней отметкой в моем «табеле оценок» на профессиональную зрелость:

«…Из выставок последних лет эта наиболее сильная».

До зрелости осознания происходящего в мире было еще очень далеко.

ОРДЕР НА ОБЫСК

Москва, Ленинградское шоссе, 20,
в ночь с 19 на 20 октября 1940 года

— Не стесняйтесь, профессор, — очень смущенно отозвался человек в штатском; затем он замялся и заговорил: — Очень неприятно, у нас есть ордер на обыск в вашей квартире и… и арест в зависимости от результата…

Михаил Булгаков

Все было не так, как у Булгакова. Совсем не так… Как же это было? Память подводила, наверное, не только меня — но каждого, кто пытался вспомнить не только события, ощущения, но и их последовательность. А главное — их последовательность в контексте событий, происходивших вокруг тебя, — в городе, в стране, в мире. Пока я писал свои воспоминания, избегая событий, которые не пропустил бы ни один цензор или редактор двадцатилетней давности, — все виделось проще, как бы «спрямленным», и события выстраивались с «проломами» целых пластов. А там, где я все-таки задерживался и писал все без исключения — эти «проломы» возникали уже после первой редакционной «прочистки», углублялись все более — от вмешательства все новых и новых редакторов до цензора включительно. Это не укор — ни редакторам, ни цензору: они исполняли те «указания», которые получали свыше, и ни один из них не мог ослушаться. Скорее — это укор себе: недостаточно сопротивлялся, да и в себе самом за долгие годы выпестовал и редактора, и цензора.

«Это не пропустят» — возникало задолго до того, как действительно не пропускали, до того, как строчки ложились на бумагу…

И странно, только теперь, когда стараешься припомнить все без исключения, ничего не упустить — только теперь, без «проломов» в памяти, все пережитое становится на свои истинные места.

Итак, обыск…

Если май сорокового года стал звездным часом моей жизни,

то очень скоро — буквально через несколько месяцев — судьба моя сделала все, чтобы показать мне, что я — ничто, ничтожество, червь…

Думаю, что истоки этого страшного события были годичной давности: летом 1939 года я вновь оказался в Севастополе — на кораблях Черноморской эскадры, где должен был сделать ряд снимков для своей газеты.

Впрочем, возможно, эти съемки я проводил летом 1940 года. Не суть важно. К октябрю сорокового года я успел проявить и отпечатать все, что наснимал, и даже апробировал все отпечатки у главного морского цензора. На каждом снимке на обороте стояла большая печать с датой и личной подписью капитана первого ранга Ушакова. Если бы тогда я знал, какую роль в моей судьбе сыграл Ушаков, настоявший на этих печатях!

— Не отказывайтесь! Они вам никогда не помешают! — припечатывая снимки, говорил он.

Я уже не помню, сколько времени прошло после приезда из Севастополя. Под вечер мы с женой возвращались домой на Ленинградское шоссе. В садике на лавочке у парадного сидела моя мама. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, что случилось нечто ужасное.

— Ребятки! Мы пропали — они пришли! — Она заплакала.

— Мама! Объясни, кто пришел? Не плачь! Успокойся.

— Гепеушники! Опечатали нашу комнату! — Она снова залилась слезами и протянула мне записку. — Я сняла ее, она была приколота рядом с печатью! Прочти, мне слезы мешали — я ничего не могла разобрать!

«Зайдите к домуправу», — гласила записка.

— Ты была у него?

— Нет! Я ждала вас, мои дорогие. Ждала долго, чуть с ума не сошла. Я так боюсь. Неужели мы тоже враги народа? — Мама заплакала.

— Ну что ты, успокойся. Сейчас все разъяснится, что это просто недоразумение! — пробовал я успокоить маму, а у самого сердце выскакивало из груди.

Только бы мама не услышала. В моих ногах появилась слабость, и я невольно присел рядом на лавочку.

— Ты чего же сел? Иди скорее, а мы с Зоей подождем!

Я никогда не видел маму такой сразу постаревшей и несчастной.

Домуправа я хорошо знал. Это был молодой и не в меру любопытствующий малый. Он ни у кого не вызывал симпатий.

— А, это ты! Наконец-то явился, не запылился! Ждали тебя тут, очень гневались, что не застали. Вот тебе телефон — звони

срочно! Уж несколько раз звонили, не явился ли ты. Будто я виноват, что тебя целый день нет дома.

— Я же работаю, а не сижу дома! А кто такие, ты не знаешь? — спросил я, уже догадавшись.

— Ты что, маленький? Позвони, сразу узнаешь!

Я плохо набирал номер, ошибался и не туда попадал. Руки у меня тряслись, хотя я всячески старался этого не показывать.

— Ну что, волнуешься? Дай наберу…

В это время мне ответили.

— Долго же мы вас ждали! Теперь вы подождите нас, скоро приедем.

На скамейке сидели, обнявшись, мама с женой. Я подсел к ним.

— Приказано ждать! — как сумел спокойно сказал я.

Невольно передо мной возникла ночная картина, когда «черный ворон» увозил семью напротив. Я посмотрел на одинокое парадное в конце дома…

«Ждите, скоро приедем! Ждите, скоро приедем! Ждите…»

Ждали, как показалось, целый год. Что мы только не передумали. Время перестало идти — остановилось, как вкопанное. Вспомнились все случаи — и виденные, и рассказанные, и прочитанные в газетах о «врагах народа». Одно успокаивало, но очень слабо: мы были убеждены, что мы не враги народа. Ожидание было тягостным. Мы целый день ничего не ели, но голода не чувствовали.

— Пойдемте наверх. Переждем на кухне, — предложил я.

На нас уже обратили внимание приходившие в дом жильцы, к счастью, вопросов не задавали. Слава богу, соседи по коммунальной квартире были в отпуске.

Только один знакомый поинтересовался:

— Что это вы так поздно засиделись тут?

— Дышим! — не своим голосом ответил я.

Он посмотрел на нас, улыбнулся и сказал:

— Ну-ну! Дышите!

Тяжело было подниматься к себе на шестой этаж. Лифта не было.

Кремлевские куранты по радио на кухне пробили очередной час. За дверью на лестнице послышались тяжелые шаги, их было много. Неприятно заскребло под ложечкой. Мама, крестясь, что-то шептала. Длинный звонок показался оглушительным. Я постарался взять себя в руки.

— Ваша фамилия Микоша, имя Владислав Владиславович? — спросил меня первый, когда я открыл дверь.

Он был в форме НКВД с тремя шпалами в петлицах. За ним

вошел высокий в штатском и двое с кубиками.

— Прошу ознакомиться! — И он вручил мне листок, отделив его от другого, который спрятал в боковой карман.

— «Ордер на обыск № 1034», — прочел я крупный и четкий заголовок.

Что было написано ниже, я не читал. «Слава богу, не арест», — подумал я. А может быть, на втором листке, который он спрятал, — ордер на арест? Не успел я вернуть ордер обратно, как прозвучали два короткие звонка. Так звонили только нам. Неужели Кольку черт принес? Я вспомнил — он обещал сегодня вечером вернуть взятый патефон с пластинками. Я хотел открыть, но меня оттеснили, штатский открыл дверь. Вошедший был, конечно, Колька Головин.

— Ради бога, извини, Владик! Я прямо со съемки… — Он осекся и замолчал в полном недоумении, когда увидел много военных в форме НКВД. В руках у него был патефон, а на лице страх.

— Ваши документы, гражданин! Что это у вас? — строго спросил штатский.

— Патефон! Я брал его у Владика поиграть! Вот возвращаю…

— Кем он вам приходится? — задал мне вопрос штатский.

— Это мой приятель Коля Головин, актер с «Мосфильма». Вы, наверное, его помните. Он играл матроса с камнем в фильме «Мы из Кронштадта».

— Вам, гражданин, придется здесь задержаться! — сказал штатский Коле и, сняв печать, вошел в комнату.

Обыск начали с Коли. Кроме пропуска на «Мосфильм», у него ничего не оказалось. Он даже карманы вывернул, рассыпав по полу мелочь.

— Чей это патефон?

Коля молча показал на меня пальцем.

— Сядьте вот сюда и откройте вашу музыку! — строго сказал штатский.

— Хотите работать под музыку? — вдруг отчебучил Коля, открывая патефон и вынимая пластинки.

— Глупые вопросы не рекомендую. Оставьте их при себе!

Патефон был скрупулезно исследован. Даже отвинчивалась верхняя крышка и заводился механизм. Все пластинки, купленные мною в Торгсине на серебряные ложки, были прочитаны. «Не хватало еще их проиграть», — подумал я. Хорошо, что я вчера Вертинского и Лещенко вернул обратно Петру Новицкому. Быть бы большой беде, если бы их обнаружили у нас. «Буржуазная пропаганда» была строго запрещена и жестоко каралась.

Только недавно я где-то прочел, что Сталин в минуты

ипохондрии слушал пластинки Вертинского. Себе он это позволял.

— А мне тут долго куковать? — жалобно спросил Коля.

— Пока все не закончим, сидите и не мешайте работать!

Покончив с Колей, принялись за нашу комнату.

— Что же вы ищете? Скажите, и мы честно ответим, есть это у нас или нет! — вдруг сказала мама.

— Вас, мамаша, и вас, гражданка, прошу сесть на диван и не отвлекать нас от работы ненужными вопросами! Понятно? А вы, гражданин Микоша, знакомьте нас с вашей комнатой и вещами.

— Эти книги все ваши? Чужих нет? — долго изучая книжную стенку, спросил старший.

— Свои еще не все осилили! — ответила мама.

— Я спрашивал не вас, мамаша, прошу не мешать работать.

Я помогал, как мог. Это хоть как-то отвлекало от назойливых мыслей — что нас ждет впереди? Подносил, открывал, раскрывал, просмотренное складывал в одну большую безобразную кучу. Каждая книга была тщательно пролистана, все белье и одежда прощупаны. Наконец добрались до моего рабочего секретера, где находилось большое количество негативов и фотографий разного времени съемок. Особый интерес вызывали негативы и отпечатки, снятые мною на военных маневрах Черноморского флота. Их проверяли при помощи лупы — долго, скрупулезно и утомительно. Каждую фотографию сличали с негативом и смотрели сквозь лупу на печать цензора и его подпись. «Неужели цензор Ушаков предвидел такую операцию?» — подумал я невольно, глядя на происходящее. Комната наша была, можно сказать, вывернута наизнанку. За окном стало совсем светло.

— В квартире есть телефон? — спросил старший.

— Во дворе есть телефон-автомат.

— Идите доложите! — очень тихо сказал старший штатскому.

Тот ушел. Оставшиеся с трудом нашли место и присели передохнуть. В комнате некуда было ногой шагнуть — полный разгром.

Утомительно долго мы и они молча ждали. Мама и моя жена Зоя — лучше бы на них не смотреть… Я никогда раньше не предполагал, до чего может быть бледен человек. Не дай бог никому этого видеть и пережить. Все время я находился как в страшном кошмарном сне — вне времени и пространства, и вдруг, взглянув на часы, опустился на пол. Было на них, я даже не поверил — пять сорок.

Наконец пришел штатский. Он отозвал старшего в кухню, и они минут двадцать о чем-то совещались. Вернувшись, дали мне и Коле листки, где мы должны были дать подписку о

неразглашении всего, что здесь происходило.

— Что же нам делать теперь? Можно ли идти на работу? — спросила мама.

— Работайте, как работали, только имейте в виду — вы дали подписку! До свиданья, мамаша!

— А как со мной? — засуетился Коля.

— С вами, товарищ актер? Не болтать, стать более серьезным и помнить о подписке. Можете идти на съемку!

— Премного благодарен! Премного благодарен! — кланялся Коля.

Они ушли, стуча сапогами по лестнице. Мама, стоя, прислонившись к двери, крестилась.

Первым пришел в себя Коля:

— Ребята! Я никак не хотел быть свидетелем этого разбоя!

— Коля, тише! Разве можно так громко? Не дай бог, услышат стены!

— Дайте мне водицы испить, и я побегу с глаз долой. Такого мне и присниться не могло. Это только для кино! Пока…

Мы остались одни. В ушах тонко и жалобно звенела какая-то струна. Зоя, как каменная, на коленях стояла перед старинной иконой, которую унаследовала от бабушки, и молилась. Кругом невероятный хаос. «У разрушенного очага», — вдруг втемяшилась мне фраза из цыганского романса. Так мы сидели, пока не пришло время идти на работу. Ни спать, ни есть не хотелось.

— Детки мои, можете меня ругать, я больше Сталину не верю! — сказала мама тихо, почти шепотом и оглянулась на дверь.

После всего услышанного и произошедшего с нами трудно было с мамой не согласиться, и все же неужели, зная обо всем, он может с этим мириться?.. Нет, нет, он, конечно, ничего не знает!..

Только я показался на работе, как меня стали спрашивать:

— Что с тобой? На тебе лица нет!

— Ты что, заболел?

И только вошедший фотограф Яков Халип, отозвав меня в сторону, сказал:

— А я знаю, чем ты заболел! Только это строго между нами! Понял? У вас этой ночью были? Не отнекивайся, по глазам твоим покрасневшим вижу — были.

— Откуда ты знаешь?

— Нетрудно догадаться, у меня тоже были. Вверх ногами весь дом. Это все черноморские маневры виноваты. Я видел тебя там, на линкоре «Парижская коммуна». Им сюда кто-то капнул из Севастополя, что мы засняли секретные объекты на Черноморском флоте. Вот это и есть причина визита к нам с

Лубянки. Спасибо, что не посадили. Сейчас это повальная эпидемия. А то бы хана нам с тобой.

Так завязалась наша дружба.

Больше недели мы не заходили домой. Жили у родных. Долго не проходило потрясение. С большим трудом, наконец, привели в жилой вид свою комнату. Я продолжал работать, но со мной что-то произошло. Будто я стал намного старше. Да нет — не старше — старее. Будто стал видеть дальше и глубже, чем видел. Часто стал задавать себе вопросы, над которыми раньше не задумывался. Но ответа не находил. Что-то происходило вокруг, с чем я как человек не мог согласиться. Уходили из жизни известные на всю страну старые революционеры, соратники Ленина, военачальники, ученые, деятели культуры, тысячи простых людей — «врагов народа» переполняли лагеря Сибири, Севера, Дальнего Востока. Они работали в невыносимых условиях за колючей проволокой на «Великих стройках коммунизма»… Парадокс. Неужели он со всем, что происходит, согласен? Нет! Нет! В это поверить? Как же тогда жить? Это проходит мимо него, Он же гений! Велик, как бог! Справедлив и добр! Весь наш народ молится на него… А вдруг он этим пользуется, злоупотребляет? После этой крамольной мысли мне стало нехорошо. Только бы никто не догадался, какие мысли мне вдруг пришли в голову.

…Сегодня мой сокурсник Андрей Болтянский сообщил мне под большим секретом, что вчера наш любимый профессор Голдовский стал врагом народа и получил пятьдесят восьмую…

Кто же тогда я? Тоже враг народа? И меня могут в любую минуту посадить?.. Нет! Нет! Просто я чего-то не могу понять. Никак не могу понять…

ЦЕНОЮ ЖИЗНИ

Львов, декабрь 1940 года

В воспоминаниях невернувшиеся становятся еще милее. Они всегда улыбаются самой светлой улыбкой.

Антуан де Сент-Экзюпери

Когда в 1932 году я уезжал во Владивосток, мой друг оператор Коля Теплухин завидовал мне — завидовал тому, что я еду к морю, тому, что я буду снимать диковинный край, суровую жизнь рыбаков и столь желанную, сколько и туманную для нас в ту пору романтику моря. Мы договорились, что я приеду, устроюсь, осмотрюсь и вызову его к себе. Он ждал моего вызова так же нетерпеливо, как я — его приезда. Но когда, наконец, такая возможность представилась и я забросал Коку телеграммами, он не приехал. Я до сих пор не знаю, что тогда помешало ему. То ли он был в длительной командировке и не получил моих посланий, то ли был болен, то ли что еще… Только он не приехал. Я был не на шутку расстроен, но события закрутили меня, да и Коку, наверное. Он был выдумщик — неугомонный, веселый, деятельный.

Прошло несколько лет. Страна готовила павильон на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Для павильона было заказано фотооформление — «Советский Союз в фотографиях».

Работу эту организовал Госкиноиздат, при котором были ПТМ — производственно-творческие мастерские.

Находились эти мастерские на Кузнецком мосту, над теперешним магазином «Консервы», что на углу Неглинной. Работали там фоторепортеры «Известий», «Смены», «Интуриста» — Яша Халип, Григорий Зельма, Семен Фридлянд. Снимал для выставки и я. Мне было поручено снимать Магнитку.

Как-то рано утром пришел Халип в мастерскую мрачный. Работал молча. Потом его прорвало:

— Сейчас встретил Марка Трояновского… У вас там на кинохронике парень из самолета выпал. Хороший парень. Да ты, наверное, знаешь…

Почему-то я подумал: уж не Кока ли?

— А фамилия?..

— Фамилии я не знаю, а вот звали его…

— Кока? — вырвалось у меня.

— Кока. Откуда ты знаешь?

Я не знал. Просто я больше всех боялся за него, за своего друга, потому что только от него можно было ожидать, что он окажется на Луне, на дне морском или вот вывалится из самолета.

Скверно это было. И верить не хотелось. Долгое время я так и не знал, что же случилось с моим другом в этом проклятом самолете. И только спустя много лет мне рассказал об этом главный участник этой авиасъемки и непосредственный очевидец катастрофы оператор Соломон Коган.

Как-то, уже после войны, меня попросили зайти в редакцию киножурнала «Советский спорт».

— Тер-Ованесяна знаешь? — спросил меня редактор Геннадий Блинов.

— Знаю, конечно. Снимал не раз, но лично не знаком.

— Хочешь познакомиться? Поезжай во Львов и сними для нашего журнала сюжет о нем.

Меня не надо было уговаривать — спорт всегда увлекал и захватывал меня не только на съемке, но и на ринге, на воде, на стадионе.

На другой день, оставив заснеженную Москву, мы выехали поездом во Львов.

Тер-Ованесян встретил нашу маленькую группу очень приветливо. Повел из института домой, познакомил со своим отцом — бывшим чемпионом по метанию диска. Просто и деловито рассказал о себе, об учебе, о тренировках.

Погода помогала. Было тепло, и съемки тренировок прошли быстро и успешно. Уезжать не хотелось, но командировка кончилась, и пора было возвращаться в Москву.

Поезд уходил поздно вечером, и у нас еще была возможность пообедать.

В ресторане было пусто. Яркие полосы света распластались на рыжем паркете, на скатертях и гардинах.

— Через три дня Новый год, а теплынь такая, что трудно поверить…

— У вас всегда так? — обратился мой ассистент к хлопотавшему у стола пожилому официанту.

— У нас намного теплее, чем в Москве, но такой теплыни в декабре я что-то не припомню с давних пор, — охотно и приветливо ответил официант.

— Скажите, а до войны вы здесь работали? — спросил я.

— С тридцать девятого служу на этом месте, с перерывом на войну. А что?

— Друг у меня здесь погиб в октябре сорокового.

— Тут, в ресторане?

— Нет, вон там! — Я показал за окно. — На площади. Упал из самолета при киносъемке.

— Ах, так вы про этот случай… Так он был вашим другом? Ну как же, я все помню, будто это было вчера…

Он поставил на стол стопку тарелок, помолчал.

— Над городом тогда целый день гудели самолеты. Рассчитавшись с клиентом, я стоял вот тут, у стойки буфета, и пересчитывал выручку. Вдруг на улице послышался свист, и там, за тем окном, промелькнула черная тень. Я так испугался, что закрыл лицо руками и присел. Что-то задело за балкон и ударилось о тротуар. Я подбежал к окну, но ничего не успел разглядеть — набежала толпа и все от меня закрыла.

Весь город хоронил этого парня. Его везли на вокзал на орудийном лафете, и чужие незнакомые люди плакали и несли ему цветы. Красивый, говорят, был и молодой… Что там с ним случилось, я так и не знаю. Может, вы знаете? — и наш знакомый присел на край стула в надежде услышать разгадку этой трагической истории.

Я рассказал им то, что не раз слышал от Когана.

— По заданию студии оператор Коган должен был срочно выехать во Львов для авиасъемок. Коля был в отпуске и случайно узнал об этом. С большим трудом добился того, чтобы его отозвали из отпуска и послали вместе с Коганом. Он до самозабвения любил небо и самолеты, и мы мечтали с ним о том, что когда-нибудь прыгнем с камерой на парашюте и снимем все до самого приземления. Кока, так называли его друзья, был общим любимцем на студии, и дирекция баловала его, выполняя почти все его желания. Так случилось и на этот раз. На студии заканчивался фильм «Ударом на удар» — о маневрах Красной Армии. Коган с Теплухиным должны были снимать с воздуха нападение на Львов условного врага и пикирование бомбардировщиков на военные объекты.

Командование предоставило для съемок двухместный самолет с опытным летчиком, мастером военного пилотажа.

14 ноября с аэродрома вблизи города Коган поднялся в воздух. Коля был вынужден остаться на взлетном поле. Самолет больше одного пассажира поднять в небо не мог. Кока с завистью наблюдал с земли, как самолет, на котором снимал его товарищ, проделывал сложные виражи.

Наконец Коган кончил намеченную программу и приземлился.

На этом можно было бы и закончить съемку, но Коля сумел

убедить всех — и Когана, и пилота — в том, что необходимо подняться еще раз в воздух и кое-что доснять.

Кока забрался в кабину. Коган передал ему «Аймо» и черный перезарядный мешок. Летчик заботливо проверил, как устроился Коля, застегнул на нем привязные ремни и только тогда занял свое место.

— Контакт! От винта!.. Контакт! От винта!

И они взмыли в небо.

Коган остался на месте Николая и стал наблюдать за полетом. Прошло несколько коротких минут. Самолет сделал небольшое пике на город. В этот момент из него вылетело что-то черное и стремительно стало падать.

«Наверное, у Коки ветром выдуло из кабины перезарядный мешок с пленкой — забыл его предупредить»- подумал Коган.

Самолет пошел еще на один заход для съемки над городом. Вдруг круто развернувшись, он спикировал прямо на летное поле и через несколько секунд приземлился.

Коган видел, как из самолета выскочил летчик и полез во вторую кабину. Тут же он спрыгнул за землю, сорвал с себя шлем вместе с очками и бросил его с силой об землю.

Коган ничего не понял, но в предчувствии чего-то страшного кинулся к самолету.

«Что случилось с Кокой? Почему он не выходит из самолета?» Коган бежал к самолету и видел, что пилот снова полез в кабину Коки, но на этот раз он достал оттуда черный перезарядный мешок с пленкой. Только тут Соломону все стало ясно — нет больше Коки. Он выпал их самолета над городом.

— Ума не приложу. Никогда со мной такого не бывало, чтобы пассажир без парашюта выскакивал за борт. Черт знает, что это такое! При каждом заходе я видел его лицо в зеркале. Он улыбался мне. И вдруг оно исчезло. Вначале я думал — оператор перезаряжается, но время шло, а он не появился. «Может, с ним плохо», — подумал я и развернулся на посадку. Мне и в голову не могло прийти, что он уже за бортом…

— Что же делать? Надо ехать в город…

— Да, но восемьсот метров высоты жизнь не сохранят парню. Ах, парень, парень!… Черт понес меня лететь вторично… Как он нас уговаривал…

Пилот шел рядом с Коганом и, чуть не плача, пытался понять, что же произошло.

Уже в машине Коган вспомнил, что при съемке ему пришлось ослабить привязные ремни — иначе снимать было невозможно. Колька, увлекающийся и темпераментный, наверное, расстегнул ремни совсем и, увлекшись съемкой, забыл все на свете. Когда

самолет ринулся в пике над городом, Коля остался с камерой в воздухе, а машина ушла из-под него…

Я кончил рассказ. Светлые пятна на полу подвинулись к нашему столу. Наступило тягостное молчание.

— Да… — проговорил официант.

— Что же это ему нужно было? И чего беспокоился? Сняли? Сняли. Склеили бы, и все вышло. Зачем было рисковать? — расстроено пожал плечами мой ассистент.

Я хотел ответить. Сказать о том, как удивительно ощущение полета, о том, как в двадцать лет хочется видеть, чувствовать, узнавать, о том, что о риске и случайностях не думаешь в такие моменты, о том, что мои друзья-операторы не жалели жизни ради одного удачного кадра. Но так много мыслей захлестнуло меня в ответ на одну рассудительную фразу, что я никак не мог их организовать во что-то лаконичное и веское.

«ПОСЛЕДНИЙ НОНЕШНИЙ ДЕНЕЧЕК»

Москва, 22 июня 1941 года

Мы предчувствовали полыханье
Этого трагического дня.

Ольга Берггольц

Много прошло времени с той трагический даты — двадцать второго июня сорок первого года — и каждый раз, вспоминая этот светлый, солнечный день, невольно содрогаешься, переполняясь непередаваемым чувством тревоги, болезненного беспокойства: что же теперь будет? Как и что нужно делать? Наверное, бежать в военкомат и записываться добровольцем… Стоп! Лучше с самого начала.

Как же все это происходило? Откуда я впервые узнал о страшном начале? Война пришла — не пришла, а свалилась на нашу голову — бомбами, без официальных объявлений, нот, деклараций, ультиматумов, посланий, дипломатических представлений…

Ночь с двадцать первого на двадцать второе была теплая, тихая, ароматная. Цвели липы. Я проснулся. С открытого настежь балкона несся невообразимый шум. Воробьи, которых я любил подкармливать, ожесточенно чирикая, набрасывались друг на друга, отнимая в драке кусочки хлеба. Желтые косые стрелы низкого солнца ярким пятном высветили на карте мира, висевшей во всю стену, ледяную Гренландию. Я закрыл глаза, пробуя уснуть. К воробьиным голосам присоединились воркующие на крыше голуби. С Ленинградского шоссе доносился гул проезжающих изредка поливальных машин. Вся Москва спит себе, а мне не спится. Черт бы побрал этих проклятых воробьев. Я снова открыл глаза. Солнце теперь перекинулось на часы — четыре часа с минутами высветило оно. Сделав над собой усилие, я задремал…

Сколько я спал? Наверное, недолго. Воробьи на балконе словно взбесились. Я вскочил с постели и шуганул их с балкона.

Они улетели.

На меня пахнуло дождевой свежестью и медовым ароматом. По Ленинградскому шоссе шли уступом поливальные машины, и вода радужными искрами обдавала цветущие липы… Сон отлетел, наверное, вместе с воробьями. Минутная стрелка поравнялась с цифрой «двенадцать». Пять часов утра. Ложиться спать бессмысленно, хотя все в доме спали. Я не находил себе ни места, ни занятия, включил приемник СВД и стал крутить ручку настройки. Его короткие волны принесли из Европы джазовую мелодию из нашумевшего тогда фильма — «Конгресс танцует» со знаменитой кинозвездой Германии Царой Леандр. Передача музыки шла прямо из ресторана, к мелодии примешивались смех и голоса сидящих за столиками людей. Я, убавив громкость, чтобы не будить никого, бесцельно крутил ручку настройки. Менялись города, страны, мелодии… Такая мелодичная музыка баюкала, навевала сон, и я был готов уснуть, как вдруг меня насторожил тревожный голос, оборвавший мелодию с песней на полуслове, диктор говорил взволнованно, на английском языке… Нет, нет, я не ослышался! Он очень понятно, даже для меня, не очень знающего английский, сказал:

«Армады немецких люфтваффе сбросили бомбы на города Советской России — Мурманск, Севастополь, Одессу, Каунас, Минск, Киев, а наземные части пехоты и танков перешли государственную границу России».

Что это? Как это понимать? Я не мог себе представить такого, я не верил. Может быть, из сумасшедшего дома сбежал опасный больной и, пробравшись на радиостанцию, пугает мир новой войной?

Я снова начал перебирать станции и теперь уже услышал, кроме джазовых мелодий, повторение имен знакомых городов на французском, испанском, итальянском, греческом языках.

Может быть, я сплю и мне приснился такой кошмарный сон? Да нет! Я снова вышел на балкон, чудесное, сверкающее утро расцветало над умытой Москвой. Нет! Это невозможно! Я снова кинулся к приемнику. Теперь уже не было никакой музыки, и по всем станциям, кроме нашей, шла сплошная, на разные голоса и эмоции, взволнованная информация о начале войны против Советского Союза.

Что же это — война или хорошо организованная провокация? Я разбудил своих близких. Нас охватило ужасное чувство тревоги и неизвестности… Мы с нетерпением стали ждать, когда же заговорит наше радио? Мы еще на что-то надеялись, ждали чуда… Как мы досидели до утра, одному Богу известно…

Наше радио, как всегда, было предельно спокойным и сугубо

мирным. И жизнь на нашей родине ничем не омрачилась.

— Может, ты неправильно понял? Ты же не очень хорошо знаешь языки? — спрашивала меня мама, надеясь на мою ошибку, хватаясь за нее, как утопающий за соломинку.

Мы в полном недоумении, не завтракая, сидели у приемника и час за часом слушали последние известия. Страна жила своей размеренной, спокойной жизнью, и никаких признаков нарушения границы или объявления войны ни с той ни с другой стороны не было…

Я взял у двери газету «Правда», которую в то время просто бросали в прорезь двери — в квартиру, с трепетом раскрыл: короткие сообщения о воздушной войне между Англией и Германией, о военных действиях в Африке и в Китае… И больше о войне ничего…

Немного успокоился. Прослушав последние известия в одиннадцать часов и немного придя в себя, мы решили, как и задумали еще вчера, поехать за город на Пахру, загорать и купаться.

Да, это, очевидно, была хорошо исполненная провокация наших «дорогих друзей» на Западе. Пока мы собирались, часы показали ровно двенадцать, и вот тут у мамы подкосились ноги, и она, побледнев, как полотно, упала на тахту. Сильный, строгий, тревожный голос всем знакомого Юрия Левитана объявил: «Товарищи! Сейчас перед вами выступит Народный Комиссар по иностранным делам товарищ Молотов!»

Молотов сказал о том, что в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий и объявления войны, немецкая армия атаковала нашу границу, а немецкая авиация бомбила наши города…

Мы слушали, чувствуя, что почва уходит из-под ног…

Хорошо знакомый голос наркома по иностранным делам был трагическим и неуверенным, не похожим на обычный самоуверенный. Он был скорее виноватым — жалостно-просящим, чем бодро призывающим к борьбе со смертельной опасностью.

> «Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза…
>
> Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами…»

Радио умолкло. Наступила гнетущая тишина. Все сидели, охваченные каждый своими мыслями и все вместе одной… Что делать? Что теперь будет?

— Может, я старая стала, из ума выжила, перестала

понимать! Где же наши гордые соколы были? Как же наша, самая сильная в мире Красная Армия, почему она не преградит?.. Как понимать — «ни пяди своей земли не отдадим… врага будем бить на его территории…» Боже мой! Что же это Ворошилов смотрит? Вот он даст жару!

Мама говорила, глубоко дыша, ее лицо было бледным, по щекам текли слезы. Вдруг она бросилась мне на шею и зарыдала.

— Сыночек мой! Да сохранит тебя Бог! Последние денечки мы с тобой вместе! Я буду ждать, и Бог сохранит тебя!

Мама встала на колени перед висевшей в углу иконой и начала молиться…

Первый день явки мобилизованных на призывные пункты был объявлен на завтра, 23 июня, и у меня был еще целый день.

Когда волнения немного улеглись, мы отправились к моему брату на Большую Калужскую улицу. Первое, что меня сбило с толку, когда мы вышли на улицу, — это Москва. Она была яркой, солнечной, праздничной, сверкала чистотой и была вся в цветах. Небо было глубоко синим, и в его прозрачной синеве с веселыми криками носились ласточки. Весь облик столицы находился в полном противоречии с настроением людей, вышедших на улицы и площади, со страшным словом — «война».

Мне казалось, что со словом «война» все должно потускнеть — и небо, и город, и в парках цветы, и умолкнуть птицы…

Мы шли по Москве, заполненной народом больше, чем в обыкновенное летнее воскресенье. Казалось, вся Москва вышла сегодня на улицы, чтобы последний раз увидеться, посмотреть друг другу в глаза и уйти туда, откуда, быть может, никогда не вернешься назад…

На улицах было шумно и напряженно, все были на пределе какого-то горестного взвода, на острие гнева невысказанного, но вот-вот готового взорваться… Москвичи шли целыми семьями, каждая в своем направлении, с детьми на руках, с детьми за ручку, с бабушками. Все говорили, спорили, плакали, размахивали руками, грозили кому-то кулаками.

— А Сталин-то на что? Он им покажет, где раки зимуют! Не жить теперь Адольфу! — орал на всю улицу огромный рыжий детина, с красной от выпитого рожей.

Он грозил кулачищем и матерился откровенно, никого не стесняясь, от всей души. Его изо всех сил старалась удержать маленькая женщина, сама не в силах сдержать рыданья. За ее юбку держался и ревел такой же рыжий мальчонка…

Пока мы добрались до Большой Калужской, на нас обрушилась лавина эмоций — патриотизма, открытого горя, безнадежности и бодрого оптимизма.

— Через месяц-другой мы будем в Берлине! Вот увидите! Я не шучу! — говорил, зная, что его слышат все в трамвае, молодой, с розовыми ушами и голубыми петлицами, лейтенантик.

— Вы думаете, это как же так? Это фора! Фору мы ему даем — завлекаем! А потом как хватанем за горло!

— А ты, пацан, знаешь, сколько эта фора стоит нам? Ты думаешь, он дурак, твой Адольф? — вдруг осек лейтенантика пожилой, в засаленной робе, человек.

— Это ты брось, папаша! Это не наши слова!

Лейтенантик забегал глазами, покраснел, ища поддержки, но в трамвае стало тихо, все неприветливо смотрели на лейтенантика, а пожилой человек поспешно сошел на первой же остановке.

— Вот видали такого! Есть еще у нас такие! Трусы, паникеры! Жаль, смылся! Я бы его отвел куда следует! — не унимался лейтенант.

— А ты лучше покажи себя там, чем здесь среди стариков и баб махать руками и грозить! — отчитала его седая женщина, прикладывая платочек к покрасневшим глазам.

— А что, вот и покажем.

Когда мы в троллейбусе возвращались домой, подвыпившая компания затянула под гармошку «Последний нонешний денечек»… Стало грустно невыносимо, многие женщины, не скрывая слез, плакали. Не выдержала и моя мама, пришлось выйти, и дальше мы не решились ехать — пошли пешком. Вот только теперь я увидел, как изменилась Москва и как она стала не похожа на довоенную, счастливую, беззаботную, веселую… Горе, беда и тревога постучались в наш дом…

НАМ НЕКУДА ОТСТУПАТЬ

Севастополь, июнь 1941 года

Когда война приходит в города —
Они становятся темней и тише…
А он казался мне светлей и выше,
Значительней и строже, чем всегда.

Григорий Поженян

«…Нам некуда отступать — позади нас море. Помни же — не верь отступлению. Пусть музыканты забудут играть ретираду. Тот изменник, кто потребует ретираду. И если я сам прикажу отступать — коли меня». Корнилов сказал это своим солдатам за несколько недель до первой бомбардировки Севастополя, за несколько недель до своей гибели. Я пытаюсь связать воедино прошлое и настоящее, понять те закономерности и связи, которые невидимой нитью соединяли те одиннадцать месяцев первой обороны, и Севастополь сорок первого…

Я вспоминаю свои довоенные встречи с Севастополем — и ту давнюю, с Кауфманом в 1932 году, и последнюю предвоенную, чуть не закончившуюся для меня трагически, но такую светлую до возвращения в Москву, — и они сливаются в единое ощущение праздника…

…Город замер, высеченный из золотистого камня. Его миниатюрные, увитые виноградом домики с красными черепичными крышами, оживленные лепестками бескозырок, кривые улочки, переулки, лесенки, веселые бульвары террасами сбегают к прозрачным бухтам и роняют в них бронзовые отражения героев легендарной обороны прошлого века. Сошел в теплые воды бухты и остановился, задумавшись, по колено в прозрачной волне Памятник затопленным кораблям. Его грозный орел — эмблема русского могущества — распростер бронзовые крылья над Северной бухтой. За ним по ту сторону залива — Северная сторона с братским кладбищем вдали и неприступной крепостью над входом в бухту. Тает в голубой дымке

Константиновский равелин — ворота Севастополя…

Крики чаек, плеск волны о каменный берег, протяжный тревожный возглас сирены вернувшегося из дозора сторожевика.

— Эй! Рыбак! Уснул в ялике? Полундра!

«Полундра…» — много раз повторяет эхо. Двенадцать часов. Бьют склянки на корабле, и их серебряный перезвон плывет, летит вместе с криками чаек к извилистым бухтам города.

На рейде Северной бухты замерли острые, серые громады военных кораблей. Они стоят отшвартованные на «бочках» и глядятся в свое отражение. Жерла орудий в белых чехлах, а к высоким мачтам вознеслись бело-синими флагами постиранные и вывешенные на просушку форменки и тельняшки.

Под минной башней у каменного пирса стоят тесной семьей отшвартованные эсминцы. Южная бухта. Высоко над ней в центре Исторического бульвара круглое здание Севастопольской панорамы и памятник Тотлебену. Это силуэт города. Его отражение всегда колеблется в Южной бухте.

Я иду среди разноголосой, пестрой толпы по Нахимовскому проспекту. Мне навстречу группами идут веселые матросы, женщины, дети… Мелькают золотые нашивки, крабы, шевроны, развеваются черные ленточки на белых бескозырках и синие гюйсы на форменках, блестят на солнце названия военных кораблей — «Красный Кавказ», «Червона Украина», «Парижская коммуна», «Незаможник». Сверкает, шумит, улыбается улица…

Низко склонились над пешеходами кружевные ветви белых цветущих акаций. Сладкий, густой аромат курится над городом.

Я не иду, а плыву вместе с толпой. Я ее частица, ее клетка. Я чувствую пульс ее жизни, ритм движения — живой, размеренный, радостный…

У Грина в его городах всюду узнается Севастополь. Каждый раз, находясь в этом городе, я жду встречи с героями Грина — Ассоль, Лонгреном, Гарвеем, угадываю в облике Севастополя черты и силуэты гриновских городов — Лисса, Зурбагана, Гертона…

Толпа несет меня дальше, в аромат акаций вливается другой, острый аппетитный — «Чебуречная». Из распахнутых дверей вьется голубой чад. Трудно удержаться и не войти.

Площадь на краю Южной бухты. Бронзовый Ленин распростер свою руку над ней. Вдали белоснежная колоннада Графской пристани — между колонн синеет, играет море.

К надраенному деревянному пирсу один за другим подруливают моторки, катера.

— Смирно! — раздается четкая команда.

— Вольно! — вторит другая. И новая порция матросов —

бескозырок, синих воротников, отутюженных клешей вливается в теплую суету.

Позванивают телеграфы, подваливают, отваливают катера, пофыркивают моторы, захлебываясь от волны. Играет, качается на ней густая нерастворимая синева севастопольского неба. Легкие белоснежные чайки, как клочья пены, подпрыгивают на гребне, плавится на горячих бликах солнца…

С Корабельной стороны доносятся гулкие протяжные удары металла и частые строчки пневматического молота, клепающего пустой остов стального корабля. Над «Морзаводом» протянул гигантскую руку стотонный плавучий кран. Он, как рыбак, вытянул на крючке рыбу — торпедный катер с красным от сурика брюхом…

Поет, звенит, играет Севастополь.

Галдит живописный базар. Красочный, яркий, он приютился у самого моря. На бурых, пахнущих йодом водорослях, подпрыгивает, извивается, сверкает серебром голубая скумбрия.

— Чебуреки! Чебуреки! Сочный чебуреки! — не кричит — поет лоснящийся на солнце круглолицый, усатый татарин.

— Сладкий, как мед! Вай, вай! Как мед! Пахлава! Пахлава! С грецкий орех! — декламирует, пробираясь через толпу, черный от загара грек. На его голове железный противень с восточными сладостями.

— Камбала! Камбала! Там была, а теперь туточки! — басит бородатый, седой, как бог, заросший старичок.

У его босых ног лежит, распластавшись на теплом булыжнике, камбала. Она обиженно смотрит одним глазом на суетливых людей, на огромные букеты махровой сирени, на корзины красной черешни, на аппетитные лотки крупной клубники, на громко выкрикивающих свой товар продавцов…

— Свежая, живая султанка! Султанка! — попискивает тонко-тонко огромная баба.

— Вот она какая, ставрида золотая! Живая! Только из моря! Только для вас, бабы! Эй, покупай! Не зевай! — стараясь перекричать друг друга, поют, декламируют нараспев медные от солнца и моря, просоленные рыбаки и рыбачки…

Море, вздыхая, покачивает ялики, шлюпки, шаланды. Поскрипывают в уключинах весла, стонут на мачтах, кивая подвязанным парусом реи.

— Кому сладкая черешня?..

Вечер. Толпа вынесла меня на Приморский бульвар. На низкой, окружающей фонтан скамеечке сидят в глубокой задумчивости седые внуки героев легендарной обороны Севастополя. Столетняя, поседевшая ива склонилась над

уснувшей в бассейне водой.

Тихо шуршат шаги по гравию дорожек. Прогуливаются матросы, крепко прижимая к синим воротникам плечики любимых…

Мазки заходящего солнца густо легли на Константиновский бастион. Над розовой бухтой замерла тишина, и только изредка протяжно стонет на морском фарватере буй.

И кажется, что сейчас рядом с оранжевым солнцем из-за горизонта покажутся Алые паруса, и шхуна «Секрет» плавно и бесшумно пройдет мимо пламенеющего на закате Константиновского равелина…

…Спустя два года я опять шел по знакомым улицам и бульварам. Ничто, казалось, не изменилось, только мелкие штрихи напоминали о том, что война. Даже странно — ехал на фронт, а попал в военную крепость, увидел жизнь спокойную, размеренную, без тревожной суеты, без наклеенных полосок бумаги на окнах — не в пример нашей столице.

Эмалевое небо.

Синие бухты.

Острые зигзаги чаек.

Йодистый запах моря.

И нет в толпе белоснежных лепестков бескозырок

У орудийных стволов на кораблях сняты чехлы.

Зенитки смотрят в небо.

Севастополь ждет!

Золотые каскады горячего солнца обрушились на город. Хочется жить, дышать, петь, радоваться. И вдруг война! Где же она? Где ее разрушительный след, ее огненное дыхание? Где бомбежки 22 июня?

Я иду по городу. Новенькая морская форма — непривычна. То и дело приходится отвечать на приветствия матросов и изредка козырять самому первым. Вот и исполнилась мечта детства. Я нежданно-негаданно вдруг стал военным моряком. Все время настороже, как бы не прозевать приветствия. Я ведь моряк… В такт моему шагу непривычно бьет о ногу по-морскому низко подвешенный наган. Неужели мне придется из него стрелять в человека?

Я задумался и не ответил на приветствие.

— Товарищ капитан третьего ранга, — услышал я строгий окрик, — почему вы не приветствуете старшего по зва… Микоша! Дорогой! Ты ли? Нет, не может быть! В таком виде — моряк по всем статьям! Дай я тебя обниму, генацвале!..

На Большой Морской лицом к лицу я встретился со своим

знакомым — старпомом с линкора «Парижская коммуна» Михаилом Захаровичем Чинчирадзе. Мы познакомились и подружились на маневрах Черноморского флота. И сейчас эта неожиданная встреча на улице Севастополя сыграла огромную роль в моей судьбе.

По приказу Военного Совета Черноморского Флота меня произвели в ранг военно-морского кинооператора на флоте. Правда, такого «ранга» не существовало — я был исключением, капитан 3-го ранга — военно-морской кинооператор.

Моя профессия осталась со мной и стала служить общему делу. Меня всюду узнавали, на кораблях я стал желанным членом команды.

…Только один день был для меня в Севастополе мирным, солнечным, безмятежным, но он прошел. Война пришла с воздуха. На рассвете появились «мессеры», а за ними черными стайками «козлы» — Ю-87. Они неожиданно выскакивали из-под горячих лучей солнца и, перевернувшись на спину, задрав кверху колеса, падали отвесно один за другим на корабли.

За первые несколько дней войны подорвались на минах 25-тонный плавучий кран, буксир СП-12 и эсминец «Быстрый» при заходе в Северную бухту в момент прохождения бонового заграждения.

Каждый день с рассвета я был уже на ногах и ждал прилета «гостей». На этот раз я находился на берегу возле Сеченовского института — стоял с автоматом «Айно» у маленького трапа и следил за моментами воздушного боя и не заметил, как из-под солнца нагрянули Ю-87 — «козлы». Мой взгляд приковали наши «яки» и «мессеры». И только когда просвистевшие бомбы подняли высокие фонтаны воды около проходившего крейсера «Красный Кавказ» и взрывная волна посадила меня на бетонный пирс, я очнулся и начал снимать.

Снимать! Я был профессиональным оператором — кинохроникером. Но в первой встрече с грозным, еще неведомым мне событием выглядел неумелым любителем. Вот так же, наверное, неумело и неуверенно встретили врага наши молодые необстрелянные военные — безнаказанно летал враг над Севастополем, город кипел от беспорядочной стрельбы, но это только в первые два дня. Скоро зенитки открыли свой счет, и «юнкерсы», оставляя черный след на безоблачном небе, тяжело врезались в Крымскую землю.

Первая съемка в кутерьме беспорядочной пальбы определила мое место во время бомбежки. С этого дня началась для меня война. Я начал летопись жизни города от начала встречи его с войной.

Каждую ночь летели на Севастополь бомбы. Каждую ночь взлетали на воздух дома, кварталы, гибли в завалах люди. Не прошло и ста лет, как снова обагрились кровью белые камни Севастополя. Пороховой дым застлал синие глаза бухт и горьким шлейфом опоясал город. Развесистые грибы взрывов высоко взметнули в прозрачную синеву неба свои грязные кудлатые головы…

Война пришла в Севастополь с неба…

Что выбрать из тысячи пятисот дней войны — я не оговорился — тысячи пятисот в небольшим, считая и войну на Востоке? О войне у меня вышли три книги — разные и по вошедшим в них событиям, и по степени их подробности. Но были целые куски, которые не пропускала либо редактура, либо цензура. Были и целые главы… Я решил, что именно они должны войти в эту книгу. И еще те события, которые лепили мой характер, мое осознание мира и себя…

И еще то, что так или иначе «перекликалось» с тем, что было «до» и что будет «после»…

КРЕЩЕНИЕ

Крым, июль 1941 года

Который год мне снится, повторяясь,
Почти без изменений этот сон!

Алексей Сурков

Над аэродромом голубой рекой плыл зной. Ничем не прикрытое солнце старалось испепелить плоскую крымскую землю. Готовая к вылету эскадрилья присела на корточки, ожидая команды — «по самолетам»…

Лежа на спине в высокой траве аэродрома, я следил за полетом двух желтых бабочек, вновь и вновь ловил себя на мысли о том, что невозможно поверить в то, что война…

Сладкие ароматы полевых цветов курились надо мной. Воздух синим океаном залил Крымскую землю. Опустившись ниже, надо мной кувыркались две лимонно-желтые бабочки. С пронзительным криком, как черные молнии, сновали низко над землей стрижи. «Мессеры» — подумал я. И не зря — одной бабочки не стало. Теплые круги ветра пахнули пряным ароматом шалфея. Упал и закачался на былинке мотылек. «И все же война…» Низко над землей замер, маскируясь от черного пирата, желтый мотылек.

Над аэродромом прозвучала команда: «По самолетам!..»

Второй день я ждал этой команды, теперь уже обращенной и ко мне. Самолеты отрывались от земли, возвращались на базу или не возвращались совсем. А я все сидел на аэродроме и ждал подходящего «рейса». Мне нужно было снять налет нашей авиации на румынский порт Констанцу или на нефтяные базы Плоешти…

Мое положение фронтового кинооператора, а в данном случае — военно-морского, так же, как и положение моих товарищей, было «зависимо-независимым»: политотдел и командование флотом, фронтом, армией, к которым каждый из нас был приписан, мог «бросить» нас на то или иное событие, предписать, приказать. Но такие целенаправленные задания были

редки и нерегулярны, потому что, кроме из ряда вон выходящих событий, мы должны были снимать будни войны — день за днем. И в этих «будничных» съемках задание определялось либо руководством киногруппы, если таковое было, либо самим кинооператором. Мы старались быть в курсе всех дел нашего участка фронта и сами, без чьего-либо приказа, стремились туда, где «самое-самое», — на передовую, в контратаку, в боевой полет…

Вот так и решил я для себя, что должен снять налет нашей авиации на Плоешти.

Удобные стратегические аэродромы Крыма не только охраняли от налетов города, но и поражали военные объекты врага. В августе сорок первого Гитлер сказал, что Крым был «Авианосцем» Советского Союза в его борьбе против румынской нефти.

Каждый налет наших самолетов на Плоешти и Констанцу — рискованный и смелый — был подвигом. Вот такой налет мне и хотелось снять.

Чумазый бортмех помог мне забраться в кабину бомбардировщика, прозрачный купол стрелка-радиста накрыл кабину, и я очутился в тесном зеленом аквариуме, из которого нет выхода. Резкий дурманящий запах спирта и бензина ударил в голову. Я остро ощутил свою оторванность от летчиков. Они были впереди, я не мог увидеть ободряющей улыбки, жеста, мне не с кем было разделить в случае чего своей тревоги. Время тянулось. От долгого ожидания бодрое настроение испарилось, в голову полезли невеселые предположения об исходе нашей летной операции. Сквозь плексиглас снова мелькнул желтый мотылек и исчез…

Над раскаленными самолетами дрожал и колебался прозрачными струями горячий воздух. Солнце, казалось, вот-вот воспламенит бензиновые баки, и эскадрилья потонет в пламени взрыва. И чего только не лезло в мою голову… Атмосфера в кабине стала невыносимой. Пришлось снять шлем и китель. Он был мокрым насквозь. Настроение безнадежно упало…

«Полет отменяется!» — раздалась команда, и сразу же за ней другая: «Не расходиться!»…

Я снова залег в траве. И, утомленный тревожным ожиданием, незаметно уснул. Снился мне долгожданный наяву полет на Констанцу, где наша эскадрилья бомбила скопление войск в порту. Во сне, как на экране, возникали кошмары воздушного боя. Я снимал незаряженным аппаратом. Срывались и падали вниз объективы, а за ними и сам я проваливался все ниже, и подо мной бушевало пламя, и оглушительно ревели моторы, все сильнее… Я

в ужасе проснулся. Меня действительно разбудил рев моторов. Самолеты, тяжело отрываясь от земли, уходили в небо, звено за звеном.

— Проспал! Проспал полет! Боже мой!

Я вскочил, надел раскаленный китель. Он обжег тело. Солнце склонилось над горизонтом. Самолеты набирали высоту. Оставили над аэродромом золотое облако пыли. Мой самолет уходил последним. Я подождал, пока он подстроится к остальным — подстроился, значит, не вернется за мной. Проглотив горькую обиду, я побрел к аэродромным тройкам.

— Почему не разбудили? Как можно? Проспал такую операцию!

Диспетчер, к которому я обратился, очевидно, понял, в каком я состоянии, и, не дав мне высказаться, сказал спокойно, что эскадрилья получила другое срочное задание и изменила время и маршрут.

— Бомбить будут в сумерки, почти ночью! Насколько я понимаю в аэрофотосъемке — снимать будет поздно. Так ведь, товарищ оператор? — говорил он, как бы оправдываясь.

— Так-то так, но все же предупредить-то могли? — Мне стало легче.

У столовой меня встретил начальник штаба и предложил лететь на Плоешти.

— Вылет перед рассветом. Цель на восходе. Шансов на возвращение больше, чем в этом… — И он махнул рукой на запад.

— Меня беспокоит не это — снять бы!

— Ну конечно, — ответил он, — тем более что пленка сгорит вместе с вами. Устроит вас такая операция? Стоит ли лишать машину стрелка-радиста, ведь вам придется его заменить, и как раз тогда, когда хотелось бы снимать. Ну, как? Разве не так я представил себе вашу работу? — начальник штаба улыбнулся и сразу расположил меня к себе. Ему было за сорок лет, и я почувствовал, как он хочет уберечь меня от всяких неприятностей, неожиданностей и бесцельного риска.

— Не беспокойтесь, товарищ майор, я заменю стрелка-радиста, если нужно будет. Не первый раз лечу, — соврал я ему, и мне стало стыдно.

Наверное, майор почувствовал это и на прощание дал мне совет:

— Не торопитесь, не лезьте в пекло безрассудно. Ведь война только начинается, вам столько еще предстоит рассказать впереди…

Да, он бы прав, конечно. Хороший малый этот майор и такой

заботливый…

В столовой было шумно и оживленно. Обед затянулся. За окном загустела синева.

Низко над крышей, чуть не задевая ее, с ревом пронесся самолет… другой… третий… Вернулась с боевого задания эскадрилья. Мы побежали, стали считать. Из двенадцати только семь. Прошло несколько томительных минут, и еще один приземлился прямо на живот. Стрелка-радиста вынимали раненого из кабины. Четыре машины не вернулись. Наши истребители были отрезаны на подходе к цели. За этим словом «не вернулись» скрывались судьбы людей. Гибель самолета. Гибель экипажа…

Днем мы сидели на траве, шутили, смеялись. Как сейчас вижу перед собой их лица. Молодые, веселые, задорные. А теперь — «не вернулись».

На багрово-красной подпалине горизонта застыла, как траурный флаг, черная туча.

Ночью меня вызвали к начштаба. Он показался мне совсем другим. Строго и официально, стоя за столом над картой, сообщил:

— Самолет, на котором вы должны были лететь, не вернулся на свою базу. Мы решили отставить ваш полет на Плоешти.

Я не сразу понял, что остался случайно жив — проспал. Начштаба запретил летчикам будить меня и брать в полет. И вот сейчас еще раз он пытался уберечь меня от ненужного, как он думал, риска. Отказаться было так просто и совсем не постыдно, никто бы меня не обвинил в трусости, а лететь страшно, и я чуть не поддался минутной слабости, но вовремя спохватился.

— Товарищ майор! Не могу поверить, что и этот полет будет таким трагичным! Уверяю вас! Если я полечу, все будет в порядке! Я очень везучий, у меня легкая рука!

— Не верю в приметы! И вообще никаких трагедий! Бросьте меня уговаривать, черт возьми!

Мы проговорили до самого старта. И вдруг неожиданно терпение майора лопнуло, и он ожесточенно крикнул:

— Летите! Черт бы вас побрал наконец! — Он встал из-за стола, подошел ко мне, обнял за плечи: — На этот раз ваша взяла! Упрямый вы! Летите, счастливого вам пути и благополучного возвращения!

Он крепко пожал мне руку, и я еще раз подумал, какой он хороший и добрый человек…

Мои волнения были настолько сильны, что я стал приходить в себя, только когда увидел далеко впереди сверкающее холодным блеском море. Оно медленно наплывало, заполняя все

пространство под нами. Надкусанная луна смотрела на меня, кривляясь сквозь исцарапанный купол кабины. Холодные блики густым слоем лежали на вороненом стволе пулемета.

Равномерный рокот моторов, их голубой огонь, лунная дорожка на выгнутом море успокоили меня. Какая-то незримая доля торжественного спокойствия развернувшегося передо мной мира разлилась и в моем уставшем теле.

Мы летели на большой высоте. Было холодно, мне все время хотелось вздохнуть полной грудью, но все попытки были тщетными. Несмотря на холод, я не мерз, очевидно, нервное состояние согревало меня. Ночное море под луной выглядело сверху застывшей глянцевой лавой. За прозрачным куполом величественно проплывала неповторимой красоты панорама мира и спокойствия. Только темный ствол пулемета зловеще напоминал о войне…

Успокоенный мягким светом луны, я не мог оторвать глаз от стремительных бликов, скользящих вместе с самолетом по застывшему морю. «Наверное, когда человек в опасности, он особенно остро чувствует природу, может быть, инстинктивно прощаясь с ней навсегда!» — подумал я.

На востоке слегка полиняла ночь. Вместе с зарей пришла тревога. Она осела слабостью в ногах и пустотой под ложечкой. Скоро цель полета. Как воры, полезли в голову непрошеные предположения. Всегда они пытаются предопределить события.

Мы летим в тыл к врагу, нападение «мессеров» неотвратимо. А «стена огня»? — о ней мне рассказывали летчики: «Непроходимая стена заградительного зенитного огня поднимается перед нами. Ребята пробовали прорваться, но пришлось свернуть и сбросить груз в море».

Почему все это вспомнил так некстати? Сейчас надо все-все забыть и сосредоточиться только на полете… А в голове: «Вы положительно лезете на рожон. Черт с вами, летите!» — я вспомнил, что мне сказал майор на прощание… Почему я не сделал для себя никакого вывода? Мне ничего не стоило согласиться с начштаба…

Небо начало сереть. Я увидел наши машины — слева, справа, сзади, — их девять. Пробую представить цель. Город нефти Плоешти. Как он выглядит? Мне не терпится снимать… Я пробую «Айно». Работает…

Бомбардировщики идут близко, то проваливаясь в воздушные ямы, то снова выравнивая линию полета. Растаяла и исчезла ночная тьма. Под нами серое море. Впереди неясная графитная дымка — будто карандашную пыль размазали пальцем. Вражеская земля. «А какой я себе ее представлял? Разве такой? Не

знаю…». Сильно забилось сердце. Наверное, пора действовать, а я вот сижу… Я внимательно осмотрелся, сосчитал: — семь, восемь, девять — и начал снимать свою, рядом летящую, эскадрилью. Только бы хватило экспозиции. На общие планы полета, подумал я, хватит. А дальше будет светлей.

Тянувшееся, как сонное, время с появлением берега понеслось вскачь. Берег, таивший в себе смертельную опасность, надвигался. Вылетела из головы созерцательная чепуха страхов и предположений. Во мне, как в киноавтомате «Айно», начала действовать, разматываясь, туго заведенная пружина нервов.

Повесив рядом на ручном ремне камеру, я взялся обеими руками за пулемет. Он был холодным, ледяным и сразу погасил мою горячность. Та же камера, так же надо смотреть в визир, выискивая кадр — цель. Вправо, влево, вверх… Только результат другой.

Опасности еще не видно, а нервы на пределе. Я всматриваюсь до боли в глазах в поголубевшую даль, но ничего подозрительного не вижу.

Вдруг, в стороне немного ниже нас блеснули короткие вспышки огня. Черные всплески дыма стремительно летели назад. Я оглянулся, еще не совсем понимая, что случилось. Вокруг насколько позволяло зрение, все голубое пространство было заполнено бегущими назад всплесками дыма и пламени.

«Вот она — стена огня», — мелькнуло у меня в голове. Я знал: бояться истребителей во время зенитного огня не следует, и, оторвавшись от пулемета, схватил дрожащей рукой камеру. Дрожали не только руки — я весь дрожал так, что думал — не смогу снимать. Но то ли холодный металл камеры, плотно прижатой к горячему лбу, охладил меня, то ли восторжествовал профессиональный инстинкт оператора-хроникера, мне было трудно разобраться, — я вдруг обрел рабочее состояние, привычную остроту зрения. Все, кроме желания во что бы то ни стало снять, отлетело как всплески разрывов назад.

«Только бы не отказал аппарат! Только бы не отказал!» — глядя в визир, мысленно повторял я.

Сильный рев моторов заглушал работу механизма камеры, и, нажимая спусковой рычажок, я не слышал ее обычного рокота.

«Снял или нет?» В ушах звон, гул, стук… «Откуда стук?» Я отнял камеру от глаз, мне показалось, что она не работает. Ужас! Все пропало! Лихорадочно сунув «Аймо» в перезарядный мешок, я убедился, к своей радости, что отснял всю кассету — 30 метров.

— Снял! Снял! «Аймо» работает! Скорее перезаряжать…

Заряжая новую кассету, я неотрывно следил за летящими близко и в отдалении бомбардировщиками. Вдруг наш самолет

резко подпрыгнул и задрал нос кверху, а рядом идущий слева круто, со снижением отвалил в сторону. За ним потянулся черный шлейф дыма, у правого мотора билось пламя.

«Горит! Теперь все. Пропал! Боже мой, почему не выбрасываются люди? Почему?» Я кричал, ругался. Мной овладела такая злоба, хотелось послать длинную очередь, но в кого? Понимая свое бессилие, я умолк. От этого ожидания стало еще невыносимее… Наконец, далеко внизу вспыхнули белые венчики парашютов.

«Слава богу, ребята спаслись!». Но до спасения, конечно, было далеко. Внизу чужая земля, и по ней рыщет враг. Мои мысли прервал сильный звенящий удар с резким толчком. Я упал на дюралевый переплет, раздался свист, и я увидел несколько светящихся рванных пробоин в обшивке самолета. Казалось, ветер неминуемо разорвет ее. Она вибрировала и пела как живая.

Вынув камеру из мешка, я стал снимать. Без съемки становилось невыносимо страшно и неуютно… Прильнув к аппарату, я увидел в визире сквозь пелену дымки, далеко внизу ровные квадратики города. Оттуда неслись в нашу сторону огненные струи трассирующих снарядов. Все они, как мне казалось, были направлены в наш самолет. Сердце стучало, заглушая моторы и свист ветра в пробоинах, но непонятно, почему не в груди, а в животе?

До начала зенитного огня в самолете было очень холодно, а теперь я стал совершенно мокрым. Лицо горело, и пот заливал глаза. В кабине теплее не стало. Резкие струи холодного воздуха, то шипя, то свистя, врывались в пробоины. Не успел я перезарядить камеру, как получил сигнал от пилота. Наступил самый важный момент нашей операции — момент, из-за которого я полетел в этот рейс. Его нельзя прозевать. Он длится всего несколько секунд. Сигнал означал — через минуту бомбы оторвутся и пойдут на цель.

Прильнув к визиру и отсчитав пятьдесят бесконечно длинных отсчетов, я нажал на пусковой рычажок камеры. Нажал так сильно, что даже отогнул его. Я не слышал, как работала камера, я вообще ничего не слышал. Я только чувствовал. Старался чувствовать ее работу. Она должна работать.

Оторвав камеру от мокрых глаз, я успел завести пружину. Камера работала — пружина завелась. Глядя в визир, я ясно увидел, как на далекой земле сверкнули всполохи пламени и поползли вверх черные грибы разрывов.

Я обрадовался. Начал кричать. Что? — не помню. Самолет стал легче. Я это почувствовал, в чем это выразилось? Не знаю! Но это так. И вот подтверждение — он вертко развернулся и,

меняя высоту, лег на обратный курс. Навстречу поднималось из моря солнце.

Оглянувшись вокруг, я стал искать наши бомбардировщики. Впереди, резко теряя высоту, дымил еще один. Мы вышли из зоны зенитного огня. Разрывы таяли позади. Новые не возникали. Ну вот, теперь, как учил меня комэск, нагрянут «мессеры». Я отложил камеру, схватился за пулемет и начал внимательно оглядывать небо вокруг. — Как правило, жди нападения от солнца, они любят им прикрываться.

Далеко справа, чуть выше солнца показались быстро плывущие в сторону от него черные черточки. Мгновение — и они превратились в «мессершмитты». Еще мгновение — и они… Я не успел развернуть пулемет за ними. Нападение началось. Черные силуэты крыльев, огонь по обе стороны винта. Всего на миг он привлек мое внимание. Грозный, мигающий, острый огонь вражеских пулеметов… Мгновение — и пустота. Никого! «Пронесло, не задело» — подумал я и тут же увидел другой, слева. Он пикировал, увеличиваясь в размерах. Я поймал его, словно в визире кинокамеры. Замигал огонь. Моя очередь была очень короткой. Так мне показалось. В ушах от нее больно бил пульс. Все звенело, хотелось глубоко зевнуть, продуть заложенные уши.

В коротком перерыве между новым заходом я почувствовал в кабине горелый запах. «Не то поджаренной краской потянуло, не то машинным маслом», — подумал я. Но разобраться было некогда. Снова ринулись на нас «мессеры».

Еще несколько раз и с разных сторон выныривали из синевы черные птицы, бросались с остервенением на нашу поредевшую эскадрилью. Я старался вовсю, делал все, чему учили меня на земле стрелки-радисты, но результатов своей стрельбы я не увидел…

Патроны кончились. Неужели я все расстрелял? Так мало и так много прошло времени… Я схватил камеру. Но она не заряжена. Пока возился с перезарядкой, «мессеры» исчезли… Неужели это все? До рези в глазах я всматривался в синеву — ни черточки. Только в ушах звенела, пульсируя, высокая нота. Мы висели над сверкающим морем и, кажется, без движения. Почему так медленно? Нас легко догнать и обнаружить в море. Далеко впереди летят наши. Обогнали нас и уходят все дальше и дальше.

Только теперь я заметил, что кабина заполнилась едким чадом. Из пробоины в левом моторе выбивалась, дрожа, сизая струя густой массы, а за ней еле заметная тонкая лента дыма. Она то исчезала, то густела и оставляла за стабилизатором темный жирный след. Мне стало не по себе.

Левый мотор стал давать перебои. Самолет терял скорость и высоту. Оглядевшись вокруг, я понял, что в небе мы остались одни. Я тут же вспомнил о парашюте. Где же он? На мне его не было. Он лежал в стороне с перепутанными лямками.

Когда же я освободился от его неудобных пут? Совсем не помню. Очевидно, он сковывал мои движения и мешал снимать… Я надел его с трудом, второпях и, оглядываясь вокруг, увидел далеко впереди окутанный сизым маревом берег.

Только бы дотянуть. Неужели не дотянем? Как медленно течет время и как нехотя приближается берег! Мотор явно доживает свои последние минуты.

Жаль, если это все зря — и полет и съемка… Скорей! Скорей! Берег близко, но мотор после сильных толчков заглох. Черная лента дыма повисла позади над морем.

Берег совсем близко, но высоты уже нет. Мы летим бреющим полетом над морем. — Дотянуть бы! Только дотянуть… Мотор неожиданно перестал дышать. Оборвалась черная лента, оставшись позади.

Мы летим на одном моторе. Ему тяжело. Он гудит, надрываясь, вот-вот захлебнется и замолчит… Не надо об этом думать, но не думать невозможно…

Как бы мне в эту минуту хотелось взглянуть в лицо пилота, штурмана — я бы по глазам определил, что дотянем… Меня снова бросило в жар, парашютные лямки перекосили китель, он намок, набух потом, сбросить бы его и вздохнуть свободно, без всей этой сбруи.

Самолет резко теряет высоту. Хорошо, что у нас был запас высоты. Море совсем близко. Парашют совсем уже ни к чему. Вода рядом, мелькают смазанные блики. Впереди песчаная коса. Я в мыслях помогаю летчику: «Сажай, сажай на воду! Вот сейчас!.. Сию минуту, будет поздно». Впереди коса. Мы, как на глиссере, выскочим с косы на песок… И не затонем и сохраним самолет. Мои мысли срабатывают. Я предугадываю действие пилота.

Впившись в турель обеими руками и уперев ноги, я приготовился к удару о воду. Он оказался не очень сильным. Пилот очень осторожно, мастерски, не выпуская шасси, посадил самолет на живот.

Первое мгновение хлестнула вода. Скрыла все. Все потонуло в матовом густом тумане. Жесткая струя сквозь пробоины полоснула меня по лицу, заставляя зажмуриться. Когда я открыл глаза, крупные капли воды стекали с плексигласа. В этот момент произошел сильный толчок. Я больно ударился грудью и подбородком о турель. Удар произошел от встречи корпуса фюзеляжа с песчаной косой, на которую мы выскочили с моря.

Машина, качнувшись, остановилась, завалившись на сторону, обмакнув левое крыло в море.

Мы погрузились в густую, голубую тишину. Море было, как зеркало, спокойно. Только длинная глянцевая волна накатила и пропитала золотой песок прозрачной влагой… А в ушах продолжали звенеть ушедшие звуки…

Меня вернул в настоящее обеспокоенный голос летчика:

— Ты жив? Что с тобой? Ты ранен, почему молчишь?..

Мне помогли выбраться. Я стоял на горячем песке перед двумя незнакомыми мне парнями и не мог произнести ни одного слова. На меня нахлынула радость, и я совсем растерялся, не зная, что им сказать. Мне хотелось броситься им на шею, благодарить их за жизнь, в которую несколько минут назад перестал верить… Но я стоял с пересохшим горлом и молчал, как рыба.

— Перепугался здорово, а? Страху было, во! На всех с перебором! Палил ты как настоящий стрелок, а кино не снимал?

— Оставь, Коля, видишь — малый не в себе! А ты пристал — снимал или не снимал?.. Скажи спасибо — нашел духу палить без перебою!…

Парень в форме старшего лейтенанта, участливо улыбаясь, взял меня под руку.

— Не знаю, как тебя зовут, меня — Вася, пойдем, посмотрим, как фрицы отделали нашу птичку.

Перед нами на узкой песчаной косе, распластав перекошенные крылья с почерневшим мотором, от которого полыхал жар, лежала на пузе наша дорогая «птичка».

— Как это она не сгорела и дотянула до земли? — спросил я Васю.

— Это не она, а он — Колька! Если бы не он — крышка! Нырнули бы — будь спок! Верь мне! — И Вася приложил руку к сердцу.

— А скажи, если не секрет, успел снять, как мы шарахнули, а?

Вася задал вопрос, почему-то покраснел, смутился и, виновато улыбаясь, ждал ответа. Его круглое, поджаренное солнцем, курносое лицо с добрыми голубыми глазами и мальчишеской улыбкой покрылось капельками пота.

— Не все, правда, но до нападения «мессеров» кое-что успел снять!

— Вот это да! И стену огня успел снять? — обрадовался Вася.

— И даже разрывы бомб внизу прихватил, жаль, очень высоко мы от них были! — пошутил я.

— Недосчитались бы тогда там, в штабе, не только нас, но и

тебя. Коля! Николай! Он все снял! Нет, ты только представь себе! Ну и ну!

Вася побежал к Николаю и начал его тормошить.

— Он все-все снял, а мы-то думали…

— Подожди! Ну вот, опять спутал, помогли бы лучше посчитать…

Коля сосредоточенно считал пробоины. Он был высок, худощав, с карими глазами, каштановые кудри слиплись от пота, обрамляя суровое с орлиным носом лицо.

— Ну вот… шестьдесят два, шестьдесят три… кажется, последняя, шестьдесят четыре… Неплохо нас обработали фрицы! И как это они ухитрились ни одну тягу не перебить? Да! Хана бы нам была!.. Ну и когда же мы увидим твою съемку? — вдруг спросил он меня.

— Вот если завтра эта пленка будет в Москве, то через неделю, глядишь, и увидим на экране, только мне еще надо вас обоих подснять, когда мы вернемся на аэродром. К сожалению, пленку всю израсходовал, а то бы сейчас поснимал и вас, и вот эти дырки…

Я залез в кабину, вытащил наружу кофр со снятой пленкой и камерой, надел китель, подошел к моим новым друзьям. Ребята смутились…

— Товарищ капитан третьего ранга! — козырнул мне Коля. — Извините! Мы-то с вами все на «ты» да на «ты»! Не успел с вами там, на аэродроме, познакомиться, да и темно было, не разглядели…

— Ну и хорошо, что не разглядели. По крайней мере, ближе стали…

Нам всем стало очень легко и радостно — так бывает, наверное, когда возвращаешься в жизнь. Радует все — и тишина, и теплое ласковое море, и сама возможность дышать, двигаться, жить…

Так небо — уже в который раз! — уберегло меня от, казалось, неминуемой гибели. Судьба хранила меня — я поверил в это окончательно.

КРАСНЫЙ СОН

Одесса, сентябрь 1941 года

В красном сне,
В красном сне,
В красном сне бегут солдаты,
Те, с которыми когда-то
Был убит я на войне.

Григорий Поженян

В конце августа командование направило меня в осажденную Одессу в распоряжение капитана второго ранга Зарубы Ивана Антоновича, командира крейсера «Коминтерн».

…Ощетинившись дулами зенитных батарей, «Коминтерн» стоял, готовый отразить воздушный налет. Я ходил по палубе, высматривая удобную для съемки позицию.

Вдруг зенитки ожили, и все сразу направились в сторону восходящего солнца. Я не успел сориентироваться — все произошло так неожиданно и быстро. Оглушительно застучали, залаяли зенитки. Нестерпимо заболело в ушах. И тут же раздался сильный свист. Я растерялся и не знал, куда мне направить камеру, страх сковал мои движения, и я замер, ища глазами врага. «Вот! Вот они! Как высоко!» — бомбы, сорвавшись с первого самолета, высоко вздыбили пенные фонтаны недалеко от «Коминтерна». Стальной корпус его, как огромный резонатор, усиливал звук и вгонял его в мозг и сердце. Наконец, преодолев самого себя, я стал снимать. Я не слышал работу камеры. Грохот был невообразимый, непривычный, убивающий. Я ожесточенно нажимал на спуск и еле успевал заводить пружину. Мой киноавтомат работал безукоризненно, но самочувствие у меня, признаться, было скверное. Дрожали колени, зубы выбивали дробь, а под диафрагмой было пусто и холодно. Я не в состоянии объяснить, что же меня удерживало на палубе, какая внутренняя сила заставляла снимать. Я никак не был готов к тому, что вдруг так сразу, без подготовки, обрушилось на меня, на мою психику.

Мой полет на Плоешти был страшен — обречен. С самолета не спрыгнешь, не спрячешься, и я к этому был готов, или — или.

А тут?..

Война ничем не напоминала рассказы о ней, все то, что печаталось в газетах, журналах, книгах… Казалось, что мир раскололся, обрушился и все летит, неизвестно куда и зачем…

Я не видел, когда оторвались бомбы от «Юнкерса». Мое внимание привлекла команда зенитного расчета на корме. Зенитки выплевывали огонь. Он мелькал, рябил и слепил глаза, матросы в ожесточении делали свое дело. Я, прислонившись к стальной мачте спиной, чувствуя ее горячую опору, снимал этот смертельный поединок зенитного расчета с «юнкерсами».

«Когда же конец? Боже мой! Когда же они улетят?» — эти мысли преследовали меня, и время, казалось, замерло.

Вдруг три орудия разом замолкли, а зенитчики упали на палубы и, корчась, поползли в разные стороны. Сильный взрыв потряс корабль и оглушил меня. Снимать я уже не мог. Я осел на горячую палубу, камера опустилась на колени…

Корма окуталась черным дымом, и из его густых клубов выползали, обливаясь кровью, матросы. Один из них поднялся и побежал в мою сторону. Почему я не снимаю? Почему? Что со мной?

Я никогда не забуду расширенных глаз — предсмертных — этого парня.

— Полундра! Братцы! Братишечки!.. Браа… — И, не добежав несколько метров до меня, упал мертвым.

Самым страшным было собственное бессилие, полнейшая невозможность чем-либо помочь, что-либо изменить…

Вся мокрая палуба было залита кровью, завалена разодранными кусками тел. И только новый свист бомб и сильный взрыв вывели меня из оцепенения. Стальной ствол мачты, к которому я случайно прислонился, ища себе опоры, спас мне жизнь, заслонив меня от потока осколков. Я начал снимать.

Взрывы, лязг металла, визг падающих бомб, стоны и проклятия раненых и умирающих постепенно притупили мое первое обостренное восприятие. Война предстала в своем истинном, зверином обличье.

Это было мое второе «крещение», теперь в Одессе на корабле. Я остался цел и невредим и полностью приобщился к войне…

Прошло много дней, прежде чем я понял, что меня спасает от страха на передовой, под бомбами, в опасном полете, — мой киноаппарат. Только он сдерживал мой ужас перед происходящим. Страх оставляет меня в ту минуту, когда я нажимаю на спусковой рычажок и слышу работу механизма. Я как бы заслоняюсь камерой от страха, от смерти. Наверное, так же чувствует себя солдат, прижимая к себе автомат.

Отправляясь в горящий город, я так и двигался по его изуродованным улицам — от съемки к съемке. И так день за днем водила меня камера по пылающей Одессе. И я становился раз от раза все смелее, научился видеть и опознавать опасность раньше, чем она на меня навалится.

ДОРОГА СМЕРТИ

Крым, октябрь 1941 года

Можно не слушать народных сказаний,
Не верить газетным столбцам,
Но я это видел! Своими глазами!
Понимаете? Видел. Сам!

Илья Сельвинский

На эсминце «Незаможник» по приказу Зарубы я вернулся в Севастополь. Наши части ночью, без потерь, оставили город и порт Одессу.

Невозможно было свыкнуться с мыслью, что по Дерибасовской и Ланжерону бродят фашисты. Ярость — тяжелая и страшная — накатывалась каждый раз, когда память возвращала сознание к тому, что стряслось.

В Военном Совете ЧФ получил нехорошую сводку: немцы прорвали Перекоп. На узком участке Асы — Армянск Первый батальон морской пехоты сдерживает напор немцев. Мы решили пробраться туда. С трудом удалось получить во Флотском экипаже старую полуторку с шофером-матросом Петро Чумаком.

Общими усилиями закатили в кузов полуторки железную на 200 литров бензина бочку и отправились на фронт под Перекоп. Нас, кинооператоров, было трое, и еще прихватили Колю Аснина — фоторепортера ТАСС. Я сел в кабину рядом с Чумаком, остальные уютно расположились на соломе в кузове — рядом с бочкой.

Был октябрь. По прозрачному синему небу летели серебряные паутинки. Они легкой прозрачной сеткой обволокли нашу полуторку и тянулись за ней чуть видимым серебристым шлейфом.

Когда мы, не доезжая до Симферополя, остановились на минутку размять ноги, на нас обрушилась звенящая тишина глубокого синего неба и пахнуло пряным теплом крымской осени… Война… какая нелепость — здесь тихая теплая осень, а там, впереди, огонь, грохот, кровь…

Я еще не полностью отдавал себе отчет в происходящем. Я упорно продолжал верить, что наши войска, наконец, встряхнутся, расправят плечи и перейдут в долгожданное наступление, отбросят фашистов за Перекоп, а там и Одессу отобьют… Как мы тогда были наивны и далеки от действительного положения дел!

До Симферополя мы докатили быстро, без хлопот.

По городу проехали без приключений, а при выезде нас ждали неожиданности: «Стоп! Проезд закрыт!».

— Только с разрешения самого коменданта города, — сказал начальник патруля у закрытого шлагбаума при выезде из города.

— У нас предписание Военного Совета ЧФ. — И я показал документ.

— Все это прекрасно, но строгий приказ командующего 21-й отдельной армией запрещает всякую езду по Крыму в дневное время. Небо нашпиговано вражескими самолетами, немцы охотятся за каждой машиной, за каждым человеком. Прошу вернуться в город.

Мы, конечно, не поверили и после ночевки в гостинице, чуть свет, объехав КП по известной только Чумаку дороге, отправились в путь. Прошел час, другой, стало совсем светло. Мы ехали, посмеиваясь над предупреждениями, дорога была прекрасной, справа и слева, насколько хватало глаз, расстилалась желтая, выжженная солнцем равнина. На небе ни облачка. Солнце жарит по-летнему.

— Где же война? Фрицы-охотники? — наклонившись над кабиной, весело смеясь, спросил оператор Дима Рымарев.

Чем дальше катились мы по гладкому асфальту вперед, тем меньше встречали по дороге людей. Если первое время кое-кто и попадался, то потом под синим куполом мы остались в полном одиночестве.

Сначала мы пели песни, потом просто горланили, показывая друг другу, что нам море по колено. Вдруг вдали на дороге показался дымок. Все примолкли, веселость как рукой сняло. Когда мы подъехали, в кювете догорала перевернутая «эмка», запах жареного мяса и краски кружил голову. Рядом лежали в неестественных позах двое убитых, и, судя по всему, еще двое догорали внутри простреленной машины. Помочь мы ничем уже не могли.

«Снимать? Своих убитых? Разве за этим мы сюда ехали?» — подумал я, и мы, подавленные виденным, покатили дальше.

Нами овладела тревога. Тревога, смешанная с чувством ужаса от виденного, со страшным ощущением пустоты от совершенной нелепости, жестокости и подлости происходящего. Той пустоты,

которая захлестывает тебя всего, когда ты чувствуешь, что не в силах не только изменить страшной действительности, но и не в твоих возможностях даже понять жестокого и нелепого ее смысла, ибо смысла этого нет. Ибо это противоречит самому человеческому разуму, самому существу человека. После этого ощущения приходит или опустошенность, или ярость и сила. В зависимости от характера. Наверное, именно эта точка в развитии многих человеческих характеров и судеб была скачком в подвиг или в предательство. В зависимости от характера.

Дорога стремительно неслась нам навстречу. Чумак, казалось, бесстрастно крутил баранку и пристально смотрел вдаль. Только лицо было жестким и суровым. Теперь обгорелые машины, повозки, трупы людей попадались все чаще. Мы не снимали. Впереди война, вот там и будем снимать…

Вдали от дороги валялись убитые коровы, овцы, лошади… Неужели их так необходимо было расстреливать?

— Смотрите! Целое стадо коров и пастух-мальчишка! — кипел Федя Короткевич.

— Сколько же пришлось этому пилоту, подлецу, сделать заходов, чтобы уничтожить такое стадо. И мальчонку не пожалел!

— А мы не верили, что охотятся за каждым человеком, даже коров расстреляли…

Нами овладела ярость, и страх уступил ей место.

Среди этого мертвого поля одна лошадь стояла в упряжке с отрубленными оглоблями, на трех ногах. Одна нога болталась, из нее торчала белая кость. Лошадь как ни в чем ни бывало щипала траву. Это было страшно и удивительно. Удивительно, почему мы не снимали? Очевидно, нам мешала ярость. Мы неслись к войне, снимать врага, а это?..

В этом теплом, осеннем мире под веселым, спокойным солнцем догорали, обугливаясь, люди, и ни в чем неповинное и никому уже не нужное животное, подчиняясь могучему инстинкту жизни, продолжало жить наперекор всему, и неведомо было, что ждет это несчастное животное, что ждет эту несчастную землю. Но казалось — страшное. И вместе с тем было несомненно и неопровержимо, что простая, светлая логика жизни сильнее всех ужасов и что жизнь — удивительная, непонятная и непреодолимая штука…

Сейчас, спустя почти полвека, те дни, те часы, мгновения возникают яркими вспышками ощущений, образов, деталей, которые тогда, может быть, даже не останавливали на себе внимания, откладываясь в мозгу на долгие годы — для переосмысления в будущем. Хорошее свойство есть у человеческой памяти — забывать, чтобы успокоиться и жить, и

вспоминать, чтобы не повторять прошлого. Сейчас я думаю: почему я не снимал всего виденного на этой страшной дороге смерти? Наверное, все-таки не потому, что там, впереди, меня ждала настоящая война. Это было непонятное для меня потрясение. Я потерял цель. В первые часы все казалось ничтожным по сравнению с тем, что открылось перед нами. Я даже не поднял «Аймо». Казалось, мир гибнет. Он не может, никак не может существовать после всех тех кошмаров и глупостей, которые принял на себя. Так наступило то самое ощущение пустоты. Это было в первые часы. Потом появилась ярость, появилась сила и ненависть. Но это потом. А сейчас было недоверие к реальности происходящего. Впрочем, и потом очень-очень долго я не снимал всего этого. Не снимал дикой и бессмысленной гибели человека, удивительной силы всего живого — даже искалеченного, даже полумертвого, не снимал страданий людей, которыми был куплен будущий мир. Почему? Мы все были твердо уверены — надо снимать героизм. А героизм, по общепринятым нормам, не имел ничего общего со страданием: надо снимать врага, а враг — это солдат в кованых сапогах, офицер в бутылочной форме. Только спустя много-много времени я понял, что героизм — это преодоление страха, страдания, боли, бессилия, преодоление обстоятельств, преодоление самого себя, и что с врагом мы столкнулись задолго до того, как встретились с ним лицом к лицу. Мы стремились увидеть его человеческое лицо, но это было глупо — у него не было человеческого обличья, а сущность его была перед нами — во всем, содеянном им на земле.

Все это пришло значительно позже, а пока — пока была дорога, и не было ей конца и края.

Проехав еще несколько километров, мы остановились — надо было решать, что делать. После короткого разговора упрямо поехали дальше — каждый из нас не хотел сознаться, что с удовольствием поехал бы обратно. Не успели продвинуться на километр, как неожиданно вынырнул «мессер».

— Ложись! — гаркнул Чумак, и мы все очутились в кювете.

Пули хлестнули по дороге, по самому ее краю, между нами и машиной, выбили желтую пыль и осыпали нас осколками асфальта.

— В машину! Скорей! Сейчас он вернется, надо маневрировать!

Не медля ни секунды, мы кинулись назад к машине в надежде перед новым заходом «мессера» переменить стоянку. Но когда машина лихорадочно рванулась вперед и проехала довольно далеко, самолет не вернулся, очевидно, полетел на

заправку.

С какой надеждой мы смотрели вперед, мечтая найти хоть одинокое деревце или укрытие, но только голая ровная степь и серая змея асфальта плыли перед нашими глазами.

Недолго пришлось ждать — прилетел другой «мессер», и тут появился наш истребитель И-16 — «ишачок». Вот сейчас он покажет фрицу, где раки зимуют! Но не успели мы затормозить и спрыгнуть на землю, как наш «ишачок», дымясь, садился рядом с нами, подпрыгивая на неровной поверхности. Неуклюже подскочив на рытвине, он скапотировал и перевернулся колесами вверх. Летчик, похожий на человечка из мультфильма, выскочил из-под фюзеляжа, побежал в сторону. По ногам его бил подвешенный сзади парашют. «Мессер», низко пикируя, прострочил «ишачка» из пулемета, и он вспыхнул, загорелся ярким пламенем.

Все это произошло так быстро и неожиданно, что мы не успели даже вымолвить слова. «Мессер» вернулся еще раз и, после повторной длинной очереди по горящему самолету, взмыл свечкой вверх и исчез под солнцем…

Мы захватили летчика и отправились дальше. Он оказался совсем мальчиком с розовым смешливым лицом, с огромной шишкой на лбу и широким кровавым шрамом на щеке. Он грубо, по-мужски, матерился. От него мы впервые узнали, что наш «ишачок» по сравнению с «мессером» все равно что воробей против коршуна… А мы-то думали, что лучше нашей авиации нет в мире…

Все приуныли, настроение совсем упало. Злость и бессильная ярость бесили.

Полуторка летела вперед. Чумак оказался блестящим водителем. Мы были на страже и зорко следили за небом. А оно по-прежнему разливало над нами синеву.

За дорогу Чумак научился виртуозно маневрировать. Услышав сигнал из кузова и увидев самолет, Чумак останавливал полуторку и дожидался, пока «мессер» не выйдет на него в пике, и тогда мгновенно давал газ, вырывая машину вперед, и фриц вгонял длинную очередь в пустое место на дороге. Упрямый немец шел на второй заход, рассчитывая на маневр Чумака, а тот, подождав пике, резко сдавал назад, и фриц еще раз разряжал пулемет по асфальту. И так — до нового захода, до нового «мессера»…

Насмотревшись до боли в глазах на небо, навалявшись до боли в боках по кюветам, устав и измучившись предельно, мы добрались наконец до маленького разбитого бомбами хуторка. Все дома были покорежены, не успевшие убежать жители сидели

в глубоких, вырытых в земле щелях. Наш приезд вызвал у них бурю негодования… Наша полуторка привлекла двух «мессеров». Пришлось ехать дальше. Через пару километров, в стороне от дороги, мы обнаружили несколько деревьев с кустарником, но свободного места там не оказалось — большая группа крестьян отсиживалась здесь, спасая детей и мелкий скот от налета фашистов. При нашем появлении женщины, а их здесь было большинство, подняли такой вой, что мы даже не решились остановиться.

День подходил к концу. Солнышко катилось с нами рядом по горизонту, освещая наши похудевшие и измученные лица. Наконец в стороне от дороги мы увидели стог сена и старые полуразрушенные саманные стены. Полуторка очень удобно замаскировалась между трех стен. Здесь мы решили ночевать. Натаскали душистого сена, устроились. Все так намучились и устали, что даже не перекусив завалились спать.

Ночь спустилась низко-низко, и глянула на нас сверкающая бесконечность. Млечный Путь перепоясал черное небо пополам, а на севере горизонт запылал зарницами, загудел громом тяжелой артиллерии. Вот она — война, совсем рядом — колеблет землю…

Темная, многоглазая ночь не баюкала нас тишиной, дальний рокот канонады, как морской прибой, накатывал на наш лагерь. А мы, усталые, никак не могли уснуть. Скребла на сердце тревога — а что же нас ждет завтра?

Среди ночи нас одолели полевые мыши — их было много, и все они лезли под плащ-палатки.

Я проснулся от тонкого писка и возни у меня в капюшоне. Туда набралось несколько мышей. Так же как и мы, они искали теплого, надежного ночлега. Несколько раз я вытряхивал капюшон, но это не помогало, мыши снова и снова забивались туда.

Наконец утомившись, я крепко уснул вместе с ними. Им было тепло, а я так устал, что незаметно провалился в сон…

Еще один день войны ушел в прошлое…

…На другой день все повторилось. Мы медленно продвигались вперед, маневрируя под непрерывными налетами «мессеров». Нам удалось с очень близкого расстояния снять штурмовку «мессеров». Сквозь прозрачный колпак можно было хорошо рассмотреть немецкого пилота. Это было лицо врага — первый раз мы увидели его так близко. Но мы не сняли главное — его «деяний», научиться сопоставлять и делать выводы — это было еще впереди…

КОНТРАТАКА

Крым, Перекоп, октябрь 1941 года

Казалось, чтобы оторваться,
Рук мало — надо два крыла.
Казалось, если лечь, остаться —
Земля бы крепостью была…

Константин Симонов

Наконец нам удалось найти Первый батальон морской пехоты. Он расположился недалеко от деревни Ассы — совсем рядом с нашей ночной стоянкой. Было решено: полуторку с вещами оставить там, а дальше, взяв необходимую аппаратуру, идти пешком. Мы с Рымаревым отправились к морякам, а Короткевич с Асниным пошли в другом направлении.

Пройдя пару километров, мы попали в расположение морской пехоты.

— Что вы тут бродите в полный рост? — набросился на нас старший политрук.

Он оторвался от стереотрубы, лежа в маленьком окопчике.

— Вы рискуете сами, не говоря о том, что демаскируете наше расположение.

Действительно, мы оказались между окопами, в которых лежали матросы с пулеметами и автоматами. Неужели фашисты рядом? Мы легли на землю и заползли в неглубокие окопы-времянки. Скоро подполз к нам старший политрук.

— Будем знакомы — комиссар первого батальона морской пехоты Аввакумов.

— Почему в вашем хозяйстве такая тишина? Будто все вымерли? — спросил я у комиссара.

— Немцы подтягивают резервы. Ждут танковую дивизию. Вот тогда и зашумят. Я не хочу скрывать от вас: обстановка здесь безнадежная. Если мы выскочим из этого котла живыми…

Часа три мы ползали по мелким окопам-времянкам, снимая окопную жизнь. Не успели мы немного передохнуть, как началась

артподготовка. Немцы пошли в атаку. Как в котле, все закипело.

Вначале мы еще снимали, как выбивают огонь и пыль пулеметы, как, прищурив глаза, строчат прильнувшие к окопной насыпи автоматчики с серыми как земля лицами. Потом земля стала дыбом. Лежащий рядом, такой же серый, как и всё кругом, Димка, вдруг исчез в облаке пыли. Совсем рядом хлестнул пламенем снаряд. В ушах с болью лопнула какая-то тонкая звенящая нить, и на мгновение я провалился в густую тишину, но это только на мгновение. И с новой силой закипел, вспыхивая, оглушительный водоворот огня, пыли, треска и воя.

— Дима! Дима! Где же ты? — кричал я, не слыша собственного голоса.

Глаза были забиты пылью, и я ничего не видел. Наконец рукой нащупал его. Он схватил мою руку и крепко сжал.

— Жив, жив! Ну, слава богу!

Огонь стал затихать. Подувший ветерок согнал пылевое облако. Я протер глаза и увидел Димку — на чумазом лице сверкнула улыбка. Теперь вижу, что жив…

Приполз политрук:

— Приготовьтесь, сейчас будет наша контратака! — крикнул он мне в ухо.

Мины рвались повсюду. Сквозь грохот слышен чей-то нечеловеческий крик, крик боли, ярости, обиды — все в нем было… Я перестал снимать и, дожидаясь конца налета, прижался так плотно к земле, словно врос в нее, родную, всем телом. Больно врезался в бок мой наган. Было страшно. В разгоряченном мозгу рождались сомнения: «Кому я здесь нужен со своими дурацкими съемками? Хоть бы автомат был в руках — я бы стрелял, а то лежу прижатый к земле, даже снимать невозможно»… Лежу и невольно вспоминаю разговор с комиссаром: «Дела наши плохи, немцы наступают по всему огромному фронту — от Мурманска до Крыма, подошли вплотную к Москве». От этих мыслей меня еще сильнее прижало к земле.

Вдруг, перекрывая грохот, совсем рядом возник сильный хриплый крик:

— Вперед! За родину! За Сталина! Уррра!.. Полундра!.. Аааа!..

Наша контратака была смелой, неожиданной для немцев, безрассудной, но красивой. Морской батальон, в котором не было и половины наличного состава, вдруг встал во весь рост. Матросы посбрасывали бушлаты, надели бескозырки и в одних тельняшках с оглушительными криками «полундра» и «ура» ринулись, как смерч, в атаку.

Мы бежали вместе с матросами, останавливались, снимали и бежали дальше… Рядом рвались мины, свистели пули, падали матросы, а мы неслись с дикими криками вперед.

Я никогда не испытывал такого душевного подъема, такой опьяняющей радости, когда кроме неудержимого порыва вперед, к достижению высокой цели, ничего не остается… А если бы меня спросили: «Ты боялся?».

Да, чувство страха и тревоги там, в окопе, меня раздавило, влепило в землю, но как только прозвучала команда «вперед» и все встали в полный рост, меня охватило чувство легкости, крик «урра!» выбросил меня из окопа наверх, сбросил тяжесть страха, и я, как и другие, ринувшись вперед, не думал уже, что могу быть убитым. Меня заполняло до краев радостное чувство преодоления смерти.

Немцы никак не ждали такого маневра, не выдержали и, побросав оружие, бросились бежать. Только мертвые остались в окопах; среди них, снимая, мы обнаружили несколько живых, но совершенно очумевших немцев и румын. Они дрожали от страха, громко стуча зубами. На допросе они сказали, что больше всего боялись «черной смерти» — так немцы прозвали нашу морскую пехоту.

Впервые нам удалось снять врага так близко и так удачно — много трофеев и убитых. Но удача была омрачена — комиссар настаивал:

— Уходите, а то будет поздно. Вам еще много нужно снимать впереди! Ночью мы отступим на более укрепленные рубежи. — Голос его было тверд и спокоен.

— Все же разрешите нам остаться дней на пять?

— Как трудно вас убедить в серьезности положения… Мой последний совет, нет — приказ: уходите отсюда немедленно, пока есть такая возможность! Все, будьте здоровы, желаю удачных съемок! — Комиссар крепко пожал нам руки…

Мы уходили в полном недоумении, с одной стороны довольные как никогда богатым материалом, с другой — совершенно разбитые морально. Неужели наши дела на фронтах так плохи?.. Поверить в это было трудно, а разобраться в происходившем и совсем невозможно…

Аввакумов рекомендовал возвращаться прямо в Севастополь. Мы по совету комиссара решили переночевать в километре от передовой в старом заброшенном сарае. Когда мы добрались туда и легли между рядами спящих бойцов, стало совсем темно. Подложив, как всегда, аппаратуру под голову и завернувшись в плащи-палатки, мы моментально уснули. Мы ничего не слышали — ни писка и возни мышей в капюшонах, ни сонного бормотания

измученных солдат, ни их громового храпа.

Почему я проснулся — не знаю. В черной тьме висел густой тяжелый храп — так спать могут только смертельно уставшие люди. Вдруг распахнулась большая дверь сарая, и в него заглянули звезды. Кто-то вошел и громко сказал:

— Товарищи бойцы! В сарае среди вас находится диверсант! Держите его!

Легко сказать «держите»! Даже если бы у него на спине было написано, что он диверсант, все равно темно — хоть глаз выколи. На мгновение в сарае стало тихо. Вдруг недалеко от меня кто-то вскочил и, больно задев меня за плечо, кинулся бежать. В темноте кто-то вскрикивал — видимо, бежавший наступал на лежавших солдат. Снова широко раскрылась дверь, и заблестели в проеме звезды. Дробно вспыхнула автоматная очередь, ударяясь о деревянную стену сарая. Поднялся шум, галдеж. Засветилось сразу несколько фонариков.

— Отставить стрельбу! Произвести перекличку! — прозвучала команда.

Почти до утра выясняли и подсчитывали — кого же нет? Исчез рядовой Остапенко. Наконец добрались и до нас:

— Кто такие? Как сюда попали? Ваше предписание! Документы! — набросился на нас с перекошенным лицом майор.

— Плохо дело! Это особняк! — шепнул мне Димка.

— Арестовать! Обезоружить! Изъять аппаратуру! — торопился майор. — Вывести наружу!

Нам заломили рук назад и вывели из сарая.

— Мы военно-морские кинооператоры! Снимаем военные действия!

— При чем здесь «морские»? Тут сухопутный фронт! Зачем вы здесь?

— Проверьте наши документы — они за подписью адмирала Кузнецова!

— Товарищ майор! Надо проверить, — обратился к нему лейтенант.

— Мне все ясно! Что это еще за типы? Думали, в темноте не заметим? В расход их!.. Диверсанты явные!..

В это время мимо проезжал на коне комиссар Аввакумов.

— Комиссар! Помогите! Нас арестовали! — крикнул не своим голосом Рымарев.

Аввакумов подъехал к нам. Автоматчики преградили ему дорогу.

— Что здесь происходит?

— Они арестованы! — сказал солдат и приложил руку к пилотке.

В это время подошли майор с лейтенантом и, взяв комиссара под руку, увели его в сарай.

— Ну и дела! Неужели комиссар не убедит этого идиота майора, что мы не диверсанты и не фашисты? — срывающимся от злости и волнения голосом сказал Димка.

В это время вышли из сарая и подошли к нам комиссар и лейтенант. Майор так и не вышел из сарая.

— Извините, товарищи! Такая ерунда получилась с этой ночной заварухой, а майор, конечно, погорячился… Вернуть командирам оружие и аппаратуру!

— Я говорил вам, друзья, — уходите, — сказал Аввакумов, — положение скверное. Все на нервах. Хорошо, все кончилось благополучно, а могли принять за диверсантов и расстрелять без суда и следствия.

Да, могли, уцелев от пуль врага, погибнуть от своих…

Могли…

ГНИЛОЕ ОЗЕРО

Крым, октябрь 1941 года

Но мертвые, прежде чем упасть,
Делают шаг вперед.
Не гранате, не пуле сегодня власть,
И не нам отступать черед.

Николай Тихонов.

Я воспользовался попутным связным и на мотоцикле умчался к Сивашу. Ехали мы недолго. Скоро показались гнилые озера, и мы замаскировались в руинах разбитой дорожной сторожки. Небо гудело от немецких самолетов. Низко носились «мессеры», выше Ю-87 и Ю-88, а совсем высоко кружилась «рама» — корректировщик.

Только когда стало темнеть, я сумел выбраться из спасительной сторожки и пошел в сопровождении матроса-мотоциклиста на передовую. Шли недолго. Перевалили два косогора, и стало ясно, что мы находимся на передовой. Где ползком, где пригнувшись по ходам сообщения, мы вышли на небольшую возвышенность.

Ракеты то и дело освещали ярким магниевым светом местность. Красно-зеленая сеть трассирующих пуль густо покрывала землю. Изредка ухали вдали орудия, и нарастающий звук летящего снаряда заставлял крепко обнимать землю. От резких взрывов больно звенело в ушах.

Когда свет ракеты особенно ярко осветил все вокруг, я почти рядом увидел покрытые бурой плесенью воды Сиваша. Наш правый фланг был прижат к гнилому озеру и отчаянно отбивал одну атаку за другой. Батальон нес большие потери, но позиции не сдавал.

С левого фланга навалилась лавиной ружейно-пулеметная стрельба. Немцы пошли в атаку.

До самой зари кипел котел боя. Затем все стихло. И снова в небе засветились свечи ракет. На рассвете комбат вызвал меня на КП: сообщил, что немцы прорвали левый фланг и мы окружены с трех сторон. Единственный выход — пройти в темноте через

Гнилое озеро. Следующей ночью, если будем живы, постараемся этим путем выйти из окружения…

Я остался в батальоне до следующей ночи.

Комбат вдруг спросил:

— Проголодались, наверное, капитан третьего ранга? Жрать совсем нечего, вот, если сможете, погрызите! — Он дал сухарик.

Сухарик оказался железным, и я думал, что скорее зубы раскрошатся, чем этот сухарик.

День мне показался вечностью. Немцы, очевидно, разгадали наше желание уйти ночью и решили добить нас днем. Одиннадцать атак отбили моряки до наступления ночи.

Приказ «держаться до темноты» стоил многих жизней. Но другого выхода не было. Матросы обливались кровью, умирали, но приказ выполнили.

Ночью, как назло, вылезла из-за туч луна. Она осветила берег и застыла холодными льдинками в широко раскрытых глазах убитых матросов. Остатки батальона отходили медленно, мелкими подразделениями по пояс в холодной густой жиже. Немцы усилили огонь из минометов. Мины, падая в соленый рассол, поднимали темные столбы грязи. Видимо, соль разъедала раны — некоторые громко стонали. Тяжело раненых несли на плечах. Люди падали от усталости в воду, поднимались и снова шли.

Отойдя от берега с полкилометра, я увидел первые цепи немцев. Трассирующие пули с писком мелькали тонкими нитями, пронизывая отступающих. Соленая густая жижа принимала бойцов без всплеска, оставляя на поверхности темные пятна крови и не тонущие трупы.

Я иду по грудь в воде. Плечо ноет от тяжести аппарата. На глазах захлебываются с проклятьями один за другим смертельно раненые матросы. Страшно звучит проклятие умирающего среди ночи под холодным светом луны. Наконец луна накрылась серым облаком и больше не показывалась. Немцы прекратили огонь.

Всю ночь мы шли через озеро и только на рассвете вышли на сухую землю. Вышли и упали обессиленные, но спасенные. Хотелось плакать и целовать от радости землю. Наутро я кое-как дотащился до полуторки, где меня ждали не на шутку перепуганные моим отсутствием товарищи. Я так был рад снова увидеть их! Все были живы, но вид у всех был больше чем невеселый: осунулись, похудели, стали какими-то серыми, обмундирование потеряло всякий вид.

Я думал о людях, которые выходили со мной рядом из пучины Гнилого озера. Я думал о комиссаре Авакумове и его части. Что-то с ним теперь?..

И еще я думал о том, как страшно и горько отступление…

…Много прошло времени с тех давних событий под Перекопом, на Ешуньском плацдарме, но как вчера вижу Гнилое озеро и наше отступление по пояс в соленом рассоле, при луне под автоматным огнем противника…

ЮБИЛЕЙ

Севастополь, 1942 год

…Вышли мы со Сталиным в девизе
Под огнем взрывающихся мин…

Семен Кирсанов

«За Родину! За Сталина!» — этот клич политрука, взметнувшегося на бруствер окопа с наганом в руке, я впервые услышал на краю кукурузного поля под Одессой. Молодой политрук, совсем мальчишка, скатился с бруствера в окоп с простреленной головой. Намечавшаяся атака нашей морской пехоты захлебнулась в самом начале. Как ножом по сердцу полоснул этот истошный предсмертный мальчишеский крик — «За Родину! За Сталина!». Из всех мною услышанных в момент броска в атаку — за все время войны — этот провис в моей памяти навсегда. Острый, резкий, перечеркнутый пунктиром пулеметной очереди, будто вырезанный стеклом на синеве осеннего неба. Так кричали, увлекая за собой под огненный шквал бойцов, комиссары, политруки — в стремительный бросок под вражеский ливень свинца. Но редко кому из них удавалось увидеть результат своего подвига… Первая пуля, первая пулеметная очередь врага настигала первого ринувшегося в атаку, и его патриотический возглас — «За Родину! За Сталина!» часто обрывался, захлебываясь кровью. Эти два слова несли в себе и жизнь, и смерть, и надежду выжить, и страх умереть, и гнев, и угрозу врагу, и победу…

«Родина — это Сталин, Сталин — это Родина». Так мы думали, верили, жили, и нас окрыляла надежда на свет впереди. Так было. В этом был заложен смысл победы в войне. Было с чем идти на смерть. Было за что идти умирать. И была надежда и радость — выжить…

Было жарко, несмотря на раннюю весну. Солнце обрушило на Севастополь всю теплоту своих чувств. Небо, как бухарская эмаль, было густо замазано голубым. Канонада стихла. Ее сменил серебряный звон набегавшей на гранит прозрачной волны.

— Немцы пошли обедать! — вылезая из воронки и отряхиваясь, сказал Борис Шейнин.

Мы вылезли и сели на гранитные ступени у самой воды, подставляя свои спины солнцу. Густая дымовая завеса скрывала от нас кремовыми клубами Северную сторону. Солнце набросилось на наши спины, и мы поснимали кители. Раскаленные ступени поджаривали как на сковородке. Было как никогда хорошо, и ни о чем не хотелось думать. У нас за спиной возвышались обгорелые руины Сеченовского института. Они резко нарушали гармонию голубого неба и моря. Изредка, будто расставляя в нагретом воздухе точки и тире, строчил на передовой немецкий пулемет.

Левинсон закурил и протянул пачку «Беломора» Сергею Алымову. Было так хорошо сидеть и молчать, казалось, ни о чем не думая…

— Ребятки, мне завтра полсотни стукнет! — глядя куда-то вдаль, грустно сказал Сергей. — Даже самому не верится, вроде не старик, а тем не менее, полста! Похоже?

— Тебе и сорока не дашь, а стариков всех давно из Севастополя эвакуировали. Давайте лучше сегодня вечером отметим эти пятьдесят!

Алымов посмотрел на нас грустными глазами.

— Вам хорошо это говорить! Вы еще пацаны, только-только начали порох нюхать, а я уже срок отсидел. Ни за что, ни про что! Колыму за колючей проволокой осваивал… И кое-что в жизни понял. Узнал, где раки зимуют… — Оглянулся на руины и, глубоко вздохнув, сказал: — Жизнь-то — копейка! Ни шиша не стоит, захочешь уберечься, а все равно прихлопнет, как муху. Не тут, так там! Так-то вот, братцы!

Его слова заглушил разорвавшийся тяжелый снаряд посередине бухты, потом еще три. Осколки вспахали и изломали отражение Константиновского равелина.

Алымов поднялся. Высокий, сутулый, тяжело ступая по битому, хрустящему, как снег, ракушечнику, пошел в гору.

— Сергей! Не забудь, сегодня вечером, как стемнеет, приходи к нам в гостиницу! — крикнул я.

Он оглянулся.

— Кого пригласить?

— Всех, кто захочет! Севастополь плохих не держит!

— А музыка будет? — крикнул Сергей и скрылся за обгорелой руиной.

— Он прав, музыка должная быть, — сказал Левинсон.

Тяжелое пианино мы с большим трудом перетянули из номера люкс во втором этаже гостиницы «Северная» на третий

этаж в мой номер. Угощение было на славу. Шампанское и мандариновый спирт в неограниченном количестве. (Штольня с шампанским вскоре заменила воду.) В ограниченном — тушенка, жесткие, как железо, галеты и самое деликатесное блюдо — жареная султанка, которую Борис Шейнин раздобыл у подводников. Они выловили ее при взрыве бомбы в Южной бухте.

Никто из приглашенных не заставил себя ждать. Один за другим пришли: писатель Леонид Соболев, журналист Лев Иш, поэт Яков Сашин и гурьбой композиторы — Борис Мокроусов, Юрий Слонов, Володя Макаров. Только юбиляр — поэт Сергей Алымов запаздывал. Наконец, под бравурный марш, который сыграл Юра Слонов, появился виновник торжества. Одновременно с маршем на стене заговорил динамик: «Воздушная тревога! Воздушная тревога!» Весь этот экспромт произошел, будто заранее подготовленный.

Залп пробок ударил в потолок, зазвякали граненые стаканы, и первый тост, как на корабле — «За тех, кто в море» — торжественно произнес автор «Капитального ремонта» капитан первого ранга Леонид Соболев. Второй тост был, конечно, за юбиляра.

— Сергей! Такое никогда больше не повторится! Тебе отсалютовал сигнал севастопольского морзавода — «Воздушная тревога»!..

Забряцали граненые стаканы, и полился вместе с шампанским поток сердечных поздравлений дорогому другу Сергею Алымову.

Ради такого исключительного случая был поднят тост при погашенном свете с зажженным в стаканах мандариновым спиртом. Все подняли наполненные голубым огнем стаканы. За шторами с небольшими промежутками рвались где-то — то далеко, то близко бомбы. Голубой огонек таинственным светом вырывал из темноты лицо каждого.

Время летело быстро. Несколько раз врывались тревога и отбой. Падали близкие и далекие бомбы, дрожали стены и гас свет. На смену ему загорался синим огнем мандариновый спирт. При загадочном сиянии послышались тяжелые аккорды. Борис Мокроусов заиграл четырнадцатую сонату — «Лунную». Все замолчали. Перемежались отдельные вздохи падающих бомб и трагические аккорды Бетховена. Каждый из нас вернулся в свой мир, далекий от войны, от Севастополя. Неожиданно зажегся свет. На стене как-то четко высветился в массивной раме портрет Сталина. Его взгляд, устремленный на нас, мне показался каким-то странным — живым. Таким я видел его на киносъемке в Москве… Вдруг стремительно вскочил из-за стола Сергей

Алымов. Зазвенели и посыпались на пол бутылки шампанского, стаканы. Он выхватил из кобуры наган и не целясь, один за другим всадил все семь зарядов в портрет Сталина. От него на стене, кроме рамы ничего не осталось.

Наступила тяжелая тишина, даже за окнами. Никто не мог вымолвить ни слова. За окнами особенно громко рявкнула воздушная тревога и погас свет. Мои гости один за другим стали уходить. Последним молча ушел Сергей Алымов.

Я остался один на один с расстрелянным Сталиным… Странно, я был совершенно трезв, будто и не пил ни капли. Что делать? Как жить дальше?.. Я открыл окно и впустил в комнату рассвет…

Вошел Левинсон.

— Владик! Немедленно едем на передовую! Там придем в себя!

Он снял пустую раму. Стена была глубоко ранена пулями. К вечеру мы вернулись с передовой. При встрече со всеми участниками на ужине в кают-компании все происходило, как всегда. Будто совсем ничего не случилось. Севастополь плохих не держит!

ДИВЕРСАНТЫ

Севастополь, 1942 год

Есть прямота
как будто кривота.
Она внутри самой себя горбата.
Жизнь перед ней
безвинно виновата
за то, что так рисунком непроста.

Евгений Евтушенко

Сегодня мы решили выполнить давнюю задумку — снять в заливе, недалеко от Константиновского равелина на Северной стороне базу военно-морских бомбардировщиков. Мы часто видели, но не снимали, было далеко — через залив, как на нее нападали «козлы» — так в Севастополе прозвали «юнкерсы-87». Зенитный огонь базы самоотверженно отбивал все атаки пикирующих козлов, и их бомбы, не достигая цели, поднимали столбы воды в Северной бухте, глуша массу рыбы. Она подолгу серебрила своими брюшками зеленую воду залива. Мы решили посвятить задуманному весь день и снять эпизод из боевой жизни базы морских бомбардировщиков.

Немцы, пунктуальный народ, как правило, от одиннадцати до двенадцати не летали — обедали. Переправляться через залив, не учитывая этого, было очень рискованно. «Мессеры» охотились над Севастополем за каждой подвижной целью, низко пикируя и расстреливая из пулеметов даже случайно оказавшегося на виду человека. Левинсон договорился на флотском командном пункте, и нас обещали переправить на скоростном катере на ту сторону. Немцы и на этот раз были точны и пунктуальны. Переправившись, мы успели добежать, как и задумали, до стен разрушенного домика и залегли в густой тени цветущей сирени.

— Только бы катер успел уйти! — Левинсон, глубоко вздохнув, растянулся на траве.

— Весна! Душистая ветка сирени и война! Парадокс!

Наша засада была обдуманна — она находилась в стороне от

обычных курсов нападающей авиации и в то же время не так далеко от морской базы. Нас защищала полуметровая стена бывшей ограды садика, на траве которого мы так удобно расположились. База была перед нами, как на ладошке. Не прошло и десяти минут, как без всякой тревоги появились юркие и стремительные «мессеры». Их моторы не жужжали, а мелодично звенели. Они низко шныряли над руинами, что-то выискивая, то вдруг свечой взмывали в небо и, пикируя с высоты, расстреливали из пулеметов наши зенитные батареи.

— Как у них все продумано! Ничего зря не делают! Обеспечивают безопасность перед прилетом бомбардировщиков!.. — Не успел Левинсон закончить, как раздался тревожный гудок Морзавода. После объявленной тревоги обычно не проходило и пяти минут, как появлялись «гости». На этот раз Ю-87 и Ю-88 появились одновременно с последним гудком Морзавода.

Из-под солнца, со стороны Инкермана, летели одна за другой две эскадрильи. В первой было девять, а во второй шесть самолетов. Я поднял «Аймо». Левинсон взял меня за плечи, помогая моей устойчивости, но снимать я не мог — мешало солнце в кадре. Вот так же оно мешало взять прицел и зенитчикам. Немцы знали, откуда безопасней нападать. Наконец солнце ушло из кадра, и я стал снимать, но тут же прекратил съемку. Самолеты изменили курс. Защитный огонь оказался в пустой синеве неба. Оно покрылось густым накрапом взрывных веснушек. Обе эскадрильи сделали большой круг высоко над городом. Зенитки морской базы молчали. Очевидно, не хотели обнаруживать цель, хотя цель была явной. Сверкали на солнце несколько бомбардировщиков, амфибий и огромный ангар.

— Смотри, кто такой? Ты не знаешь? — Левинсон показал мне взглядом на человека, который примостился, как и мы, на траве, не так далеко от нас под кустами миндаля.

«Сухопутный батальонный комиссар, чего это он тут блуждает?» — подумал я.

— Наверное, решил переждать тревогу, — тихо сказал Левинсон.

— Ты знаешь, он следит за нами! Вот те крест! — вполголоса сказал я своему другу. Мои слова заглушил резкий шквал зенитного огня морской базы. Я вскинул «Аймо» и плотно прижал к мокрому лбу. Мне стало вдруг очень жарко, хотя нас накрывала густая тень. Первая эскадрилья козлов, задрав колеса вверх, пошла в крутое пике. Я начал снимать. Вся эскадрилья не поместилась в визире камеры. Мне было хорошо видно, как оторвались бомбы. Рев самолетов, свист бомб и грохот зениток

заглушили работу камеры, и мне казалось, что она остановилась. Левинсон крепко держал меня за плечи. Я продолжал вести панораму за бомбами и хорошо видел, как они вонзались в ангар, и он исчез в дыму и пламени огромного взрыва. В синеве неба повисли черные, рваные куски железа. Камера остановилась. Кончился пружинный ее завод. Мы прижались к каменной стенке. Я стал заводить камеру. Взрывная волна больно хлестнула, но каменная стенка спласировала удар. Левинсон что-то кричал мне, но я ничего не слышал, тогда он показал мне рукой. Вторая эскадрилья, перевернувшись колесами, вверх круто пошла в пике. А первая, чуть не задевая Константиновский равелин, свечой взмыла в небо. Я, запрокинувшись, вел панораму за самолетами и видел в визире, как бомбы, а их было много, попали прямо в гидросамолеты. Сквозь высокое пламя летели вверх куски амфибий…

Мое сердце! Как оно выдержало увиденное? Камера остановилась. Взрывная волна положила нас на траву. Если бы не каменная ограда, нас отбросило бы далеко. Вдруг наступила относительная тишина, если не считать далекого воя улетающих «юнкерсов» и треска бушующего пламени. Догорали искореженные останки амфибий и бензиновые бочки.

Нужно было перезарядить «Айно», и я полез в кофр за перезарядным черным мешком. Мои руки дрожали, и очень хотелось пить. Левинсон сидел с широко открытыми глазами и что-то беззвучно шептал…

Вдруг из-за спины раздался резкий, неприятный, властный голос:

— Это чем вы тут занимаетесь, а?

Это было так неожиданно, что мы не успели ничего ответить, как последовала громкая и резкая команда. Она просто оглушила меня.

— Встать! — взвизгнул он.

Не понимая происходящего, мы сидели на траве и улыбались — мы приняли все за глупую шутку. «Аймо» лежало рядом на перезарядном мешке.

— Встать! В душу мать! Ждете немецкой команды!? По-русски не понимаете!

Его команда последовала еще более грозно. Он стремительно выхватил их кобуры пистолет и, не целясь, направил в нашу сторону. Мы встали в полном недоумении. Я хотел поднять «Айно», но новый выкрик меня остановил.

— Руки вверх!

Мы подняли.

Он направлял пистолет то на Левинсона, то на меня.

— В чем дело, товарищ батальонный комиссар? Вы за кого нас принимаете?

— Я вам не товарищ! Вы — фашисты, диверсанты! На кого работаете?

Он нагнулся, взял левой рукой «Аймо».

Мы незаметно для себя приопустили руки.

— Вот вещественное доказательство! — И он погрозил нам, как кулаком, «Аймо». — Я давно за вами слежу! Вы арестованы!

Он переложил пистолет под мышку и правой рукой открыл крышку аппарата. Из него выкатилась бобышка со снятой пленкой. Я схватился за пистолет, мое сердце громко стучало… Левинсон схватил меня за руку.

— Ты с ума сошел! Съемку не вернуть!

Мы стояли с приподнятыми руками. Левинсон был бледен как полотно. Его левый глаз подергивался. Я таким его никогда не видел.

— Это насилие! Прежде надо проверить документы! — крикнул мой друг.

— Молчать! Какие документы? Вот документ! — И бросил «Аймо» на траву. — Диверсия налицо! Явная работа на Гитлера!

Он снова поднял пистолет.

— На три шага вперед! Руки за спину! Шагом арш!

В это время Морзавод заиграл тревогу. Наш конвоир завертел головой, осматриваясь по сторонам, словно разыскивая кого-то.

— Стоять на месте! — скомандовал он и вдруг побежал. Кинулся в сторону складских бараков, видневшихся вдалеке.

Снова из-под солнца показалась шестерка «юнкерсов». Она сделала полукруг, зенитные разрывы сопровождали ее густым накрапом. Она завернула явно в нашу сторону. Незаряженная камера валялась на траве…

Особист все еще бежал в сторону бараков, казавшихся ему, очевидно, спасительными. Мы вернулись к спасительной ограде.

— Такую съемку загробил! — Левинсон сплюнул в сердцах.

— Удрал! С перепугу и арестованных «диверсантов» бросил! — Я посмотрел в сторону бараков, но там уже никого не увидел.

Ю-88, с воем пикируя, сбросили свой груз туда, где исчез наш конвоир. Мы лежали на траве, плотно прижавшись к каменной ограде.

— Нашел же, дурак, где прятаться, это склады боезапаса базы! От него мокрого места не осталось! — Левинсон не то жалел, не то негодовал.

Зенитная канонада прекратилась. Вдали над складами висела черная шапка, в ее подножье пылало пламя. Ни один из

нападавших «юнкерсов» не пострадал. Они с воем исчезали на бреющем полете. Мы поднялись в ожидании развязки. Я перезарядил «Аймо». Засвеченная снятая пленка блестела на траве.

— Этот дурак одну из лучших моих съемок уничтожил. И все же жаль, что он накрылся… Давай поищем, может, надо ему помочь! — настаивал я.

— Если бы он был жив, то сейчас бежал бы сюда сломя голову арестовывать тебя, а если ранен, то гарантирую: сейчас же и пристрелит нас, чтобы не убежали от него живыми!

Доводы моего друга были основательными, но мне было не по себе — кто бы он ни был, но так уйти и не помочь?..

— Все-таки подождем еще немного, может, появится? Мы же арестованные. Раз сбежали — значит действительно «диверсанты»!

Морзавод дал отбой воздушной тревоги.

— Нельзя так уходить…

— Не бойся, я беру это на себя! Доложу, как положено, адмиралу Октябрьскому.

— Подождем еще немного!

Левинсон не разделял моих чувств, но согласился:

— Ну, ладно, еще полчаса — рискуем ведь, как этот идиот, попасть под бомбы!

Мы были на пути к пирсу — голое место, и нет никакого укрытия. Время шло, ни единой души не появлялось в районе взрыва. Да и откуда ей было появиться? Все это время мы прислушивались — но только легкий шум моря, отдаленные крики чаек и шум полыхающего огня.

— Смотри, сюда идет катер как по заказу! А то, может, сегодня никакой оказии больше не будет. Застрянем до утра!

— Ладно, пойдем, ты, наверное, прав по-своему, но мне не по себе!

— Да, жаль мужика… — вдруг сказал Левинсон.

— А может, он понял, что натворил, и ему стало стыдно? — сказал я уже в гостинице, хотя понимал, что чудес не бывает.

— Слушай, мне ведь сразу стало ясно, что его накрыло. Склад рванул так, что чудо, что мы уцелели… Я сам не знаю, на что надеялся, когда мы там два часа проторчали… Я доложил в политотдел. Мне сказали, что склады разворотило до основания… Жаль мужика. Успокойся хотя бы тем, что завтра это может случиться с ними…

Проснувшись ночью, я увидел, что Левинсон не спит — сидит, курит в углу кровати.

— Слушай, как ты думаешь: а если бы он остался жив — он

нас пожалел бы?..

…Сколько раз еще за войну буду я стоять под дулом пистолета, направленного своим, русским, — и здесь, в Севастополе, и потом, на долгих дорогах войны…

ВСТРЕЧА С ДОВЖЕНКО

Москва, июль 1942 года

Мы знаем, что ныне лежит
на весах
И что совершается ныне…

Анна Ахматова

На Графской пристани мы, защитники Севастополя, преклонив колени, давали клятву Сталину — стоять насмерть, до последнего патрона, до последней капли крови…

Так и было. Все патроны были выстреляны, раненые, истекая кровью, ждали своей участи, исполнив свой долг и клятву Сталину, убитые — молчали. Очнувшись от тяжелой контузии в Новороссийске, я с горечью в сердце узнал, что Севастополь топчут фашистские сапоги, а меня вывезли контуженного, без сознания, на подводной лодке…

Все кончено. Сердце оборвалось. Перестало биться. Нет больше Севастополя.

«Наши части после упорных боев оставили Севастополь…» — прочел я первую фразу Совинформбюро.

В Новороссийске меня «подлатали», и я отправился в Москву.

С центрального аэродрома на Ленинградском шоссе я кое-как добрался до метро.

Первым, кого я встретил, подходя к студии, был Александр Петрович Довженко. Он шагнул навстречу, обнял меня. Теплый ветерок ласково шевелил его серебряные волосы.

— Я рад, Владислав, что вы живы, что могу обнять вас… Я верил, что вы выдержите все испытания и вернетесь… — сказал он, держа меня за плечи.

Нежность и доброта светились в его усталых голубых глазах.

— Да, но Севастополь у фашистов в руках… — К горлу опять подступили спазмы.

Александр Петрович пристально посмотрел мне в глаза, положил руку на плечо с таким отцовским участием и теплом, что на сердце у меня впервые за все время войны разлилось спокойствие…

— Давайте посидим здесь на солнышке, поговорим,

успокоимся, — предложил Александр Петрович, и мы присели на ступеньки крыльца.

— Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Мне тоже тяжело, а им, может быть, еще тяжелее, — он показал взглядом на двух пожилых женщин с детьми на руках, проходившись за оградой студии.

Довженко сам был на фронте — и как корреспондент, и в период работы над фильмом «Битва за нашу Советскую Украину».

— Как вы считаете, когда человеку легче перенести сильное горе — в одиночестве или когда его окружают такие же убитые горем, как он сам? Ну вот, задумались… Только не пытайтесь ответить сразу, это не так просто, — глаза его потемнели, в них загорелся холодный огонек. — Все русские люди должны склонить головы перед памятью героев, оборонявших город. Поклониться в пояс руинам Севастополя и дать волю гневу, чтобы укротить безмерное горе…

Его прекрасное лицо, обрамленное светлым ореолом волос, замерло, как высеченное из мрамора.

— Расскажите, как жили и умирали там люди.

Расспросив меня, Александр Петрович в то же время рассказывал о себе. Не просто о себе, а о том, что видел и пережил сам, — он говорил о горящих городах, о страданиях людей, о смерти…

На другой день, узнав, что я собираюсь вернуться на фронт, Довженко приехал ко мне, чтобы дать задание для его будущего фильма. Он так сильно, конкретно и образно рассказывал мне о том, как он хочет показать войну, что у меня как бы заново открылись глаза на все происходящее.

«Кем же я был до этой встречи? Неужели ремесленником?» — думал я, глядя в глаза Довженко. А он, рассказывая, тут же иллюстрировал свои мысли рисунками, набрасывал карандашом кадр, сопоставляя его с другим.

— Не стесняйтесь показывать страдания людей… — говорил он мне. — Смерть, слезы, страдания. Ибо в этом огромная сила утверждения жизни. Покажите страдания раненого на поле боя солдата. Покажите солдатский тяжкий труд. Снимите смерть солдата. Не стесняйтесь — плачьте сами, но снимайте… Пусть видят все. Пусть слезы зальют ваши глаза, но вы его снимите… Пусть видят все, как и ради чего он умирает. Ибо гуманистична, как ничто другое, смерть ради жизни. Снимите на поле боя медсестру — совсем девочку — хрупкую, юную. Превозмогая ужас и страх, тянет она непосильную ношу. Снимите первую перевязку. Крупно — нежные маленькие руки, рану, кровь. Снимите глаза сестры и глаза раненого. Снимите людей. Ибо они своим тяжким

трудом, трудом непосильным, изнурительным, трудом и страданиями делают будущий мир. Снимите врага, его звериный облик…

Александр Петрович замолчал, задумался на секунду, посмотрел на меня внимательно, как бы проверяя, точно ли он говорит.

— Я говорю не просто о любом немце — он такой же, как мы с вами, похож на человека и может вызвать жалость и участие. Русскому присущи гуманность и человечность больше, чем кому-нибудь другому. Я говорю о содеянном фашистом зле. О том варварстве и педантичности, с которой он расстреливает наших людей, жжет села и города, калечит нашу землю. Все это и будет подлинным обликом, настоящим лицом фашиста-зверя, врага человечества, варвара двадцатого века. Для этого не нужно ходить в тыл к немцам, хотя и это не исключено. Присмотритесь к дорогам войны. Дорога сама по себе лицо войны. По дорогам идут войска в наступление, по дорогам отступает враг, оставляя расстрелянных и повешенных… Присмотритесь к дороге — и к той, которая проложена, и к той, которую прокладывает война. Вы не раз показывали ее в Севастополе. Это страшное, потрясающее зрелище… Мы скоро начнем наступление и погоним врага с нашей Родины. Мы погоним его с наших просторов — от Волги через Днепр, Вислу — до Одера, Эльбы, Рейна. Вспоминайте этот наш разговор. Он вам во многом поможет. Поможет показать, как достается мир… Когда-нибудь дети наши по нашим кадрам будут учиться понимать цену жизни, цену мира и ужас, нелепость войны.

До этой минуты нам запрещалось снимать страдания и смерть советского человека. На поле боя советский воин должен был быть физически бессмертным. Так мы и старались снимать, исключая тем самым подвиг смерти ради жизни.

Я с ужасом оглянулся на пройденный мной как оператором путь. Сколько я потерял! Сколько кадров осталось не снятыми, сколько подвигов не запечатлено на кинопленку…

…Короткой была эта встреча. Но она была из тех встреч, которые заставляют пересмотреть свое отношение ко всему. А в те дни всем была война, война ради будущей жизни, будущего мира.

Через несколько дней Довженко вернулся на фронт.

АРХАНГЕЛЬСК СОРОК ВТОРОГО

Снова я коснулся истины и, не поняв, прошел мимо…

Антуан де Сент-Экзюпери

Время, как на крыльях, — летело, торопилось. Залечилась прошлая контузия. Сменил Черноморский флот на Северный. Севастополь на Архангельск. Осень сорок второго. Мы, четыре военных кинооператора с разных фронтов, будем сопровождать караван на советских кораблях в Англию и Америку. Порт отправления — Архангельск.

Архангельск встретил нас тропической жарой и бесконечно длинным днем. Солнце парило вовсю — необыкновенно ярко — не то, что в мрачной Москве.

Наше жилье — гостиница «Интурист» — несуразным каменным квадратом доминировала над деревянной массой приземистых домиков с дощатым тротуаром, напоминая серый, мрачный утес. Сколько времени предстояло ждать, и когда в путь — никто не знал. В ожидании, чтобы не болтаться без дела, мы решили снять небольшой фильм — «Архангельск сорок второго года».

Мы быстро освоились в северной столице. Добрали свой довоенный вес и заскучали по фронту.

А положение на фронте было напряженным. К концу августа особенно тяжело было под Сталинградом. Немцам удалось прорвать нашу оборону и переправиться через Дон. Гитлер отдал приказ о взятии Сталинграда — к двадцать пятому августа.

Мы оказались в самом ужасном положении — сидели и «загорали» в ожидании каравана, жалея о том, что не попросились просто под Сталинград. Два раза пришел караван из Англии. Один раз — остатки каравана из Америки.

Мы тогда не знали — это держалось в строгом секрете — о трагедии в Баренцевом море, когда караван PQ-17, тридцать пять судов, шедший с военным грузом в Архангельск, подвергся жесточайшему нападению немецких подводных лодок и авиации. Это было в самом начале июля 1941 года. До места назначения прорвались только одиннадцать кораблей, остальные, несмотря на мощный сопровождающий конвой в девятнадцать военных кораблей, были потоплены.

Архангельск превратился в город с населением, говорящим

на многих наречиях мира. Иной раз даже не верилось, что мы живем в старинном русском городе. Всюду бродили и шумели на разный лад пестро одетые моряки из разношерстных команд иностранных кораблей.

Архангельск не испытал еще ни одного налета немецкой авиации. Город был целехоньким, и жители не знали ни тревог, ни страданий военного времени. Мы снимали приход и разгрузку кораблей в порту, вели репортаж-наблюдение на улицах и набережных. Впервые на главной улице Архангельска в один из самых жарких августовских дней удивленные аборигены увидели негров, щеголявших в рыжих лисьих папахах и тяжелых оленьих дохах. Мы сняли эту поразительную смесь полярного с экваториальным в контрасте с одеждой горожан, облаченных в легкие летние ткани.

Неграм было нестерпимо жарко, пот катился с их черных лиц градом, но они были возбужденно веселы, сверкая по сторонам ослепительными улыбками… Сначала мы решили, что этот маскарад в честь традиционного африканского праздника, но на другой день встретили другую группу и несколько любителей-одиночек… Наше недоумение спустя некоторое время удовлетворил директор архангельского ГУМа — африканцы на подходах к «красному» берегу были напуганы рассказами «старых морских волков» об ужасах полярной зимы в Архангельске. Первым делом, сойдя на берег, негры ринулись в единственный большой магазин, всюду встречая пустые полки. И только в меховом отделе им удалось разгуляться на славу. От радости они скупили все запасы — оленьи дохи и лисьи шапки.

Кончалось жаркое лето. Приходили одиночные корабли, наполняя город новыми партиями иностранцев. А мы в ожидании большого каравана на Запад помогали в съемках фильма «Шестьдесят девятая параллель». Только один раз за это время ушел небольшой караван в Англию. Хорошо, что нас на него не успели оформить, — немцы напали на него неожиданно, и почти весь караван был потоплен. Только одиночкам удалось прорваться. Оба наших корабля погибли, англичанам удалось спасти только часть команды.

Зашумели дождями холодные ветры. Налетели и таяли белые мухи, и солнце, улыбнувшись в последний раз, исчезло и не появилось больше ни разу. День стал короткий, мрачный, зябкий. Наши прогулки с камерами по городу и порту прекратились. Ну а негры оказались теперь на высоте. Всякий встречный, кутаясь от холода, показывал им поднятый вверх большой палец, крича:

— Вери гуд, комрад!

— Очень карашо! Очень спасибо! — восторженно отвечал,

поблескивая зубами и белками глаз из густых мехов, наиболее преуспевший в русском языке…

Наш отель был наполнен «утопленниками». Так называли удачно «выловленных» нашими военными кораблями в Белом и Баренцевом море иностранных моряков.

Длинными вечерами мы просиживали в гостинице, читали, учили английский и практиковались в разговоре с «утопленниками». Выходя из своего номера, мы сразу попадали в печальный мир погибших кораблей. На дверях номеров висели таблички с непривычными экзотическими именами — «Маслей», «Панама», «Канберра»… За этими дверями нашли себе приют уцелевшие из команд этих лежащих на дне кораблей. Пять, три, два, или даже один спасенный. Оставшись в живых, они продолжали своей жизнью жизнь лежащего на дне корабля, распорядок корабельной жизни в непривычных гостиничных условиях. Ждали попутного каравана, чтобы отправиться на родину и взяться за оружие. Все наши разговоры с «утопленниками» начинались со Второго фронта и заканчивались пожеланиями скорейшего его открытия. Еще летом этого года в Москве, Лондоне, Вашингтоне было опубликовано коммюнике о том, что «достигнута полная договоренность в отношении неотложных задач создания Второго фронта в Европе в 1942 году»…

О Втором фронте говорили все, и говорили много… Все понимали, что Второй фронт был бы не только помощью России, но и спасением мира в кратчайший срок. Тогда мы еще не знали, что спустя шесть дней после опубликования обнадеживающего коммюнике на Вашингтонской конференции был утвержден план о высадке в Европе в том случае, «если на русском фронте создастся отчаянное положение, или если обстановка в Западной Европе будет критической для Германии». Нам тогда трудно было понять, что для наших союзников главное было — не победа над общим врагом, а ослабление обеих сторон — и России и Германии.

Время летело быстро, надвигалась полярная ночь, а мы все ждали и ждали своего злополучного каравана.

Каждый день мы наблюдали за городом, людьми и прибывающими иностранными кораблями. Они приходили с пробоинами от торпед и снарядов, покрытые славой жестоких морских сражений и доставляли, кроме оружия, новые партии спасенных моряков с погибших кораблей в нашу гостиницу. Она была переполнена и гудела, как улей, не замолкая даже ночью. Кого только тут не было! Пожалуй, немцев — остальные налицо, даже японцы.

Каждый вечер переполненный Интерклуб кипел, клокотал, как русский самовар. Программа не отличалась большим разнообразием — кинофильм, морская самодеятельность и два раза в неделю — бокс. Конечно, назвать драку в перчатках боксом было трудно, но тем не менее популярность этого вида развлечения среди иностранных моряков была несомненна. «Бокс» можно было наблюдать и в остальные две недели, особенно в ресторане, дансинге и кафе. Чего-чего, а в морду бить друг друга наши союзники умели в совершенстве — точно по схеме кинобоевиков далекого Запада.

Ожидание наше становилось день ото дня все тягостней и неопределенней. Мы ждали каравана и не менее напряженно — вестей с фронта. Гитлер отдал третий приказ о взятии Сталинграда — «во что бы то ни стало к 14 ноября».

К этому времени сражение под Сталинградом достигло таких размеров, каких не знала еще история войн. Вести с фронтов были тревожны. Мы понимали, что эти тяжелые дни решали исход войны. Не знали тогда только того, что уже бои 14–18 октября решили участь Сталинграда.

А корабли все прибывали и прибывали. Многочисленные причалы огромного Архангельского порта переполнялись ими до предела. И, наконец, пришел долгожданный последний караван. Вся Северная Двина покрылась судами и густым лесом мачт с флагами больших и малых союзных держав. Началась спешная разгрузка — надвигалась зима, полярная ночь и замерзание Двины и Белого моря.

Из глубоких трюмов краны, как цапли в болоте, длинными клювами, выуживали огромные зеленые танки «шерман», фюзеляжи «харрикейнов» и «бостонов», а «студебеккеры» и «доджи» уже сами катились по пирсам в город — на товарную станцию, на фронт. Мы только успевали снимать — день был очень короток, а кинопленка мало чувствительна.

— Да, друзья, приходит и наш черед, — задумчиво произнес Василий Васильевич Соловьев.

Мы начинали понимать со всей серьезностью, что нас ждет впереди, а вопрос о нашем возвращении, глядя на «утопленников», был весьма проблематичен, и пыл нашего энтузиазма заметно угас. Становилось холодно не только на улице, но и в номере гостиницы, и согревались мы только в постели, напялив на себя все, что только было в наших возможностях.

— Ну и погода! Брр! Просквозило до костей! Руки-ноги как деревянные, — пожаловался Коля Лыткин, с трудом снимая мокрые сапоги.

— Ладно, ладно! Давайте малость обсохнем и пойдем вниз греться. А то Микоша говорит — не успеем, могут прилететь «гости».

— Догадаться несложно! Двина забита до отказа кораблями и техникой…

Договорить мне не пришлось — помешал пронзительный впервые услышанный в Архангельске сигнал воздушной тревоги.

Мутные синие сумерки обволакивали город. Сирена выгоняла людей из домов, они бежали в панике по улице, ища спасения в убежищах, а их, как на грех, было очень мало. Город быстро опустел.

— Как только начнут бить зенитки, откроем окна. Иначе будем на морозе — их разнесет от взрывной волны… — Мой севастопольский опыт пригодился.

После бомбежки, когда весь город был без стекол, мы спокойно закрывали целые и невредимые окна и согревались.

Наступило томительное ожидание, сидеть под крышей и ждать себе на голову бомбы не очень хотелось, и я предложил ребятам:

— Кто хочет, поднимемся на крышу, а в случае чего поможем гасить зажигалки.

— Я останусь и займусь окнами! Идите! — И Вася начал звякать шпингалетами.

Мы поднялись на крышу гостиницы и вместе с дежурными ПВО стали ждать приближения немцев. Прожекторы шарили по темному серому небу, лучи нервно метались из стороны в сторону, ничего не находя. Вдруг в районе Бакарицы с большой высоты полился на город огненный поток. Ярким фейерверком он падал вниз. Когда его первые раскаленные струи коснулись домов, высоко к небу взметнулось красное пламя. Такого я в Севастополе не видел. Это была зажигательная смесь. Зенитный шквал надвинулся и совсем задавил город. Фашистские самолеты вместе с фугасными бомбами засыпали город зажигалками, а бороться с зажигательной жидкостью было невозможно — загоралась она на лету от соприкосновения с воздухом. Мы стояли молча на коньке крыши, прижавшись к трубе, и с беспомощной яростью наблюдали за происходящим. Потемневшее небо гудело моторами пикирующих самолетов. Сколько их было, неизвестно — наверное, очень много. Зенитный грохот то нарастал, то таял вдали. Нам с крыши хорошо были видны очаги пожарищ, очаги поражения. То далеко, то совсем близко занимались пламенем все новые и новые кварталы деревянного Архангельска.

Раздался резкий, хорошо знакомый, нарастающий рев

пикирующего «юнкерса», другого… Он распластал всех на холодной железной крыше.

И тут же послышались вокруг характерные хлопки зажигательных бомб. Несколько штук угодило и в здание гостиницы. Те, что не пробили кровлю, мы сбрасывали лопатами вниз. На чердаке хватали их клещами и топили в ведрах с водой. Но бомбы продолжали гореть, вода кипела. Только песок укрощал термитное пламя. Повозились мы все крепко, но пожару возникнуть не дали. Рядом, через улицу, заполыхал деревянный двухэтажный дом. От сажи мы стали неотличимы от негров — «утопленников».

Глядя друг на друга, мы хохотали, не узнавая, кто есть кто, а кругом бушевало, как море, пламя, освещая наши перепачканные сажей лица, и со стороны могло показаться, что мы все сошли с ума — в такой трагический час хохотать действительно могли лишь полные идиоты. Смех наш, конечно, был разрядкой нервного потрясения. И скоро он сменился тревогой. Рядом, через улицу, все было в огне.

Вернувшись в номер, мы застали Васю сидящим в шинели у открытого окна — он грелся от жара горящего дома напротив. Сыграли отбой, и все кинулись закрывать окна. Не помогли закрытые окна от шума и треска огня. Все это до боли напоминало мне Севастополь, и сердце затосковало, заныло, просясь обратно домой, в Севастополь. Наша гостиница была маленьким островком среди бушующего моря огня. От жара со звоном лопались уцелевшие от взрывной волны стекла. Стены и крышу нашего «Интуриста» беспрерывно поливали из пожарных шлангов. Всю ночь до утра шла отчаянная борьба с огнем. А фашисты, пользуясь световым ориентиром, несколько раз возвращались и бомбили город тяжелыми фугасами.

Женщины с детьми метались между горящими домами. От яркого пламени пожарищ было так светло, что мы решились снимать… Мы снимали, как английские и американские моряки самоотверженно, не щадя себя, помогали населению в этом страшном бедствии. Они смело бросались в самое пекло и с риском для жизни спасали детей и стариков из охваченных пламенем зданий.

— Ах, жаль, темно здесь, смотри, вот молодец, ну и парень! — сетовал и восторгался Халушаков.

Долговязый, симпатичный матрос с рыжей, как пожар, шевелюрой, спокойно вышел из парадного горящего дома с двумя маленькими детьми на руках. Можно было подумать, что он вышел на прогулку — так нежно, по-матерински успокаивая их на своем языке, он шел, не замечая, как горела его синяя матросская

роба.

— Так ведь никакой актер не сыграет, вот досада! Света бы сюда хоть немного! — горевал Коля, держа в руках камеру.

Из толпы выбежала мать. Она бросилась к матросу, схватив детей, и убедившись, что они в порядке, начала целовать парню руки, голову.

— Спасибо, миленький! Родненький ты мой! И откуда ты, хороший!.. — Женщина плакала от счастья.

Красный, смущенный моряк говорил что-то по-английски, но видя что его не понимают, показал на плачущих детей пальцем и снова бросился в огонь. В момент, когда начала рушиться кровля, он выскочил дымящийся, держа в руках большой белый сверток.

— Ну, слава богу! Вот черт какой, сколько времени держал всех на взводе, — со вздохом облегчения сказал Халушаков.

Вздох облегчения был общим. Но как велико было удивление всей толпы и самого матроса, когда из открытого свертка показалась большая кукла. Дети получили куклу, перестали плакать, а моряк ринулся дальше помогать людям.

Деревянный Архангельск превратился в сплошной костер. Стало светло, как днем, жарко, как в Африке.

Мое внимание привлек дом профсоюза моряков. На нем во весь фасад висел огромный портрет Сталина. Из окружавших его окон языки пламени со всех сторон набросились на его лицо. Оно, как живое, к моему ужасу, от страшной боли в судорогах стало, наморщив лоб и брови, коробиться, а рот из-под охваченных пламенем усов взывал о помощи. Я стоял, как завороженный с камерой в руках, не имея сил оторвать взгляда от происходящего. Неужели с ним может произойти… Нет… Нет! Даже думать не надо…

А самолеты больше не появились. Словно их главной целью был не город, не порт, не корабли, не дома, — а этот огромный портрет, который так долго держался в стороне от огня, и так мгновенно сгорел, как только огонь добрался до него…

РОЖДЕСТВО В ВЕСТМИНСТЕРЕ

Лондон, зима 1942 года

Не дай мне Бог сойти с ума…

А. С. Пушкин

Мы проснулись, когда в иллюминатор ласкался рассвет. Наш пароход «Тбилиси», на котором мы с оператором Халушаковым шли из Архангельска в Лондон, шел медленно, казалось, даже стоял на месте. Тонко пищала наверху морзянка.

— Когда же он спит?.. — начал, зевая, Халушаков и вдруг крикнул в тревоге: — Смотри! Скорее, скорее! Что это?

В открытую дверь было видно, как мимо нас проплыла торчащая из воды мачта, ее верхушка. Мы так быстро не одевались даже по тревоге. Схватили камеры и выскочили из каюты. Было серо. Солнце еще не показалось, и света для съемок не хватало…

— Что это? Идем, как через кладбище — кресты, кресты…

Халушахов стоял рядом у фальшборта с камерой наготове в таком же недоумении, как и я. Слева и справа по борту проплывали покосившиеся кресты мачт лежащих на дне потопленных кораблей. Мой друг снимал и приговаривал:

— Бог мой! Сколько их тут!

Передо мной невольно возникла «Червона Украина», лежащая на дне у Графской пристани. Так же торчали из воды покосившиеся кресты мачт, и так же грустно стонали на них чайки…

Чем ближе мы подходили к Темзе, тем сильнее накатывала тяжелая канонада. Воздух сотрясался от глухих залпов крупнокалиберной береговой артиллерии из Англии, и ответной — из Франции.

— Дуэль через пролив? Чертовски интересно! Но как снимать?

— Запишем на звук. Сначала — вой снарядов над проливом, потом звон посуды в буфете кают-компании, — ответил я шуткой.

Далеко над нами пронеслись стремительные «спитфайры». Выглянуло помятое солнце и пронизало туманную дымку золотыми стрелами. Выше тумана, описывая большие спирали,

летели морские бомбардировщики «сатерленды». Вдали с громким грохотом вонзился в море снаряд — один, другой, третий. Высокие фонтаны вздыбили море. Тяжко звякнула в буфете стеклянная посуда. Прошел мимо Лондона караван. Тяжелый снаряд разорвался довольно близко от «Тбилиси».

…Англия встречала наши корабли радостно. Стихийно возникали митинги на палубах, пирсах, улицах, в клубах. Встречи происходили всюду — случайные и организованные. И все были теплыми.

Мы не могли не волноваться. Нас трогало тепло встреч, понимание никогда ранее не встречавшихся и никогда ранее не понимавших друг друга. Мы радовались: на пленке оставались редкие по силе воздействия кадры.

— Почему бы вот так не жить всем людям на земле? Неужели для того, чтобы понять друг друга, необходима такая тяжелая встряска, как война?

Халушаков вытер вспотевший лоб и стал укладывать в кофр аппаратуру.

Мы воспользовались посольской машиной и поехали по нашему адресу. Лондон предстал перед нами сразу, как только мы выехали из ворот «Сори комершл дока». Лабиринты серых с пестрой рекламой узких улочек, заполненных людьми, машинами и неуклюжими двухэтажными автобусами, надвинулись на нас, оглушая, и, поглотив, понесли в левостороннем потоке. Все было новым, необычным, чужим, и мы молча катились вперед, изредка останавливаясь на перекрестках перед белой перчаткой высоченного полисмена. Я смотрел на приземистые закопченные дома, маленькие магазинчики, кафе, бары, забегаловки. Мы проезжали рабочий район города. Мне стало невыносимо грустно. И это Лондон? Настроение моего друга от моего не отличалось… Только потом, объехав почти весь мир, я привык к тому странному ощущению, которое бывает, когда твои представления о чужих странах и городах сталкиваются с реальностью. Как правило, представление всегда более многообещающе, чем реальность, и первое, что испытываешь вперемежку с любопытством, — разочарование. И только потом, когда узнаешь ближе любой город, его улицы, его привычки, начинаешь понимать, что он неизменно интереснее того, что ты от него ждал.

В первые часы здесь, в Лондоне, кроме разочарования, на нас навалилась страшная боль и тоска — развалины Лондона были похожи на развалины наших городов. То слева, то справа нам попадались черные провалы разбитых и снесенных вместе с фундаментами домов. Некоторые развалины еще дымились, и

серые в грязной одежде люди разбирали завалы.

Наконец мы попали в посольский район на Кенсингтоне. В туманной дымке замер пронизанный косыми лучами солнца Гайд-парк. Непривычной для нас, москвичей, была ярко-зеленая трава под голыми деревьями и многочисленные крикливые чайки. Над самой травой пригнули свои острые серебряные головы аэростаты ночного воздушного заграждения — словно стадо доисторических чудищ завладело зеленой лужайкой и преспокойно щиплет траву между деревьями.

Кенсингтон Палас Гарден Файф — старинный двухэтажный коттедж с садом. Мы приехали. Нас встретил представитель нашего кино Петр Гаврилович Бригаднов. В его уютном домике мы почувствовали себя дома. И через несколько дней поселились здесь, на втором этаже, не прижившись в роскошном отеле «Кэмберленд» на Оксфорд-стрит.

Сад нашего дома — дома Бригаднова — примыкал к Гайд-парку. Из окон виден он весь, пронизанный туманом. Он проглядывал сквозь большие окна мягким карандашным рисунком. Каждое утро мы наблюдали, как в соседнем саду, обнесенном высокой колючей проволокой, прогуливаются пленные фашистские генералы. Первым появлялся высокий, черный.

— Я смотрю на него, и у меня в груди закипает!

— Ты знаешь, он похож на Гесса и прихрамывает на одну ногу…

— Может быть, это он и есть?

Так мы и прозвали его Гессом.

Соседство, прямо скажем, не из приятных, но, как выяснилось позже, сюда немцы не сбросили ни одной бомбы.

…Теперь мы ждали первого каравана в Америку, а чтобы время не проходило даром, приступили к ознакомлению с Лондоном.

Вскоре мы освоились с новизной и необычностью чужого города и перестали удивляться окружающему нас укладу. После посещения национальной галереи на Трафальгар-сквер наш друг Герберт Маршалл привез нас в музей мадам Тюссо. Здесь всегда находчивый Коля попал впросак. Он предъявил входной билет контролеру у дверей и стал ждать с протянутой рукой, пока тот предложит ему войти, но контролер вежливо молчал. А Коля вежливо ждал, пока Герберт не грохнул от смеха.

Как оказалось, с этого билетера и начинался музей восковых фигур, и, как правило, большинство посетителей на этом попадалось. Первыми экспонатами после этой смешной истории были Рузвельт, Черчилль, Молотов, Сталин. Трудно было

поверить, что это восковые фигуры. Они стояли в естественных позах, как бы оживленно разговаривая друг с другом. Мы в изумлении обходили все новые и новые экспонаты этой выставки — здесь были представлены все знаменитости прошлого и настоящего, совершенно как живые. Впечатление было сильное и жутковатое.

Так шли дни. Мы с нетерпением ждали конвоя в Соединенные Штаты — скверно было сидеть без дела и ждать у моря погоды.

Каждый день Лондон открывал перед нами новые и новые кварталы. То мы попадали в Средние века, то в хаос руин и океан пламени. Вокруг собора святого Павла все превращено в руины, и только он один стоит среди огромного пустыря. Его стены покрыты копотью. Одна из бомб пробила алтарь.

— Вот отсюда мы начали закалять свою волю и мужество, здесь родилась наша настоящая ненависть к немецкому фашизму, — сказал Герберт.

— Наверное, здесь же родилась симпатия к русскому народу?

— Моя симпатия к вам началась с ГИКа, когда я учился с тобой, Владик, и с тобой, Коля. А русскому народу, вернее, русскому солдату Англия обязана свободой. Вы, советские люди, приняли весь удар на себя. Представить страшно, что было бы, если бы этот удар был направлен на Англию! Мы, простые англичане, этого никогда не забудем.

Симпатию английского народа мы ощущали на каждом шагу. Особенно ярко она выражалась в кинотеатрах, когда на экранах появлялась наша хроника с фронтов войны. Как правило, она шла под аплодисменты. А фильм «День войны» режиссера М. Слуцкого произвел сенсацию в Лондоне. Нам, участникам съемок этого фильма, было особенно приятно видеть такую искренность и солидарность англичан с нами.

После окончания сеанса на сцене рядом со скульптурой Ленина, украшенной розами, выступали взволнованные ораторы, призывая немедленно открыть Второй фронт.

С огромным интересом в эти дни лондонцы знакомились с советскими фильмами, литературой, поэзией.

Мы все больше и больше привыкали, сживались с Лондоном. Мы полюбили этот огромный город-музей. Мы почти раскрыли секрет его бесконечных путанных улиц. Мы полюбили его самоотверженный, мужественный народ.

…Сегодня ночью небо было особенно шумным. Сотни бомбардировщиков, пролетая над Лондоном, уходили бомбить Берлин. Всю ночь звездный купол гудел, и только к рассвету наступило спокойствие. Утренние газеты в своих заголовках сообщили о крупном налете на Берлин, Гамбург, Штеттин…

— Да, теперь надо ждать ответного визита… — мрачно сказал Коля.

— Туман помешает. Хорошо бы, продержался пару дней.

— И ночей! — добавил Халушаков.

Как назло, к вечеру густой туман начал разрываться. Его разрубили косые лучи заходящего солнца. Он частями открывал город. Внезапно появились из серой вуали отдельные городские ансамбли. В розовом небе четко проявились, бликуя, огромные черные стрелки, и, медленно вырастая из ничего, как привидение, возникла часовая башня Биг-Бена. Четыре часа тридцать минут по Гринвичу. Засверкала расплавленным металлом Темза, и повис над ней мутный сиреневый силуэт Тауэра.

Под ногами хрустело битое стекло. Мы уже привыкли к нему. Его не успевали убрать. Было тепло. Зеленая, как анилин, трава подстриженных газонов непривычно действовала на нас — декабрь был на исходе. Мы, привыкшие к рождественским морозам, никак не могли спокойно реагировать на несоответствие здешней природы.

Лондон, Москва. Где-то посередине Архангельск — яркий факел войны. Ледяная Исландия — Акурейри. Странные превращения. Штормы и атаки подлодок в Баренцевом море. Норд-Кап, Ян-Майен, обрывки сигналов SOS: «Торпедированы. Высаживаемся на шлюпки… ведем огонь… помогите! помогите, тонем!..» Сигналы, сигналы, сигналы… на разных языках, и у всех одно желание — жить. Хотим жить! Баренцево море, косая слепящая пурга… «Помогите, хотим жить…»

Мы идем по военному Лондону. Туман, подхваченный порывом сырого ветра, унесся во Францию. Солнце завалилось за зубчатку домов. Наступили сумерки, ни одного огонька в городе, только светофоры, спрятанные в длинные раструбы козырьков, заиграли отражением на мокром асфальте.

— «Ингрид Бергман в новом фильме "Интермеццо"», — громко прочел на фасаде кинотеатра Халушаков.

— Зайдем?

Мы смотрели фильм о музыканте — фильм, далекий от войны. Вдруг среди зрителей в проходе появилась девушка с фонариком. «Воздушная тревога! — помигав светом, сообщила она. — Все желающие могут пройти в убежище!»

Мы думали, что фильм прервется и все ринутся на выход. Но произошло неожиданное — сеанс продолжался, и все остались на своих местах. Поет на экране скрипка, улыбается очаровательная Ингрид, а за стенами кинотеатра стонет ночь от грохота зенитной артиллерии. Тяжело вздрагивает здание от взрыва тонных бомб. На секунду мигает экран, затемняя улыбку актрисы. А зрители

сидят и смотрят фильм, они не очень спокойны за свою жизнь, но их выдержка, дисциплина, сила воли удивительны. Досмотрели картину, и все встали, как по команде, когда после надписи «конец» на экране появился король Великобритании Георг VI при орденах и медалях. Зазвучал гимн.

Мы молча вышли на улицу. По темному небу в беспокойстве метались яркие лучи прожекторов. Где-то в разных концах города били дробно зенитки, и видно было, как скрещенные мечи держали в своей крестовине светящуюся звездочку. Она виляла, меняла высоту, пытаясь выскользнуть, порой это ей удавалось, но лучи снова ее настигали. Вышедшие из кино зрители замерли, наблюдая за небом.

— Смотрите! Зенитки перестают бить, сейчас истребители свалят его!

Не успел я докончить фразу, как светлые трассы настигли немецкий тяжелый бомбардировщик. Взрыв. Один из лучей остановился на белом облачке, другие заметались, а вниз, как метеор, с воем полетел самолет. Через несколько секунд огромная вспышка озарила зубчатый силуэт Лондона. Все стихло.

Захрустело под ногами битое стекло.

Я вспомнил о том, о чем утром рассказывал нам Герберт: в первые дни войны отнесшиеся к ней как спорту англичане устраивали торжественные похороны сбитым над Лондоном немецким асам. Странное выражение традиционного «рыцарского духа»! Как они сейчас, наверное, смеются над собой!

Завтра Рождество. Герберт пригласил нас сегодня в Сочельник посетить Вестминстерский собор во время службы.

Мы вошли в храм из темноты ночи. Он был переполнен людьми, стоящими плечом к плечу. Старые и молодые, мужчины и женщины, военные… Слабый оранжевый свет большой свечи, мерцая, наполнял огромное помещение собора. Мы примостились недалеко от входа, у самой стены.

Полумрак, спокойный и торжественный голос пастора, казалось, заполнял все пространство под куполами.

Пастор читал проповедь. Все внимательно слушали. Теплый свет свечи мягко рисовал серьезные лица людей. Мы стояли молча, на приступок выше всей толпы, осваиваясь в непривычной обстановке. Можно было хорошо все разглядеть. Мой взгляд скользил и останавливался на лицах незнакомых мне людей. Такие же, как мы. С такими же чувствами. Серьезные, строгие, печальные с влажными глазами застыли в глубоком раздумье, а голос проповедника четко, слово за словом, фраза за фразой проникает в сознание, глубоко трогает каждого.

Слушая пастора, я понимал только общий смысл проповеди,

и этого было достаточно:

— Бог, война, Христово Рождение, испытание, долг, патриотизм, победа.

Когда пастор произнес слово «виктори», раздался сильный звук сирены. Мы невольно взглянули вверх. Одного из куполов собора не было — несколько дней назад его пробило бомбой. Над нами в проломе мерцали яркие звезды. Небо полосовали прожектора. Не успел проповедник произнести «Аминь», как началась бомбежка. При первом взрыве упавшей вдали бомбы все стоявшие опустились на колени, а мерцающий полумрак наполнился вибрирующими звуками органа. Только мы, «нехристи», небольшой группой стояли, прислонившись к холодной стене. Стояли, нарушая общую гармонию единения духа. Я не знаю, как мои друзья, но я впервые ощутил себя вне общества. Хотелось, как в Севастополе, припасть на колено… Взрывы шли один за другим, тяжело сотрясая стены собора.

Здесь, у наших ног, под мраморными плитами похоронены Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, здесь в главном нефе под тяжелой мраморной плитой, в земле, взятой с поля сражения, покоится прах неизвестного солдата Первой мировой войны. Здесь же впоследствии будет установлена плита со списком мирных жителей, погибших при обороне Великобритании, будет записано много славных имен. Но не будет в ней ни одного имени погибших летчиков бомбардировочной авиации…

Взрывы шли один за другим. Совсем близкие, когда казалось, стены храма не выдержат и обрушатся на нас, и далекие…

Тяжелые и плавные аккорды органа то заглушали их совсем, то, затихая, уступали им соло. Вдруг где-то впереди запел сильный баритон, и в соборе, подхватив молитву, запели ее, заглушая и взрывы, и зенитную канонаду, и свист бомб.

Ни один человек не струсил, ни один не ушел в убежище.

Высоко над нами в проломе купола среди звезд сверкали яркими вспышками зенитные разрывы. Тяжелые аккорды органа, заглушая грозные взрывы огня, окутали непроницаемой броней молящихся, как бы оберегая их…

Так родился Христос в Лондоне в конце декабря 1942 года. Как торжественный гимн, прозвучал над рождественским Лондоном мелодичный сигнал отбоя воздушной тревоги. Его звуки, казалось, родились под звездами и, падая вниз, нарастая, заполонили горящий город.

Мы молча шагали. Из-под ног, позванивая, летели осколки разбитых витрин. Светофоры, таинственно пряча глаза, роняли капли цвета на сырой асфальт.

В воскресенье утром, когда оранжевое солнце поднялось над

Лондоном и, пробиваясь острыми лучами сквозь розовый туман, озарило древние силуэты башен, мостов и замков, в Гайд-парке, как в старые добрые времена, показались важные седые джентльмены в котелках и цилиндрах и сухие леди с лорнетами. Они прогуливались, ведя на сворках не менее породистых, чем они сами, бульдогов, болонок, скотч-терьеров. А по прямым широким аллеям на не менее породистых скакунах медленным шагом дефилировали амазонки. А рядом, в том же Гайд-парке, на большой поляне, огороженной колючей проволокой, женская военная команда противовоздушной обороны готовила огромный аэростат воздушного заграждения. Все парки Лондона потеряли с войной свои массивные чугунные ограды. Проходя по Кенсингтону, мы видели, как рабочие тяжелыми молотами разбивали уцелевшие остатки.

— Доброе утро! Как дела? — приветствовал их Коля.

— Фифти-фифти! Пусть эта проклятая тяжесть упадет завтра на идиотскую голову Адольфа! — сказал один из рабочих, помахав нам приветливо рукой. — Черчилль и Сталин добьют его! — И он сложил два пальца в знаке «виктори» — «победа».

В светло-голубом небе застыли серебряные рыбы — аэростаты. На улицах, в парках с веселым криком вьются белые стаи чаек.

У подножия колонны Нельсона чьи-то заботливые руки разбросали красные и белые розы.

Голуби, голуби. Тысячи голубей. Порой блекнет на секунду солнце, когда они взлетают в небо.

А каравана все нет и нет. Так незаметно наступил новый 1943 год. Третий год войны. Грустно нам было встречать его вдали от Родины.

Мне и моим товарищам было не по себе находиться в тепле и свете за сервированным столом в нашей фронтовой форме среди празднично одетых людей.

Мы знали, что в это время дома, в России, решаются судьбы войны, судьбы будущего мира. Всеми мыслями, душой и сердцем мы были там…

— Не теряйте время даром. Знакомьтесь с кино, а я вам в этом помогу, — сказал нам Бригаднов еще в самом начале, когда мы только познакомились с ним.

И действительно, Петр Гаврилович почти каждый день знакомил нас с лучшими фильмами Англии и Америки… Мы стали частыми посетителями лучших кинотеатров Лондона — «Эмпайр», «Одеон», «Реальти», «Плаза», посмотрели «Унесенные ветром», «Кровь и песок», «Бэмби», «Сан-Франциско», «Гамлет» с Лоуренсом Оливье…

В эти дни в Лондоне появилась яркая реклама — «Чарли Чаплин — Адольф Гитлер». — «Смотрите все: фильм — сенсация! — «Великий диктатор».

Нас пригласили в большой кинотеатр «Одеон». Имея пригласительные билеты, мы еле пробрались через густую толпу, бравшую «Одеон» приступом. Пока не погас свет, мы, четыре фронтовых кинооператора — Николай Лыткин, Василий Соловьев, Рувим Халушаков и я, — были под пристальным вниманием окружающих нас зрителей «Одеона».

— Русские моряки! Смотрите, смотрите! Русские моряки!..

Наконец свет погас. Сначала на экране появился король Георг — обязательная «заставка» перед любым фильмом в английском кинопрокате того времени. А затем на экране появился маленький человечек и большая пушка. Фильм начинался с эпизода у пушки «Большая Берта», в расчете которой служил маленький парикмахер. Примерно такая же пушка много дней кряду обстреливала Севастополь. Только звали ее не «Берта», а «Дора», и была она покрупнее калибром. Каждый взрыв ее снаряда гигантским грибом взмывал в небо, коверкая город и его окрестности. С того дня, когда меня, контуженого, вывезли из Севастополя, прошло слишком мало времени, и фильм воспринимался с болью незатянувшейся раны.

Действие фильма медленно развивалось, и я все больше втягивался в ситуации, в которые попадал маленький солдат… И чем больше я увлекался действием на экране, тем больше меня охватывало неизъяснимое волнение…

— Ты чего ерзаешь? — спросил меня мой сосед Вася Соловьев.

Я видел во весь экран Чаплина в роли Гитлера, и чем чаще, больше и крупнее появлялся он на экране, тем сильнее становилось его, даже не сходство, — что-то общее и страшно близкое с нашим «отцом родным»…

— Что ты вертишься? Мешаешь смотреть! — сказал сидящий слева оператор Халушаков.

Я не вертелся. Я оглядывался — то на Васю, то на Халушакова. Мне почему-то казалось, что они читают мои мысли, и им передалось мое волнение… Гитлер — и вдруг… Что могло быть общего между ним и Сталиным?

— Тебе что, жарко? У тебя лицо мокрое! — как-то странно посмотрел на меня Вася. Неужели догадался, о чем я сейчас подумал? От этих мыслей мне действительно стало жарко, и спина у меня взмокла. Я сидел среди близких друзей — фронтовиков, от них у меня никогда не было никаких секретов, и вдруг я испугался — не передалась ли суть моего волнения им?

Это было самое страшное из лондонских впечатлений: неизъяснимое и несомненное сходство, которое я увидел вдруг ясно и непреложно…

«ТИХАЯ РОЩА»

Атлантика, январь — февраль 1943 года

Когда в декабре проводку конвоев снова возобновили, причем зловещий PQ был заменен, немецкий флот еще раз намеревался помешать их движению…

Дэвид Ирвинг. «Разгром конвоя PQ-17»

«Тихая роща» — так назывался большой английский теплоход, на котором нам с Колей Лыткиным предстояло пересечь кипящую в войне Атлантику. Кроме команды на борту корабля до нашего прибытия уже было одиннадцать пассажиров. Кто-то из нас двоих стал тринадцатым, и моряки бурно обсуждали это ЧП, категорически протестуя против тринадцатого, и старпом даже предложил одному из нас перейти на другой корабль. Чудом нам удалось уговорить капитана и команду со старпомом, пообещав им, что мы непременно принесем кораблю удачу… Как они в это поверили — так и осталось для нас загадкой, потому что на корабле даже не было каюты № 13 — как и в любом отеле… Английское суеверие так же неколебимо, как и английские традиции.

Мутной влажной ночью «Пасифик Гроуд» («Тихая роща») вместе с другими кораблями покинул тревожную Европу. Спокойно, тихо приняли нас огромные волны Атлантики… Наутро в кают-компании мы предстали перед остальными пассажирами.

После короткого знакомства мы с Колей стали центром внимания не только пассажиров, но и всей команды.

Нас посадили за обеденный стол вместе с пожилым, высоким, сухощавым джентльменом.

— Мистер Флит! — представился он. — Бизнесмен, капиталист! Не страшно? Наш путь долог и опасен, надеюсь, мы будем хорошими друзьями! Меня нисколько не смущает, что вы коммунисты. А как вас — общество капиталистов не будет шокировать?

Мы все весело рассмеялись.

— Живем на одной маленькой планете — приходится считаться друг с другом. Нам теперь предстоит долгое время просидеть за одним столом, рискуя каждую минуту нырнуть на дно океана. Итак, молодые люди, здесь, среди океана, все мы, как перед Богом и смертью, равны!

Первое время мы удивлялись, когда мистер Флит задавал нам невероятно смешные, неожиданные и нелепые вопросы:

— Почему в Москве, кроме «барыни», ничего не разрешают танцевать? Правда ли, русская балалайка служит эмблемой национального искусства?.. Почему зимой во время сильных морозов на улицах Москвы едят мороженое?

Мы рассказывали много и, как нам казалось, убедительно. Все наши рассказы были восторженно патриотичны и абсолютно искренни. Те «теневые» стороны нашей жизни, которые мы видели или ощущали в жизни страны, были для нас неизбежным и необходимым злом в борьбе нашего первого в мире социалистического отечества с врагами — внешними и внутренними, и даже то, что представлялось каждому из нас чрезмерным или даже несправедливым, было издержками этой неизбежной и необходимой борьбы за выживание страны. И если дома между собой мы говорили об этом крайне редко и невероятно доверительно — как самому себе, — то в разговоре с «чужими» у каждого был свой внутренний строгий запрет на любой разговор, который бы не был «во славу отечества». И разговоры эти были естественны, как естественно дыхание.

Мы много смеялись — почти над каждым вопросом мистера Флита. Впрочем, наверное, и наши вопросы были порой не менее смешны и нелепы. Как нам казалось, мистер Флит все больше и больше узнавал об СССР из наших рассказов, все больше понимал нашу великую Родину. Мы много говорили ему о Ленине, о своем понимании того, что происходит в мире. Скорее всего, это были популярные лекции по марксизму-ленинизму. Но объясняли, что называется, «на пальцах»: ну, например — «война справедливая и не справедливая». За примерами далеко не ходили — горящий Лондон и покорение англичанами Индии…

Он, в свою очередь, не пытался обратить нас в свою «веру» — не объяснял своего понимания мира и событий в нем, он был намного старше нас, опытней и мудрей.

— Вы очень способные ребята! Без особого труда можете уговорить любого миллионера отдать свои доллары или фунты стерлингов на благо трудящихся.

Потом он, загадочно улыбнувшись, приставил палец к губам и тихо сказал:

— Меня вы уже наполовину превратили в коммуниста!..

Вскоре после Белфаста начался шторм. Огромные валы катились нам навстречу. Наш «Пасифик Гроуд», один из самых больших в караване, выглядел на этих волнах жалкой скорлупкой. Он скрипел и стонал, как живой, забираясь на вершину седой громады, и вдруг, охнув, стремительно нырял в темную зеленую бездну. И в то же мгновение тяжелый седой гребень накрывал его по капитанский мостик. Звонкие удары ледяной волны грохотали по всему кораблю. Волны били мощным тараном в капитанский мостик, в белую стену кают-компании. Толстые иллюминаторы держали зеленый напор бешеной стихии и на короткое время теряли дневной свет. Шторм выгнал всех пассажиров из кают-компании, а на обед пришли только мы одни. Но не успели сесть за стол, как появился с веселой улыбкой мистер Флит.

— О! Вы настоящие моряки! Мне особенно приятно видеть вас в это трудное время.

— А вы не боитесь качки, мистер Флит?

— Мой отец и все братья — моряки, и я горжусь этим! И это мой семидесятый деловой рейс в эту сумасбродную Америку. А штормов было намного больше, чем штилей!

Первое блюдо мы ели балансируя, держа тарелку с супом в одной руке, а ложку в другой. Мистер Флит рассказал нам многое, что не написано в истории Англии и Америки. Он, как оказалось, не очень любил американцев и их образ жизни.

— О, вы ничего не знаете про эту страну! Америка — страшная страна! Вы это поймете, когда близко встретитесь с ней! Да, да! Будьте очень осмотрительны и осторожны там! Наши торговые моряки в Нью-Йорке, сходя на берег, надевают цивильную форму. Не хотят бросаться в глаза своей английской формой, чтобы избежать ненужных конфликтов. Сейчас у нас общее несчастье — война, и мы должны быть терпимы друг к другу.

— Да, но Америка наш союзник! — перебил Коля.

— Америка — деловой союзник, американским бизнесменам выгодна эта война, она приносит в их карманы несметные доходы. В любую минуту, если они потеряют выгоду, продадут нас с вами, вместе взятых. Америка — страшная страна… — добавил мистер Флит и, подперев подбородок руками, задумался.

— Вы не любите Америку, а вот в семидесятый раз идете ей навстречу?

— Не по любви, уверяю вас. Бизнес — жестокая вещь. Я вынужден, иначе мое дело вылетит в трубу и я встану с протянутой рукой на Пикадили-серкус. Да-да, не улыбайтесь — капитализм прямо по Марксу!

…Наш караван шел через Атлантику в балласте. Корабли

высоко сидели над водой. Качка была стремительной и немилосердной. Укачивало даже молодых матросов. Дул сильный встречный ветер. Капитаны беспокоились о топливе. Оно таяло, как снег, а ход сильно тормозился высокой волной.

Через семь дней пути несколько кораблей небольшого тоннажа повернули обратно, Капитаны решили, что при таком медленном ходе не дотянут до Нью-Йорка. Караван поредел. Теперь осталось девяносто семь судов. Справа и слева, впереди и сзади ныряли, глубоко зарываясь в волнах, корабли. Они шли правильными рядами, строго в кильватер друг другу. Мачты дальних прятались за серый зубчатый горизонт. Изредка появлялись сопровождающие нас небольшие военные суда — истребители, они то обгоняли нас, оставляя пенные узоры на волнах, то, зарываясь и кренясь круто на борт, шли близко-близко параллельным курсом, радуя нас хорошей возможностью поснимать их.

Мы с камерами наготове подолгу торчали на палубе в надежде на всякие неожиданности. Ветер стегал нас солеными брызгами океана, а мы, пряча от них оптику, тихо, незаметно для других тосковали по дому.

— А знаешь, что мне рассказал радист Джордж? Там, за этой взбудораженной массой воды на Манхеттене, светло по ночам, нет никакого блекаута, никаких шелтерс, а у небоскребов затемнены только верхние этажи, начиная с двадцатого. Это чтобы фашисты в подлодках не могли по ночам наблюдать в стереотрубы, чем занимаются у себя дома в Нью-Йорке «притти герлс»!..

Каждый вечер после вахты к нам в каюту заглядывал восемнадцатилетний паренек в морской форме офицера-радиста. Вскоре мы стали настоящими друзьями и в свободное от вахты время подолгу болтали на разные темы. Он оказался очень развитым, умным и начитанным парнем, отлично разбирался в международной обстановке и очень близко к сердцу принимал успехи и неудачи наших войск под Сталинградом. То вбегал к нам в каюту и радостно кричал:

— Виктори! Виктори!

То уныло и грустно, понизив голос:

— Скверные новости! «Ноу ньюз — гуд ньюз!».

Вот и сейчас он подошел к нам расстроенный.

— Ну, как дела, Джордж? — в один голос спросили мы его.

— Что вы думаете о нашем путешествии? — первый раз Джордж, не ответив на вопрос, задал свой.

— О! Экселент! Уандерфул! — поспешил ответить Коля.

— А как ты думаешь, Джордж? — спросил я его.

Обняв нас за плечи, он наклонился к нам близко-близко и тихо сказал:

— У меня есть для вас большой секрет! Очень большой секрет! Только вам, фронтовикам, русским, могу его доверить!

Он внимательно и грустно посмотрел, сначала мне, потом Коле в глаза и сказал:

— Да, новости, которых лучше бы не знать! Я знаю больше, чем хотелось бы знать! Я знаю код немецких подводных лодок. Вчера ночью немцы дали команду к нападению на наш караван. Через два-три дня начнется ад — кому-то придется идти на дно… Я рассказал вам об этом, чтобы вы были готовы к несчастью и оно не застало бы вас врасплох. Будьте готовы и не забывайте лайф-жилеты, если придется прыгать за борт! Сами понимаете, я не имел права говорить вам об этом, но теперь это уже не имеет значения — вы наши друзья и союзники, а что сделали ваши солдаты для спасения Англии — знают у нас даже дети… Мой долг предупредить вас об опасности. О ней на корабле знают только капитан и мой напарник. Капитан настоящий человек и честный моряк, на него можно положиться, повадки немцев знает, живым фашистам не сдастся…

Он помолчал, потом виновато улыбнулся и добавил:

— Не унывайте! Вы ведь фронтовики! Обещали нашей команде принести счастье…

Джордж помахал нам фуражкой и скрылся в радиорубке.

Нас охватила тревога.

— Вот тебе и «Ньюз»! — задумчиво сказал Коля.

— Значит, действительно нам грозит серьезная опасность, а ты все жаловался, что снимать нечего!

— Где теперь наши? Дошли ли до Америки?

Соловьев и Халушаков шли с другим караваном, немного раньше нас.

— А если их коробку торпедировали, разве мы узнаем об этом?

— Да, положение безрадостное! До берегов далеко — что вперед, что назад.

— Центр Атлантики!

Коля глубоко затянулся сигаретой. Окутавшись облаком дыма, задумался.

— А может, пронесет? — вдруг встрепенулся он. — Тебя пронесло в Севастополе, меня на Калининском фронте… А что, если мы действительно везучие? А? Команде-то пообещали удачу?

Караван шел наперерез ледяному шторму. Мы с камерами наготове стояли на высоком капитанском мостике. Было зябко и

неуютно. Стремительное падение корабля с высокой волны в зеленую, покрытую мраморной пеной бездну и тяжелый взлет его на вершину вдруг начал невыносимо раздражать, появилась непреодолимая жажда устойчивого положения, хотя бы минуты покоя для уставшего тела.

— Ты знаешь, Коля, у меня такое ощущение, будто я в капкане, только не знаю, когда придет охотник — сегодня или завтра, а что придет, в этом я нисколько не сомневаюсь!

Колин оптимизм сдуло ледяным ветром, и он молча смотрел в бушующий океан ничего не выражающим взглядом. Так мы проторчали на ветру, лязгая зубами до обеда. Мокрые, соленые, с красными от ветра глазами, без единого снятого плана. А жизнь на корабле шла своим чередом — размеренно, монотонно и однообразно. Небольшое разнообразие вносили брэкфесты, ланчи, диннеры и вечером — карты в кают-компании.

К шторму не все пассажиры привыкли. Из тринадцати — «смыло» шестерых надолго — они отлеживались по своим каютам и, как сказал наш стюард, почти ничего не ели… Амплитуда качки была настолько однообразной и ритмичной, что мы в конце концов перестали ее замечать. Вверх — вниз, влево — вправо; вверх — вниз… и так — день и ночь… «Тихая роща» медленно двигалась вперед…

Наша постоянная вахта днем на верхней палубе и капитанском мостике была однообразной и скучной. Мы ждали интересных кадров и какого-нибудь события, но ничего особенного не происходило, и мы, усталые, продрогшие, каждый вечер после ужина наслаждались теплотой и уютом гостиной. Сюда приходили все, кто привык к качке. Коля научил веселой игре в «Акулину», нас научили играть в бридж и покер. Условились, кто выигрывал — всех угощает джином, виски, пивом — по желанию. Вскоре наша компания стала постоянной — дружной, тесной и веселой. Чета американских журналистов, возвращающихся на родину, рыжий ирландец-коммерсант, чета английских дипломатов, едущих на посольскую работу в Вашингтон, мистер Флит и двое ученых-химиков, а может, физиков, не то английских, не то немецких — они в совершенстве говорили на пяти языках и даже немного на русском.

Когда любопытство наших попутчиков было удовлетворено полностью и странные вопросы о нашем образе жизни, о науке, культуре, искусстве в «Красной России» иссякли, все, наконец, стали просто нормальными людьми, а нас перестали считать «красными дикарями с дремучего востока».

Время медленно двигалось вперед, мы уже успели забыть о

предупреждении Джорджа, и хотя у нас не было основания не верить ему, но все же прошло три дня, и мы с Колей решили, что опасность миновала.

…Сегодняшний вечер за карточным столом затянулся допоздна. Было как никогда весело и шумно, игра шла с переменным успехом. Как вдруг в кают-компанию вошел капитан. Прищурив от яркого света глаза, иронически улыбнувшись, он сказал:

— Леди и джентльмены! Прошу прощения! Через пятнадцать минут — ровно в двенадцать… — Он сверил свои часы с настенными. — Повторяю! Ровно в двенадцать наш караван будут торпедировать немецкие подводные лодки! Будет как нельзя своевременно, если вы все, захватив лайф-жилеты, поднимитесь на палубу! Прошу извинить за неожиданное сообщение!

Приложив руку к козырьку форменной фуражки, капитан спокойно удалился.

Все недоуменно переглянулись, посмотрели на часы и, рассмеявшись, продолжали игру. Я взглянул на Колю и увидел, как он побледнел, а мне показалось, что мое лицо вдруг запылало жаром.

— Наш кэп, наверное, чуточку переложил за галстук! — заметил рыжий ирландец.

Мы с Колей поняли сразу, что капитан не шутит, но встать из-за стола и броситься в каюту за спасательными жилетами было бы явным проявлением трусости.

— Ну как, Микоша, опять сорвал банк?

Я по голосу чувствовал, что Коля думает сейчас, как и я, не о банке…

Смех и остроты в адрес капитана продолжались. Стрелки на циферблате медленно ползли к двадцати четырем. Шутки шутками, но все же смех и веселость, я заметил, были показными. Никто, наверное, не желал быть уличенным в трусости, однако за эти короткие минуты многие успели выпить не по одной порции крепкого горючего. Хоть я и сорвал банк и успел заказать всем по двойной порции джина с тоником и лимоном, но настроение у меня было паршивое, и контуженая нога дала о себе знать.

Минутная стрелка соединилась с часовой. Тут же сильный взрыв потряс нашу «Тихую рощу». Со звоном посыпалась посуда в массивном дубовом буфете, кто-то упал со своего стула. Бутылки покатились со стола на пол, заливая стол джином и вином.

Мы все бледные, но с достойным видом, один за другим, без паники вышли на палубу. Никто не побежал в каюты за лайф-жилетами, они были на этаж ниже.

Первое, что бросилось нам в глаза — красные полыхающие

отсветы пламени на мачте, на трубе и низких облаках. Зрелище было феерическое, у меня захватило дыхание. Мерцающие, багровые всполохи освещали высокие волны, яростно нападающие на идущий рядом с нами обреченный танкер. Объятая высоким пламенем носовая часть корабля заметно погрузилась в океан. Пламя увеличивалось все больше и больше, раздвигая мрак и освещая идущие вдали корабли нашего каравана. По палубе в панике металась команда, пытаясь спустить шлюпки.

— Смотри, Владик, что это значит?

Красный фонарь взвился на мачте!

— Сигнал «Немедленно покинуть корабль!»

Я неотрывно следил за происходящим, меня охватила неприятная мелкая дрожь, наши камеры лежали в каюте внизу.

В это время над караваном поднялась осветительная ракета. Одна, другая, третья. Вокруг стало светло. Горящий корабль стал крениться в нашу сторону. В этот момент огромный пенный вал с грохотом ударил о борт горящего судна и вдребезги разбил наполовину спущенную к воде шлюпку. Из нее посыпались в море люди. На волне через мгновение показались красные огоньки, потом они исчезли и снова возникли, удаляясь все дальше и дальше. Над морем понеслись тонкие, протяжные, раздирающие душу свистки — просьба о помощи. Над вспененными волнами поднялась корма с крутящимися вхолостую винтами. Еще одна шлюпка, не достигнув воды, разбилась о железный борт танкера. Новая партия красных огоньков поплыла, исчезая, в мутной темноте океана, оглашая холодную ночь надрывным свистом.

Караван, не сбавляя хода, продолжал идти вперед.

Новая яркая вспышка высоко взметнулась ввысь, достигнув облака. На мгновение осветились многие корабли каравана, и вдали, почти у горизонта, мы заметили еще один столб пламени. Там разыгрывалась подобная трагедия. Я стоял, прижавшись плечом к Коле, и всем телом чувствовал, как он дрожит. Холода я не ощущал.

Вдруг корма танкера резко пошла вверх, и горящий корабль, на мгновение замерев, стал вертикально и с надрывным хрипом, стремительно ушел под воду. Волны с шумом сомкнулись над ним, и тут перед нашими глазами открылась рубка немецкой подводной лодки. Она медленно погружалась. Мгновение — и ночь наполнилась грохотом. С ближайших кораблей протянулись, вонзаясь и рикошеча о нее, красные, зеленые трассы пулеметных и зенитных снарядов. Закипела, как в котле, хаотическая канонада. В небо полетела новая порция осветительных ракет. Над бликующими волнами океана натянулась упругая сетка из

трассирующих пуль.

— Субмарин! Субмарин! — кричали в ожесточении все на нашей палубе.

В этот зимний полночный час маленький, высвеченный ракетами клочок Атлантики предстал перед нами как ярко иллюминированное представление. Все ближайшие корабли каравана искрились огнем пулеметов, ружей, орудий. Пули свистели, искрились, ударяясь о металлические части нашего корабля. Как только никто не пострадал?

— Уходит! Уходит! Один перископ остался, смотри! Ну, теперь все, все!..

Коля с силой схватил меня за руку, как бы боясь, что я тоже исчезну вместе с подлодкой.

Вдруг из-за высокой волны вынырнул сопровождающий караван английский морской охотник-истребитель и, прежде чем мы успели опомниться, на полном ходу врезался в уходящую под воду лодку. Раздался лязг и скрежет металла. Стрельба будто бы захлебнулась, наступила тишина. Только шипели, спускаясь вниз на парашютах, яркие осветительные ракеты.

Всем нам хорошо было видно, как с морского охотника баграми кого-то вылавливали с высоких волн, потом стало темно, темно…

Прошло около минуты, а может, и больше… Яркие молнии прорезали мрак. Все, как по команде, оглянулись назад. С противоположной стороны нашего корабля за горизонтом полыхало огромное зарево.

— Теперь там! Сволочи! Гады! Ни помочь, ни снимать, ни… — Коля крепко, по-русски выругался и, оглянувшись на рядом стоящих, виновато оправдывался: — Вы ведь не понимаете по-русски, правда?

— Да, да! Совсем мало, мало! — ответил Коле ученый и улыбнулся.

Мы стояли на палубе, не в силах оторвать взгляда от озаренного багровым пламенем горизонта. Нервная дрожь никак не хотела нас покидать. Все стояли, плотно прижавшись друг к другу. Очевидно, общая опасность объединила нас. Я чувствовал, как слева дрожал кто-то, справа — Коля. Так молча стояли мы, всматриваясь в далекие огни и всполохи, ожидая каждую секунду взрыва под палубой. Вскоре караван погрузился в темноту.

Шумели и тяжело бились о борт холодные валы. Молчание нарушил подошедший старпом. Он зажег синий маскировочный свет и показал всем на примере, как надо пользоваться лайф-жилетом.

— Лучше поздно, чем никогда! — мрачно улыбаясь, сказал

Коля.

— В такой час юмор? О! Это очень неплохо! — улыбнувшись в ответ Коле, сказал ученый…

— Внимание! Леди и джентльмены!

Старпом быстро надел спасательный жилет, и сразу автоматически у него на плече зажглась красная лампочка. Затем он вынул из карманчика рядом с лампочкой свисток на медной блестящей цепочке и резко засвистел.

Вот теперь я понял, откуда несся этот трагический призывный свист.

— Когда человек попадает в ледяную воду, то при первом же крике о помощи он хрипнет и не может подать сигнал о спасении, — продолжал свой запоздалый инструктаж старпом.

Когда заботливый старпом ушел, пожелав всем спокойной ночи, все молча остались на месте. Наконец, появился капитан:

— Леди и джентльмены! Дорогие друзья! Идите по своим каютам и ложитесь спать. До шести часов утра я вам гарантирую спокойный отдых, но ровно в шесть — теперь, я надеюсь, вы мне верите — попрошу абсолютно всех в лайф-жилетах быть на этом месте, вот около этой большой шлюпки — она вместит всех и оснащена всем необходимым на длительное плавание. Прошу извинения, но будет новое нападение на караван. Всем доброй ночи!

Приложив руку к козырьку, капитан удалился…

Мы отправились спать, но не успели лечь в постель, как в каюту постучал Джордж:

— Поздравляю! Мы с вами еще не на дне океана! Но, к сожалению, еще все может быть! Так, хотим мы этого или нет, будет до самого Нью-Йорка. Каждую ночь, ровно в полночь и в шесть утра. Рекомендую лучше спать днем, чтобы в случае чего всегда быть готовым и моментально оказаться на верхней палубе рядом со шлюпкой и в бодром состоянии духа! Надеюсь, видели, как наши потопили фашистскую подлодку и выловили из океана двух морских офицеров. Вы знаете, они живы, их сумели откачать, но катер-охотник после тарана не смогли спасти, он потонул. Команда спаслась на шлюпках, и ее полностью вместе с фашистами удалось перебросить в госпиталь-спасатель.

— Ну а как команда с танкера? — с тревогой в голосе спросил Николай.

— На борт госпиталя вытянули всех, но большая половина была мертвой — замерзли. Переохладились в ледяной воде. Вот пока и все новости, извините, бегу — моя вахта. Доброй ночи!

Нервное потрясение было слишком велико, мы так и не смогли заставить себя уснуть. Задолго до шести утра все были на

верхней палубе. А мы даже захватили камеры, хотя отлично знали, что снимать в подобной темноте бесполезно. Профессиональная привычка — быть всегда с камерой — взяла верх. Да и с камерой в руках не так страшно ждать опасности.

Мы собрались там же, на высокой палубе спардека под шлюпками. Они висели по две — одна за другой, расчехленные с полным аварийным запасом провизии и воды. В одной даже под банкой тускло горел керосиновый фонарь типа летучей мыши.

— Вы знаете, господа, человек больше пятнадцати минут в ледяной воде не выдерживает! — в мрачном раздумье сказал вдруг профессор.

— А нам и этого достаточно! — громко смеясь, ответил рыжий ирландец.

— А я так мечтала прогуляться по Бродвею! — обиженно сказала молодая супруга джентльмена из английского посольства.

— Когда же наконец появится такая пленка, на которой можно было бы снимать все, что видит человеческий глаз? — раздраженно процедил сквозь зубы Коля.

— Страшнее и эффектнее того, что мы видели в полночь, все равно больше не повторится.

Меня прервал глухой удар взрыва. Багровая вспышка на секунду обнаружила караван.

Далеко от нас, миль за десять-пятнадцать, взлетел на воздух один, а затем дальше за горизонтом второй и в противоположной стороне еще дальше — третий транспорт. Снова взвились в небо и повисли на парашютах яркие слепящие фонари. А караван, не сбавляя хода, уходил все дальше и дальше…

— Да, трудно госпиталю-спасателю одновременно быть в разных очагах поражения…

— Всего пятнадцать минут и конец! Только пятнадцать!..

Каждый из нас ждал удара торпеды в борт нашего корабля, хотя внешне старался скрыть нервное напряжение за показной веселостью. Супруги-журналисты стояли, взявшись за руки, будто бы прощаясь. Мистер Флит был совершенно спокоен, его голубые глаза, окруженные густой сетью морщинок, смотрели с хитрецой, а узкие губы застыли в усмешке.

Вскоре появился старпом и предложил всем разойтись по каютам.

— Капитан просит всех спать спокойно!

Только после этого убедительного пожелания пассажиры разошлись. Джордж нагнал нас с Колей в узком коридоре:

— Поздравляю! Теперь до двенадцати ночи можно хорошо выспаться и отдохнуть!

Помахав фуражкой, Джордж скрылся в радиорубке.

— А когда же снимать и кого, черт возьми! Когда? Ты можешь ответить, Коля?

— Может, Джордж по радио попросит немцев напасть на караван днем — ради нашей киносъемки?

— Пойдем спать, шутник!

Но выспаться не пришлось. Около девяти утра раздался сильный стук в дверь. Мы в ужасе повскакивали с постелей.

— Не иначе, ко дну идем!

— Выходите! Выходите!

Дверь распахнулась настежь. Перед нами стояли несколько матросов во главе с Джорджем. Весело улыбаясь, они радостно скандировали:

— Джо тейк Сталинград! Грейт виктори!

Они ворвались в каюту, выволокли нас, полусонных, на палубу и начали качать.

— Рашн виктори! Ура!! Сталин — ура! — радовались вокруг.

Нас высоко подбрасывали. Мы кувыркались в воздухе, мелькали мачты, трубы, корабли…

— Сталин! Сталин! Сталинград!

А у меня перед глазами вдруг возник маленький человечек с усами.

— «Диктатор»… — я понял, что теперь этот образ будет неотделим для меня от его имени…

Наваждение исчезло, и вновь нахлынула горячая волна радости и гордости. Мы ходили по кораблю с гордо поднятой головой. Всюду нас поздравляли, обнимали, жали крепко руки.

— Почему мы не там? Сколько мы с тобой, Коля, потеряли!

— Пока вернемся, и Берлин наши возьмут! А мы здесь ни одной приличной съемки не сделали!

Весь день прошел в разговорах о Сталинградском котле. О Паулюсе, о разных вариантах нашего дальнейшего наступления…

Это удивительное событие, которое долетело до нас через Атлантический океан, озарило радостью дальнейшие дни нашего драматического рейса в Америку. Каждую ночь уходили на дно несколько кораблей, каждую минуту это могло произойти с нашим, и все же мы не теряли надежды на счастливый исход нашего путешествия.

— Коля, Коля! Проснись! Вставай скорее! Что-то неладно!

В дверь каюты барабанило несколько кулаков.

— Выходите! Выходите! Пожалуйста!

На ключ не закрывались с первого нападения. Дверь стремительно распахнулась, и к нам в каюту ввалились вместе с Джорджем несколько моряков. Радостных, возбужденных.

— Ну, слава богу! А я думал — потоп!

— Значит, новый хороший сюрприз, да?

Мы быстро оделись.

— Пошли, пошли! Пошли наверх! Скорее!

Пока мы второпях одевались, они наперебой кричали:

— Нью-Йорк! Нью-Йорк! Нью-Йорк рядом, на виду!

Нас под веселым конвоем доставили на верхнюю палубу. Там на нас набросилась возбужденная с радостными криками команда. Нас нарасхват обнимали, целовали и подбрасывали вверх под громкие крики:

— Ура! Нью-Йорк!.. Нью-Йорк!..

Впереди из-за серого горизонта выглядывали небоскребы. Нью-Йорк.

— Ну как не радоваться — остались живы, удивительно…

— Да! Но при чем же мы? — спросили у радостного Джорджа.

— О! Какая у вас короткая память! А кто обещал команде в порту Свенси принести кораблю счастье? Вот и пришло время расплатиться — все живы, здоровы и наш шип на виду Нью-Йорка. Спасение! Жизнь! Хотите или не хотите верить, из девяноста семи кораблей перед лицом Нью-Йорка остались только сорок шесть…

Джордж был, кажется, счастлив больше других, да и понятно — он знал обо всем раньше и подробнее.

Вот и седой мистер Флит, дождавшись своей очереди, с лукавой улыбкой пожал крепко нам руки. И, показав в сторону Нью-Йорка, сказал:

— Страшный город! Будьте там очень осторожны! Не забывайте моих советов!..

ЭЛЛИС-АЙЛЕНД

Нью-Йорк, остров Слез, февраль 1943 года

У авторов, желающих привлечь внимание публики, существует излюбленный прием: сначала читателя уверяют, что все в рассказе — правда, а затем прибавляют, что истина неправдоподобнее всякой выдумки…

О. Генри. «Дверь в мир»

Из-за серого горизонта вырастал Нью-Йорк. Впереди надвигалась, шла навстречу огромная, позеленевшая от времени «Либерти» с факелом в поднятой руке. Я не пытался разобраться в калейдоскопе охвативших меня чувств. Радость, облегчение, изумление и волнение наполняли меня, не давая возможности реально оценить происходящее.

Впереди, как на огромном киноэкране, открывался Новый Свет. Как странно и причудливо иногда сбываются мечты детства. И как хорошо, что они все-таки сбываются…

Мои мысли прервал подошедший Джордж:

— Смотрите, слева по борту — там, за монументом «Либерти» — знаменитый остров Слез — Эллис-Айленд!

— Странное соседство — монумент Свободы и остров Слез!

Возвышаясь и довлея над всем, гиганты-небоскребы медленно заполняли край неба. Мы втроем — Коля, я и мистер Флит — молча наблюдали необыкновенную панораму Нью-Йорка с моря.

— Эмпайр Стейт Билдинг! Семьдесят первый раз прихожу я в этот страшный город! — прервал молчание мистер Флит. — Я люблю Лондон, не могу сравнить его с этим холодным нагромождением камня и железа! — мистер Флит замолчал, худое лицо с сетью тонких морщинок стало суровым. Он глубоко надвинул шляпу на глаза, и больше не проронил ни слова.

Мы прибыли рано. Было серое холодное утро. Ветер налетал порывами и забирался под кожу. В городе в глубоких провалах улиц ярко-пестрыми красками плескалась реклама. По набережной Риверсайд-драйв неслись нескончаемым потоком разноцветные, как монпансье, автомобили.

Наш «Пасифик Гроуд» отшвартовался у сорок второго

причала. Недалеко от нас, рядом с таким же причалом, лежала на боку огромная «Нормандия», подожженная и потопленная фашистскими диверсантами. Ее рыжий от ржавчины киль был облеплен рабочими. Издалека, пока мы не подошли ближе, казалось, что на гигантское чудовище напали муравьи и вгрызаются ему в тело. «Пасифик» рядом с этим китом был похож на кильку.

Наш путь завершен, толстые канаты подтвердили это, привязав накрепко «Тихую рощу» к Новому Свету. Первыми вошли на теплоход полицейские, а мы отправились в кают-компанию.

— Кого-то встречают! — сказал мне Коля.

К нам подошел капитан и представил нас полиции.

— Ваши паспорта, господа!

Мы, ничего не подозревая, протянули свои мореходки. Их передали, видимо, старшему. Он вышел с ними из кают-компании.

— Странно, почему полиция проверяет, а не таможенники?

— Смотри, проверяют только нас, а другие идут без проверки…

Все пассажиры покинули корабль, а нас просили, правда, очень вежливо, немного задержаться. Только мистер Флит не уходил, а стоял в сторонке и наблюдал. Процедура изучения наших мореходок затянулась. Наконец нам сообщили, что наши документы не в порядке и что мы арестованы.

— У вас нет визы на въезд в Соединенные Штаты! — сказал, улыбаясь, толстый благодушный полисмен.

Нам, конечно, было не до улыбок, мы в первые минуты растерялись, не зная, как поступить в такой непредвиденной ситуации.

— Знаешь, Коля, никуда с корабля не пойдем — это пока не Америка, а Англия, пусть вызовут сюда нашего консула, тогда и решим, как быть. Просто не верится, может, это шутка?

Но все же пришлось поверить, когда нам предложили следовать на берег. Мы наотрез отказались без ведома нашего консула уходить.

— Ваш консул — это не наше дело. Мы обязаны отправить вас на Эллис-Айленд.

Стоявший в стороне мистер Флит, мы видели, несколько раз пытался подойти к нам, но толстый полисмен преграждал ему всякий раз дорогу. Наконец, он крикнул нам:

— Я буду звонить вашему консулу, а вы не уходите с корабля и ждите его здесь — это Англия, а не Америка, и тут вы в безопасности! Не забывайте… — мистер Флит хотел, очевидно, по

привычке добавить, что Нью-Йорк — это страшный город, но на этот раз промолчал.

Когда толстый полисмен еще раз церемонно потребовал следовать за ним, за нас энергично вступился капитан:

— «Пасифик Гроуд» — Англия! Америка и ее законы там — за трапом, господа, — сказал он, обращаясь к полицейским. — А вы, дорогие друзья, можете на моем корабле находиться сколько вам захочется!

После такой поддержки мы с Колей почувствовали себя веселей и отказались покидать корабль до приезда консула. Полицейские заняли удобную позицию в кожаных креслах и задремали.

За короткие пятьдесят минут, которые показались бесконечными, мы много передумали. Мне припомнилось ночное посещение НКВД дома в Москве, и как это было тогда страшно. Арестуют, уведут. А здесь, будучи арестованным, я не испытывал никакого страха, только любопытство переполняло меня.

Но вот в кают-компанию вошел представитель советского консульства, и сразу отлегла тяжесть неизвестности.

— Ай да мистер Флит! Оперативно сработал! — обрадованно шепнул мне Коля.

От радости мы чуть не бросились в объятья нашему представителю. Но он не был сентиментальным, и раньше, чем не убедился, кто мы и зачем прибыли, был, как айсберг, монументален и так же холоден.

Поговорив с толстым, наш представитель снова подошел к нам и еще раз постарался все досконально выяснить; главное: почему консул в Лондоне не уведомил о нашем прибытии?

— А вы не знаете, что сейчас война, и Лондон горит, и, может быть, консульство тоже пострадало и не до нас им теперь!

— Возможно! Возможно! Но порядок есть порядок, и он должен быть в Лондоне и в Нью-Йорке, — сухо отрезал консул.

Все стало понятно — нас здесь не ждали. Еще раз коротко, но с большим достоинством, вел переговоры с полицией наш представитель, но результаты оказались прежние.

— Итак, товарищи, придется с ними ехать вам на «Остров слез». Другого выхода нет, у вас действительно нет виз для въезда в страну. Не могу понять, как в Лондоне могли поступить так безрассудно. Наверное, вы правы — бомбежка подействовала. Мореходка служит паспортом только на своем корабле. А вы на чужом — на английском! Понимаете?

«Хоть он и был английским, но не был чужим, на нем мы были как дома!» — подумал я.

Мы все, конечно, поняли, но нам от этого не стало легче.

— А вы что, хорошо знаете того англичанина, который нам позвонил в консульство? Этого не полагается делать!

— Да! Теперь знаем очень хорошо! — Мне стало не по себе.

— С ними надо быть осторожнее, а то знаете, еще неизвестно, чем все это кончится…

А мы-то думали — придет консул и нас выручит, или, на худой конец, хоть успокоит и вселит уверенность. А тут «еще неизвестно, чем все это кончится»… Нам стало так тоскливо и неуютно, и так не хотелось покидать гостеприимный корабль…

— Закон есть закон! — сказал нам на прощание наш «дорогой» представитель. — Нарушать его не положено. Поезжайте с ними и багаж прихватите, особенно не волнуйтесь, все должно рано или поздно уладиться.

— Ничего себе успокоил! — сказал сквозь зубы Коля.

— А сколько времени нам придется ждать? — не удержался я от вопроса.

— Трудно сказать! Пока не разберутся, в чем дело, кто виноват в произошедшей ошибке…

Несмотря на то что мы хотели задать много вопросов не в меру спокойному представителю, он торопливо распрощался, обещая нас «там» навестить.

— Счастливого пути! — и он скрылся за дверью.

— Вот тебе и на! Вместо Америки в тюрьму попали! — я взглянул на Колю.

Он был зол, лицо его покрылось пятнами, мое настроение не отличалось от его — обида была непередаваемая.

— Вот тебе и союзнички, ничего не нашли лучшего, как упрятать фронтовиков в тюрьму.

— Да не просто в тюрьму, а в самую-самую, на остров Слез.

Помня наставления мистера Флита, мы не притронулись к своим вещам, а просто пошли вперед по трапу, предварительно тепло попрощавшись с капитаном. Нас сердечно провожала команда, грустно помахивая фуражками. Из радиорубки выбежал Джордж. Мы обнялись:

— Прощайте, дорогие друзья! Я никогда не забуду нашей встречи в тяжелые дни испытаний!..

— Прощай друг! Прощай, дорогой Джордж! Приезжай к нам в Москву после войны!

— Ну вот и все, пойдем, Коля, в Америку!

Мы шли по зыбкому трапу, впереди проглядывали небоскребы, а на пирсе нас ждала полицейская карета. Оглянувшись последний раз, мы увидели на мостике капитана. Он снял фуражку и помахал нам. Позади трое солидных полисменов, сгибаясь под тяжестью, тащили наши вещи,

аппаратуру, пленку. Трап кончился. Первое, что мы увидели, вступив на землю Нового Света, была полицейская карета. Коля тяжело вздохнул перед тем, как забраться в нее.

— Владик, а ты знаешь, мы в Америке! Любуйся! Знакомься! — пошутил Коля, глядя через решетку на улицы Нью-Йорка.

Завыла сирена, замелькали рекламы — пестрые, яркие. Мы мчались, обгоняя бесконечные вереницы автомобилей.

В детстве я часто мечтал побывать в этом заморском городе. Мечтал забраться на верхушку самого высокого небоскреба и взглянуть на чужой, неизвестный мир. Вот и взглянул…

— Ну как, нравится тебе Нью-Йорк? — прервал мои мысли Коля.

Резко тормознув, карета остановилась. Очнулись от дремоты наши конвойные. Задняя дверка открылась, и нас повели на пристань. У пирса стоял маленький странный пароходик-трамвайчик, причаленный не то кормой, не то носом. Вспотевшие два толстяка-полисмена притащили, кряхтя от натуги, наши кофры.

— Чем они набиты — камнями? — спросил, отдуваясь, один из полисменов, опуская на палубу наши вещи.

— Мэй би! — меланхолично ответил Коля.

Наши камеры и пленка теперь ничем от камней не отличались.

Кроме нас на пароходике было еще несколько пассажиров, но без конвоя. Через пару минут «Фери» — так назывался пароходик — отчалил.

— Чудно — стояли к пирсу носом, а вперед пошли кормой?!

Да, Коля не ошибся — «Фери» ходил от берега к берегу не поворачиваясь, как челнок. Неуклюже, с волны на волну, вприпрыжку, поскакали мы к статуе Свободы. Теперь мы смотрели на монумент совсем другими глазами. Чем ближе мы к нему приближались, тем грознее заносила над нами Свобода свой позеленевший от времени меч-факел.

Наконец, после утомительного кувыркания на волнах Гудзона наш маленький смешной кораблик причалил к каменному пирсу острова Слез.

Нас ввели в огромный вокзального типа холл. Он был заполнен, как нам с первого взгляда показалось, развешанным для сушки бельем.

— Вот ваше место! — поставив вещи, сказал самый толстый полисмен и, протянув руку, добавил: — Мы неплохо потрудились, надеюсь, вы отблагодарите нас?

— Какая наглость! Мало того, арестовали — еще плати за

поднос багажа! — зло, сквозь зубы проворчал Коля.

Одного доллара оказалось мало.

— Нас пять джентльменов! — показав на остальных, сказал толстый.

— Черт с вами! Держи! Ты, толстопузый, на всех! Понял? — Коля крепко выругался.

Взяв пятерку, полисмены приложили руки к фуражкам:

— Теньк-ю, сэр! Гуд бай! — ответил толстяк.

И мы остались одни под высокой крышей мрачного незнакомого помещения.

— А мы здесь совсем не одни! — оглядевшись, сказал я Коле.

Оказалось, что развешанное белье — вовсе не белье, а перегородки-ширмы из простыней и одеял между разными людьми и целыми семьями, вынужденными жить здесь, очевидно, долгое время.

— Посидим для начала! — мрачно предложил Коля.

Мы присели на свои кофры. Другой мебели здесь не было.

— Цыганский табор!

— И не один. Боже, сколько их тут! Дети, старики, женщины…

Мир в огне. Европа оккупирована. Много народу со всего света стремится попасть в свободный мир, обрести работу. Кусок хлеба. Дом. Едут сотни, тысячи обездоленных с семьями и в одиночку, но попасть удается не многим. И вот здесь, на «Острове слез», сели на мель все, кто решился приехать в Америку без визы. На обратный путь денег не хватает. Да и некуда ехать. Несчастные по нескольку лет сидят на острове и ждут визы или случая уехать. Куда? Всех кормят, с голоду не умрешь, но тюрьма остается тюрьмой. Ожидание, тоска и безнадежность — вот теперь и наш удел. Странно, никакого страха за свою судьбу я почему-то не испытывал, как там, дома, при обыске. Только мучило любопытство — и что же дальше?

Коля мрачно курил сигарету за сигаретой. Над нами загустело облако дыма. А мы в поисках выхода из дурацкого положения не продвинулись ни на шаг.

Кончились сигареты, растаяло облако дыма. Захотелось поесть, но никто не приходил. Мы устали сидеть в неудобных позах на жестких кофрах.

— Ты сиди, а я пойду позвоню! — вдруг сказал Коля.

— Куда? Кому? — наивно спросил я, поддавшись на шутку.

— Рузвельту! — зло произнес Николай, выругался и нервно зашагал взад и вперед…

Время, казалось, остановилось и не хотело двигаться. На нас напало безразличное оцепенение…

Мы сидели у самой двери, которая звонко захлопнулась за нами, и заняли небольшое, никем не занятое до нас место на полу.

— Ты все время поглядываешь на дверь — там, за ней, никого ведь нет, кто бы мог прийти на помощь, — сказал Коля и снова зашагал взад и вперед.

Вдруг громко лязгнул замок, и в дверях показался маленький седой старичок, розовощекий с чеховской бородкой.

— Здравствуйте, господа! Будем знакомы! Если нет возражений — я ваш переводчик и покорный слуга! — сказал он нам приветливо на чистейшем русском языке.

— Мы не господа, а товарищи, господин переводчик! — выпалил Коля.

— Вы, конечно правы — в России так принято, а здесь все по-старому. Да-да! Ну а теперь, так сказать, перейдем к делу! Да-да, к делу! Меня просили передать вам, что через час вас будут судить.

— Судить? Разве мы преступники? — не выдержал я.

— Конечно, на вашем месте я бы задал такой же вопрос, но только вы, ради бога, не волнуйтесь — ничего тут особенно страшного не случится. Да-да!.. Очевидно, первый раз в Америке? Ваше волнение мне очень понятно. Меня тоже судили. Да-да! Но это было до революции еще. Принес сюда меня бог тоже без визы… Да-да!..

Его теплота и приветливость немного успокоили нас.

— Старайтесь, господа… простите привычку так вас величать… быть на суде предельно краткими и правдивыми, и тогда, смею вас заверить, все обойдется хорошо! Здесь многие от страха сами на себя так нафантазируют, так запутают все и всех… Время тянется, а дело — ни с места… — Он замолчал, глубоко вздохнул, и вдруг спросил: — Как там у нас на фронте? Простите, теперь уже у вас… Я ведь русский — живу от одной сводки Совинформбюро до другой. Да-да! А как переживаю!.. Нет, не сумею объяснить… — Он вынул носовой платок.

Глядя на него, становилось не по себе — было в нем что-то жалкое, неустроенное… Мягко поклонившись — так, наверное, кланялись еще при царе, — переводчик удалился. Лязгнул замок, и мы остались одни.

— Дома не был под судом, а тут… — начал было я…

— Скажи спасибо, а то бы и этого не увидел, не испытал! Что бы ни случилось, все равно невероятно интересно!

Час пролетел быстро, кто бы мог предугадать, с чего начнется наше путешествие по Америке? Кошмары Атлантики, полицейская карета, «Остров слез», суд…

Да, правильно говорили на Руси: «от сумы да от тюрьмы не зарекайся»!

Резко щелкнул замок. Снова появился старичок — не один, а в сопровождении полисменов. Поклонившись, он официально сказал:

— Господа! Вам надлежит пройти в зал суда! Пожалуйста!

Мы поднялись с кофров. Шествие замыкал чиновник. Нас ввели в большой светлый зал. Все здесь предусмотрено — тюрьма и суд совсем рядом. За высоким постаментом — трибуной сидел седой средних лет мужчина в военной форме. Его китель был расстегнут. Откинувшись на спинку кресла, он читал книжку в яркой обложке. Наш приход на него не произвел никакого впечатления.

Мы сели вдали, на отведенные для нас места.

— Скамья подсудимых! — пробурчал Коля.

Над седой головой судьи, между скрещенными звездными флагами, висел большой портрет Вашингтона. Было тихо-тихо.

— А все же очень занятно. Везет нам. Не многим удается такое увидеть и испытать! Деньги за это надо платить, а нам бесплатно!

— Об этом узнаем несколько позже — везет или… Тише!

Судья оторвался от книжки, взглянул пристально на нас, нажал на кнопку. Тут же появился наш переводчик.

— Ни черта не слышно — о чем они там?.. — Я взглянул на друга — он держался спокойно, но был бледен.

Каким был я?

Поговорив с переводчиком, судья встал и жестом попросил нас сделать то же самое. Официально, очень громко, чтобы нам было слышно, он произнес что-то вроде монолога.

— Ты понял? — тихо спросил меня Коля.

— Нет! А ты? — Коля покачал головой.

Судья жестом показал на Колю, приглашая его к трибуне. Коля встал, взглянул мне в глаза и, не торопясь, с достоинством зашагал к трибуне.

Я видел, как он стоял перед судьей и, отвечая на вопросы, поднял правую руку. О чем они говорили? Услышать было невозможно…

Коля вернулся, и сразу же пригласили меня. Он успел тихо сказать:

— Не робей! — На лбу у него блестели капельки пота.

Я пошел к высокому постаменту. Судья, строго и пристально глядя на меня, торжественно произнес:

— Поднимите правую руку и поклянитесь именем Господа Бога, что будете говорить чистую правду!

— У нас не принято клясться именем Бога, я и так буду говорить правду! — Я в упор смотрел в серые глаза судьи; из-за его плеча в упор смотрел на меня Вашингтон.

— Вы находитесь в Америке и должны уважать законы нашего государства!

Он был прав, спорить было безрассудно, и, немного помолчав, я на мгновение поднял руку и медленно сказал:

— Обещаю суду говорить только правду!

— Скажите, с какой целью вы прибыли в Америку? Не с целью ли покушения на президента, или свержения существующего строя?

Я коротко объяснил цели нашего путешествия.

Судья задал еще несколько несущественных, на мой взгляд, вопросов и удалился. Перерыв.

— Какой ты был бледный, когда ты пошел туда! — сказал мне Николай.

Я не стал говорить ему, каким был он. Мы сидели совершенно одни в пустом, наполненном солнцем зале. В голове беспокойные предположения: чем же это все кончится? О чем там совещается судья и с кем? Со старичком-переводчиком? Больше никого мы в этом зале не видели. И все же какое-нибудь решение должно быть. Какое?

И вот, наконец…

— Суд идет! — объявил вышедший переводчик.

Мы встали. Нас пригласили подойти к самой трибуне пред очи судьи. Он медленно поднялся и очень строго и важно зачитал решение суда:

— Суд Соединенных Штатов Америки запретил господину Лыткину Николаю Александровичу и господину Микоше Владиславу Владиславовичу въезд в Америку!

Все время, пока старичок-переводчик переводил на русский, судья не сводил глаз с меня и Николая, его лицо было непроницаемо и по нему ничего нельзя было определить. Переводя первую фразу, старичок остановился и взглянул на судью:

— Согласно Конституции, вы имеете право в течение двух с половиной месяцев обжаловать наше решение!

Как только официальная часть была закончена, судья вдруг неожиданно для нас со строгого казенного тона перешел на теплый задушевный — железная маска непроницаемости исчезла бесследно:

— Скажите, господа, сколько вам нужно времени для обжалования решения суда?

Не ожидая такого вопроса, мы растерялись, но быстро

пришли в себя. На вопрос судьи я задал ему контрвопрос:

— Скажите, господин судья, сколько понадобится времени, чтобы мы успели из Нью-Йорка доехать до Сан-Франциско, там пересесть на корабль, кстати, купленный у вас, американцев, и отправиться во Владивосток? Вот это время мы и попросим у вас вместо обжалования, как вы предложили нам сделать!

— При желании это можно сделать за пару дней, но это будет дорого стоить…

Он вынул из бокового кармана пачку сигарет «Лаки страйк», протянул нам, щелкнул автоматической зажигалкой, и мы все затянулись. Выпустив дым, он, улыбнувшись, спросил:

— Два с половиной месяца достаточно вам?

Мы с Николаем пожали плечами, не зная, как реагировать на его вопрос, — то ли он шутит, то ли на самом деле… Мы не успели ничего сказать, как он выпалил:

— Вы свободны, господа! Можете идти! Добро пожаловать в Америку! — Он посмотрел на нас с нескрываемым интересом.

Мы не верили своим глазам, стояли, переминаясь с ноги на ногу.

— Скажите, господин судья, может быть, нам нужен документ, подтверждающий ваши слова?

— Америка — свободная страна! К вам больше никто не подойдет и не спросит никаких документов. Гуд бай, бойз! Соо лонг!

Судья, крепко пожав нам руки, энергично зашагал к двери. Старичок-переводчик, поклонившись, заговорил:

— Как видите, господа, все кончилось, как я вам предсказывал, — прекрасно! Теперь разрешите проводить вас на «Фери».

— Ну и ну! Как в кино! Кто мог ожидать? Такая развязка!..

— Такое даже О. Генри не снилось…

Пока мы дошли до выхода, судья вернулся на свое место на высокой трибуне:

— Кто следующий? — крикнул он…

— Пошли скорее, пока он не передумал!

Оглянувшись, мы увидели судью на его месте в уютной позе и с книжкой в руках.

В СТОРОНЕ ОТ ВОЙНЫ

Нью-Йорк, март 1943 года
Истина еще не породила ничего столь невероятного…

О. Генри

Мы неслись в густом потоке автомобилей, двухэтажных автобусов, нам навстречу двигалась громада небоскребов… Наконец, таксер припарковался на свободную для такси стоянку и обернулся к нам:

— Нижний город, сэр!

Лыткин открыл дверцу машины и спросил у оказавшегося рядом полисмена, как проехать к советскому консульству.

— Добрый день, господа! Вы из России? — просияв, полисмен объяснил нашему шоферу подробный адрес. — Красные лупят гансов — только пух летит! Поздравляю! Будьте счастливы! Счастливый путь! — вдруг сказал он по-русски и откозырял нам.

Не прошло и десяти минут, как мы подкатили к консульству.

— Ну, как Америка? Нравится? — крепко пожимая нам руки и широко улыбаясь, спросил нас генконсул Ломакин.

— Я в курсе событий, уже знаю, как вас поздравили с прибытием в Нью-Йорк! Ничего, здесь такое встречается. Ваши коллеги Соловьев и Халушаков благополучно прибыли в Бостон и обошлись без суда, они ждут вас не дождутся!

— Живы, значит, вот здорово!

— Значит, скоро увидимся!

— Мы знали, что вы должны следовать за ними, но не знали, когда и каким караваном. К сожалению, из Лондона нам ничего не сообщили. Ваши друзья страшно за вас волновались. Они отстали от своего каравана и до Бостона добирались совершенно без конвоя и охраны. Больше месяца они болтались в Северной Атлантике. Ну, а теперь, товарищи, на отдых! Вы будете жить в гостинице «Грегориан» на Тридцать пятой стрит, рядом с Эмпайром, совсем близко от ваших друзей.

И вот мы снова вместе. Все тревоги и волнения позади, даже не верится. Снова появилась надежда на большую работу, и мы ждем от Литвинова разрешения этого вопроса.

Нью-Йорк по сравнению с Лондоном показался нам праздничным. Море света, тысячи флагов союзных держав

развеваются на крупных офисах и больших универмагах. И среди многих — наш флаг всюду занимает второе место после американского — обижаться мы не могли. О том, что в мире война, напоминали военные. Их особенно много было на Бродвее и на Сорок второй улице — улице увеселений, кинотеатров, ресторанов, баров и шоу…

Теперь мне понятно, почему не открывается Второй фронт, они все здесь пасутся — тепло, светло и не дует! — сказал Вася Соловьев.

В один из дней мы навестили соседний с нами Эмпайр.

— Сто четвертый этаж Эмпайра! Кто с нами? — Коля взял меня под руку, ввел в огромный лифт.

Халушаков и Соловьев молча присоединились.

Цифры на табло мелькали, как бешеные. Хотелось зевнуть и «продуть» уши — как в самолете. На цифре 85 лифт остановился, мы перешли из большого лифта в маленький.

— Ну вот и все! Наверное, выше некуда!

— Можно и выше, но из-за войны закрыли… — К нам подошел пожилой мужчина фотограф и на приличном русском языке начал рассказывать о Нью-Йорке. — Видите, там, на севере, зеленый прямоугольник? Это наша гордость — Центральный парк. В этом каменном чулке он сохранился чудом. Когда Нью-Йорк только строился, какой-то миллионер закупил огромный участок земли и, умирая, в своем завещании запретил застраивать эту землю. Левее и дальше — видите, в дымке — висит над проливом мост Вашингтона. Да, да! Это самый большой мост через Гудзон! Под нами внизу — Рокфеллер-центр Радио-Сити, чуть в стороне — Крайслер-хауз, офисы и магазины автомобильной фирмы «Крайслер»… Взгляните на юг — видите статую Свободы? А рядом маленький островок. Это Эллис Айленд — по-русски остров Слез. Там тюрьма…

Мы с Колей переглянулись, а Вася с Халушаковым рассмеялись:

— Про остров Слез мы уже все знаем…

— А что, приходилось побывать?

— Да нет, нет, это они шутят. Продолжайте, пожалуйста…

— Да, давно я дома не был, лет пятьдесят! Какая она, Москва, стала?..

С высоты сто второго этажа мы наметили себе следующий объект для экскурсии — Рокфеллер-центр Радио-Сити…

В Рокфеллер-центре мы обратили внимание на скромную афишу: «Леопольд Стоковский дирижирует симфоническим оркестром НБС и студии 8Х Радио-Сити. Программа: Мусоргский — Стоковский. Март — 21».

— Пойдем? До начала десять минут!

Мы вошли в вестибюль, над кассой — «Аншлаг».

— Жаль… Быть здесь у самых дверей и не послушать Стоковского…

Мы стояли в раздумье, не зная, куда пойти дальше.

— Господа, извините, если я не ошибаюсь, вы советские моряки? Очень приятно! Будем знакомы — я администратор студии. Вы хотели попасть на концерт Стоковского? Я не ошибся?

— Да, но касса закрыта! Билетов больше нет!

— Это можно поправить, маэстро Стоковский будет очень рад видеть советских моряков на своем концерте. Прошу вас, проходите! Вы наши гости! Сюда, пожалуйста, — это его ложа!

Проводив нас, он удалился.

— Как в сказке!

Мы сидели в светлом, просторном, не очень большом концертном зале, переполненном публикой, изысканно одетой. Не успели мы как следует оглядеться, как перед оркестром появился стройный, высокий, в ореоле седых волос Стоковский. Он скорее походил на персонажа из Библии и напоминал кого-то из апостолов с картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Зал задрожал от бурных аплодисментов. Стоковский поклонился и, не дождавшись конца аплодисментов, взмахнул рукой. Зал замер и перестал дышать…

В антракте к нам подошел администратор:

— Господа! Маэстро Стоковский после концерта будет рад приветствовать вас в своей уборной.

Концерт окончен. Наконец, затихли рукоплескания. Наш доброжелательный администратор проводил нас в небольшую гостиную.

— Знакомьтесь! Дочь мистера Стоковского!

Перед нами предстала стройная, симпатичная девушка, светловолосая, голубоглазая.

— Соня! — сказала она и крепко, по-мужски пожала нам руки.

— Садитесь, пожалуйста! Отец сейчас придет. Вы из России? Страшно там сейчас! Боже, какое Ты послал людям испытание! Мы с отцом глубоко верим в победу русских над фашистами! — Она была очень эмоциональна, и все ее чувства отражались на ее лице.

Дверь отворилась, и в комнату вошел Стоковский. Он уже сменил черный фрак на элегантный серый костюм. Вид у него был утомленный, но, улыбаясь, он направился к нам:

— Добрый вечер, господа! Признаюсь, приятно удивлен… Я не предполагал, что русские моряки любят классическую музыку.

Рад, рад, что могу исправить свое заблуждение, тому подтверждение ваше присутствие на этом концерте, и за это очень вам благодарен. Как старый музыкант и как исполнитель вашего великого национального классика. Спасибо, что посетили мой концерт… Это теперь редкость.

Он энергично пожал нам руки.

— Вы давно из России? Мы с дочерью страшно переживали, особенно в начале войны. Но теперь, после Сталинграда, на мой взгляд, кризис миновал, и фашистам не уйти от возмездия. Я в этом убежден! Да! Война, война! Сколько она уносит жизней, сколько приносит горя…

Он погрустнел, замолчал… Потом встрепенулся:

— Вы прямо из России?

— Нет! Мы ждали караван в Лондоне.

— О! Расскажите, как там дела… Лондон — моя колыбель… Я родился в этом удивительном городе. Он так дорог мне…

— Горит Лондон! Много жертв. Разрушают его фашисты безжалостно. Весь район вокруг собора Святого Павла превращен в Помпею.

— Помоги им бог! Скажите, а как у вас в России?

— Было страшно! Тяжко! Но теперь погнали фашистов обратно в Германию и надеемся — без остановки до самого Берлина!

— Бывал я у вас в Петербурге, Москве, Киеве! Интересно, помнят ли меня там? И знают ли теперь?

— Вы у нас очень популярны, а после фильма «Сто мужчин и одна девушка» о вас заговорила вся страна. Теперь вас знают в любом самом отдаленном уголке Советского Союза.

Весь разговор проходил на русском языке.

На прощание Стоковский подарил нам программу концерта со своим автографом.

Каждый день Нью-Йорк открывал нам двери своих музеев, театров, кино. В музее Нового искусства на Пятьдесят третьей улице мы познакомились с полотнами и скульптурами лучших представителей современного искусства. Мы долго ходили по залам, спорили, недоумевали, удивлялись, утверждали, отрицали. Чуть не поссорились, споря о Кандинском. У полотен Матисса и Пикассо был апогей. У Ренуара и Моне — успокоились. У Родена — общее согласие и восторг. Здесь спорить было не о чем.

Возвращаясь в гостиницу, мы зашли в консульство:

— Какие новости?

— Вот молодцы, что зашли. Как это вы догадались? Вас-то мне и нужно!

У консула в приемной сидела пожилая пара.

— Знакомьтесь!

Из кресла тяжело поднялся седой, подстриженный бобриком старик с красным лицом.

— Давид Бурлюк! Боюсь, молодые люди, вы меня не знаете… Моя жена! Прошу знакомиться!

— Тот самый Бурлюк! Который… — нескромно вырвалось у кого-то из нас.

— Да! Да! Тот самый, который друг Володи Маяковского. Так вы хотели сказать? Извините, я перебил вас… Вы знали кто-нибудь Володю? — обратился он почему-то к Коле Лыткину.

— О нет! Это не то слово! Я только два раза виделся с ним, говорил… Я люблю Маяковского. Очень люблю! Я знаю его стихи наизусть, наверное, все, что он успел написать…

— Ну, Коля, сел на конька! Смотри, как разволновал старика, — прошептал Вася.

По красным щекам Бурлюка текли слезы.

… В сто сорок солнц закат пылал,
В июль катилось лето,
Жара была,
Жара плыла,
На даче было это…

Коля остановился.

Наступила тишина. Супруги Бурлюки сидели взволнованные.

— А помните «Флейту-позвоночник»? — спросил Бурлюк и вновь поднялся с кресла:

…Версты улиц взмахами шагов мну…

Бурлюк остановился, замолчал, вспоминая забытую строку, но Коля подхватил и продолжил:

…Куда уйду я, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
Выдумалась ты, проклятая?..

— Да, да! Правильно! Вы знаете, он был у меня здесь в гостях. Мы гуляли по Нью-Йорку…

Бурлюк задумался.

— Сейчас я работаю над большим портретом Володи, скоро закончу. Хочу подарить его вам, советским людям…

…Наше знакомство с городом продолжалось. Снимать нам не разрешал наш посол в Вашингтоне Литвинов, ссылаясь на указания нашего «главного товарища» — аргумент, конечно, сильный:

— Тогда придется пустить кинохроникеров союзных армий на наш фронт!

— А почему бы не пустить? О подвиге советских людей знал бы весь мир! — задал неожиданный для Максима Максимовича вопрос Николай Лыткин.

— Это неплохая лазейка для шпионов! Таков был ответ на наш запрос по поводу вас, друзья!

— А нам здесь предоставили полную свободу действий. А в Англии в Лондоне даже предоставляли военный самолет для полета в Африку на съемку военных действий против Роммеля.

— Наивный вы народ, друзья-кинооператоры! Разве от меня или от Майского это зависит?

Он весело рассмеялся.

— Первый раз, наверное, в Америке? Вот и пользуйтесь случаем — знакомьтесь со страной, поезжайте в Голливуд, познакомьтесь с киноискусством, с кинозвездами Америки. Ваше прямое начальство, Иван Григорьевич Большаков, дал команду на это интересное для вас мероприятие. Я думаю, это будет полезно не только для вас, но и для тех, кому вы об этом расскажете. А пока — знакомьтесь с Нью-Йорком.

Для нас эта встреча была поворотным моментом. Теперь мы уже перестали надеяться на исполнение первоначальной цели нашей опасной командировки: снимать в Англии и Америке фильм о конвоях, о доставке вооружения к нам на фронт. А в результате полный запрет…

— Ну что ж! Будем действовать так, как сказал Максим Максимович Литвинов, он посол, ему и карты в руки!

— Съемок нет! Продолжайте знакомство!

Как-то раз я спросил таксера, есть ли в Нью-Йорке нищие.

— Нет! Это запрещено! Но каждый может делать свой бизнес. Продавать спички, чуингам, шпильки-заколки… Покупают их только для того, чтобы помочь. Так сказать, нищета, узаконенная делом. Вы не можете просить милостыню, но можете научить этому собаку — это тоже бизнес. Это можно.

Проезжая мимо дешевого кинотеатра, он на секунду задержался. В дверях стояли люди, одетые в костюмы героев ужасов — Франкенштейн и доктор Джекил.

— Бизнес, но не нищенство…

Потом, проезжая мимо памятника на углу Бродвея и Центрального парка, Коля спросил нашего «шефа»: кому памятник?

— Сейчас подъедем — прочитаем, — невозмутимо ответил тот.

Подъехали, прочитали — Христофор Колумб.

На одном из приемов в среде молодых ученых Халушаков спросил:

— А как вы относитесь к Драйзеру?

— А кто такой Драйзер и в чем его бизнес? — осведомился молодой ученый.

Были и другие встречи, не менее неожиданные.

Однажды, томимые жаждой, мы заглянули в Даунтауне в дешевенький дымный бар и вдруг увидели нашего военного летчика в полной форме. Было ужасно шумно, он стоял, окруженный возбужденной компанией, и в пылу разговора отчаянно жестикулировал. Казалось, еще минута — и произойдет что-то непоправимое. Наверное, явление Христа в этом кабаке было бы менее удивительно, чем наше.

— Ребята! Родина! Откуда это вы?..

— Прямо с фронта! Разве не заметно? — пошутил Вася.

— Пошли отсюда! Невмоготу больше!

Помахав приветливо возбужденной компании, мы вышли на свет Божий. Летчик, майор — его звали Андрей — курил сигарету за сигаретой и молча шагал с нами по Бродвею. Наконец, его прорвало:

— Сижу здесь, в этой проклятой Америке, уже давно, а там война, и мое место — только там, там!

Он был в комиссии по приемке военных самолетов — принимал, проверял, отправлял с караванами в Советский Союз.

— Эх, как я влип! Все мои однокашники воюют, а я здесь, в этой дыре! Если бы вы знали, как надоел мне этот блестящий, сверкающий, громыхающий мир! Никогда не привыкну! Знаете, я им пытался втолковать, а они не верят… не верят, что Гитлер такая скотина! Если бы не вы, наверное, меня бы помяли… Как я рад вам! Торчу здесь один-одинешенек… Невесть для чего…

Мы молчали. Что было сказать? Что мы тоже «торчим невесть для чего»?

— Завтра в 21:30 с вокзала Пенсильвания-стейшн отправитесь в Голливуд. В Чикаго пересадка. В Лос-Анджелесе вас встретит наш консул товарищ Мукасей. Билеты вручит вам наш представитель на платформе перед отправкой поезда. Все ясно?

Желаю удачи!..

На этом мы простились с генконсулом Ломакиным.

…Поплыла и исчезла пестрая, разноголосая платформа Пенсильвания-стейшн. Экспресс быстро набирал скорость. Как всегда в начале длинного пути, все грустно молчали. Коля, о чем-то задумавшись, курил сигарету. Вася, глядя на собственное отражение в темном окне, грыз спичку. Халушаков, откинувшись на мягкую спинку дивана, прикрыв глаза, был где-то далеко, далеко…

Наконец, бесконечно длинный туннель под Хадсон Ривер кончился. За широкими окнами вагона замелькали пейзажи штата Нью-Джерси. Коттеджи, поля, дороги, многоэтажные дорожные развязки, пестрые бензоколонки и непрерывные вереницы бешено мчащихся автомобилей. Мы прилипли к окнам — за ними новый, никогда ранее не виданный мир — Америка. Весна. Нежная зелень. Белый цвет яблонь.

— Кто бы мог подумать, что в мире война?

Проплывали один за другим американские штаты в весеннем цветении — Пенсильвания, Огайо, Индиана и, наконец, Иллинойс…

…От Нью-Йорка до Лос-Анджелеса четверо суток езды. Четверо суток нам в поезде жали руки граждане Канзаса, Аризоны, Техаса, Миссури… Всех беспокоил и интересовал только один вопрос — что будет после победы над фашизмом? В победе были убеждены все. Мир или новая война, более ужасная бойня между русскими и их союзниками?

— Рай будет на земле! Понимаете, парадайз! Много музыки и цветов. Сплошной мир! — не уставая, повторял Коля.

Его искренняя уверенность, смеющиеся глаза заставляли наших собеседников верить в будущий мир на земле.

Наконец, поплыла за окнами залитая лучами заходящего солнца экзотическая Калифорния. Удивительное ощущение, будто я здесь когда-то уже был…

Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сакраменто, Сан-Франциско — какие знакомые названия городов… В детстве я разгуливал вместе с героями Джека Лондона по этим местам и вот… Не сон ли все это?..

ГОЛЛИВУД

Лос-Анджелес, март — апрель 1943 года

Значит, все это мне не приснилось! — сказала про себя Алиса. — А, впрочем, может, все мы снились кому-нибудь еще?..

Льюис Кэрролл

— Лос-Анджелес! — громко объявил негр-проводник.

Пересев на такси, мы помчались в Голливуд.

— Отель «Никкер Баккер»! — громко прочитал Халушаков.

Мы остановились у небольшого красивого здания.

Голливуд! Легендарный сказочный киногород. Когда-то я, киномеханик, «крутил» в Саратове голливудскую продукцию по три сеанса каждый вечер — и вдруг оказался в этом киноцарстве, где живут Чарли Чаплин, Мэри Пикфорд, Дуглас Фербенкс, Рудольф Валентино…

Голливуд, предместье Лос-Анджелеса, расположился в ложбине между гор. С вершины — от Обсерватории живописный вид на город, дальше, в дымке, — Санта-Моника, и за ней сверкает на солнце Тихий океан. Он всего в восемнадцати милях от Голливуда.

Здесь мы оказались не на положении кинооператоров — снимать нам посол так и не разрешил, — а на положении просто гостей.

Это было время, когда на языках всего мира звучало имя русского города — Сталинград. Нам казалось, что американцы как-то даже примирились с самим Сталиным, именем которого был назван этот город. Мы же для них были частью того огромного и великого, что разгромило недавно Гитлера под Сталинградом, и к нам относились с исключительным вниманием и дружеским восторгом — вернее, не к нам, а к народу, который мы представляли.

Не успели мы как следует прийти в себя, как посыпались приглашения. Фирма «Уорнер Бразерс» предлагает посетить студию и посмотреть новые фильмы. «Двадцатый век Фокс» приглашает просмотреть в ателье последний боевик и встретиться с героями фильма. Мистер Голдвин просит

проконсультировать снимающийся фильм о Советском Союзе. Режиссер Френк Капра просит посмотреть его документальный фильм «Прелюдия войны» и высказать свое мнение. Популярный композитор и дирижер Поль Уайтмэн — Король джаза, как его прозвали в Америке — ждет нас вечером на свой концерт в Лос-Анджелесе.

С нами встретился и долго разговаривал о последних событиях на Восточном фронте Лион Фейхтвангер. Он и тосковал по Германии, и ненавидел Гитлера. Мы присутствовали на съемках фильма «По ком звонит колокол» и беседовали с героями романа Эрнеста Хемингуэя — кинозвездами Ингрид Бергман и Гарри Купером. В павильоне снимались эпизоды в горах. Разговор был коротким, в перерыве между съемками, но очень интересным — все хотели знать, какие виды на победу и когда же, наконец, откроют наши союзники Второй фронт? Мы рассказали, как впервые познакомились с Ингрид в Лондоне, под бомбежкой, как дрожали слезы на ее ресницах в момент взрывов за стеной кинотеатра, где показывали фильм «Интермеццо», как стоически смотрели картину лондонцы. Знаменитый комик Боб Хоуп познакомил нас со своей веселой ролью в будущем фильме. В «Солдатской кантине» нас обещали представить самой популярной кинозвезде — Хэди Ламар. «Кантина» — это ночной клуб, организованный кинозвездами Голливуда только для солдат, прибывших на побывку с фронта или из госпиталя. Клуб обслуживали кинозвезды, и вход в него был разрешен только солдатам. Нам, офицерам, разрешили это в порядке исключения…

Мы увидели Хэди Ламар издали. Она не шла, а летела нам навстречу…

— А ведь она прямо к нам! — И Вася спрятался за Колю.

— Ну, ребята, пропали! Чудо, а не женщина! — тихо сказал Халушаков и покраснел.

— Добрый вечер! Как хорошо, что вы не обратили внимания на вывеску у входа! Я так польщена и рада видеть русских моряков у нас.

Все это произошло так быстро и неожиданно, а Хэди была так неотразима, что мы вначале стояли в смущении и не могли слова вымолвить, но, как всегда, Коля выручил нас всех. Он был галантен и осторожно, словно боясь разбить, взял Хэди под руку и молча повел к стойке бара. Но вот горе — танцевать Коля не умел, и эта приятная миссия выпала на мою долю. Когда кончился танец, я спросил Хэди:

— Откуда в Голливуде так много солдат и матросов?

— Это выписанные из госпиталя раненные. Здесь, на

Тихоокеанском побережье, много госпиталей после разгрома Роммеля. Перед новой встречей с войной мы и развлекаем их, может быть, в последний раз! — сказала она с грустью.

Прощаясь с нами, Хэди подарила мне перстень с рубином. Почему мне? «На счастье!» — сказала она. И этот перстень хранит меня всю жизнь.

Заходили в «Кантину» и только что «забритые» сосунки, как их шутя называли «морские волки».

Выходя из «Кантины», мы обратили внимание, что на входной двери было большими буквами написано:

ОФИЦЕРАМ И ГЕНЕРАЛАМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!

…Фрэнк Капра и Литвак, фронтовые режиссеры в форме полковника американской армии, показали нам свой фильм — «Битва за Россию». Я увидел вдруг свои севастопольские кадры, мое сердце так забилось, что казалось, вот-вот выскочит.

— Что с вами? Вам нехорошо? — спросил меня по-русски сидевший рядом полковник Литвак.

— Нет, просто взволнован. Я увидел родной Севастополь, снятый мною в сорок первом и сорок втором годах — в дни последнего штурма.

Мы впервые увидели, как удачно американцам удалось использовать немецкую хронику в столкновении с нашей фронтовой кинохроникой. В фильм вошел материал, снятый американцами, советскими и немецкими кинооператорами. Зритель видел войну с двух позиций, американцам тогда было легче это делать — война шла не на их территории. «Битва за Россию» ошеломила нас. Мы увидели войну не только своими глазами, но глазами врага, и глазами стороннего наблюдателя. События словно бы обрели рельефность, глубину и четкую антивоенную направленность.

Сегодня на встрече со старым оператором Нью-Йоркской кинохроники Майклом Дойлом мы увидели удивительный материал. Всего сто восемьдесят метров пленки, снятой им на Гавайях во время нападения японских самолетов на Пирл-Харбор. Было отчетливо видно, как японские самолеты пикируют на американские военный корабли. Высокие столбы воды и пламени, тонущие матросы в кипящей от взрывов бомб гавани, паника среди населения…

— Как вам все это удалось снять, коллега? — спрашивали мы в один голос.

— О, это было очень просто, снял бы любой оператор-

хроникер, если бы был на месте события. Важнее оказаться там вовремя! Да! Да! Случай! Счастливый случай — и ничего больше!

Майкл оказался очень скромным парнем, не очень словоохотливым, но все же мы упросили его рассказать, как он туда попал.

— Вернулся из Африки домой в Нью-Йорк усталый, разбитый… Увидел меня босс, покачал головой и сказал: «Поезжай, Майкл, куда-нибудь в тихий уголок и отдохни как следует, а то скоро могут быть веселые дела!» Я подумал, подумал и решил: «Махну-ка я на Гавайи». Побросал в сумку кое-что и пошел к двери. «Возьми меня с собой! — крикнул мне вдогонку кофр с «Аймо». — «Иди к черту! Устал я от тебя!» — И, пнув его ногой, я выскочил на улицу. «Такси! Такси!» Они пролетают мимо с пассажирами. И здесь произошел самый важный момент в моей будущей съемке. Заметьте — именно здесь, а не там, на Гавайях! Наконец появился свободный таксист, и вдруг будто кто-то дал мне пинка взад: «Майкл! Возьми меня с собой!» Не послушай я этого жалостливого призыва — не видеть бы вам нападения на Пирл-Харбор! Вот так, дорогие коллеги! Надо — не надо, таскайте с собой этот проклятый ящик с «Аймо»! А теперь посмотрите большой художественный фильм, снятый на основе моей хроники на Гавайях.

…Фирма «Метро Голдвин Майер» разделилась. Тысячу долларов в день платит Майер покинувшему его компаньону за право носить фирменную марку — рычащего льва и фамилию Голдвин. И вот сегодня Сэмуел Голдвин пригласил нас к себе на студию.

— Посмотрите, как мы снимаем «Северную звезду»! Критикуйте крепче, не стесняйтесь. Я хочу поставить правдивый фильм из жизни украинского колхоза в дни начала войны с Гитлером.

Мы были приятно удивлены, когда режиссер-постановщик фильма мистер Майлстоун, тот самый постановщик нашумевшего в свое время фильма «На западном фронте без перемен», представил нам героиню — колхозницу-партизанку. Ее играла известная кинозвезда Энн Бакстер.

— Вот и попробуй — покритикуй! Ничего не скажешь — наша, полтавская! — Халушаков обошел вокруг, стараясь придраться к чему-нибудь, найти несоответствие в костюме, в общем облике.

— Вылитая Оксана с пид Полтавы!

Нас глубоко тронула сцена окружения партизанского отряда и гибель двух партизан. Подкупала простота, человечность и правдоподобие эпизодов. Полное отсутствие клюквы.

Предвзятости.

В одном из павильонов нас встретил детский хор песней «Широка страна моя родная» — происходила запись музыкальных фонов. Меня такая тоска по дому охватила — хоть плачь! Соловьев зашептал, оглядываясь, не слышит ли кто:

— А не пора ли нам, братцы, домой подаваться? Там война, а мы тут экскурсантами бродим… Неудобно как-то…

Майлстоун водил нас по огромной территории студии, а мы следили, наверное, только за тем, чтобы не выдать своего изумления — это была словно бы другая планета.

— Господа! Перед вами город мира! Нам не надо на съемки ездить в дальние страны. Здесь представлены города и столицы многих государств!

Мистер Майлстоун повел нас по кварталам Парижа, Гамбурга, Мадрида, Лондона…

— Смотри, Биг Бен, будто не уезжали! Тауэр, а вот Нью-Йорк — Таймс-сквер, только безлюдно и нет автомобилей.

— А острова Слез здесь нет? — пошутил Коля.

— Пока нет! Но вполне может быть! — смеясь, сказал Майлстоун, он немного понимал по-русски.

Мы идем по кварталам экзотического Гонконга, Шанхая, вдруг неожиданно нам преграждают путь высокие тополя, низко склонившие ветви над прудом ивы. На пригорке в живописном беспорядке разбросаны крытые соломой белые хаты с плетнями, горшками, подсолнухами. В загоне лошади мотают головами. У плетня корова в раздумье жует жвачку.

— Мы обживаем колхозную деревню… — сказал режиссер. — Что не так, как у вас на Украине? Что можно поправить? Я буду рад вашим замечаниям…

Порядком уставших от экскурсии и впечатлений Майлстоун привел нас в кабинет главы студии.

— Господа! Меня очень беспокоит музыкальное оформление нашей «Северной звезды». Давайте поговорим о народной музыке и песнях вашей страны. Познакомьтесь — мистер Темкин — композитор!

Темкин хорошо говорил по-русски — его родители родом из Москвы. Проиграв на стоящем в стороне рояле несколько мелодий, он спросил:

— Ну как? Ваше мнение? Только откровенно, не обижусь, если не понравилось.

— Музыка мне очень нравится. Она мелодичная, напевная, но не совсем русская и, мне кажется, не совсем американская…

Я собирался еще что-то добавить, но Голдвин, извинившись, перебил меня.

— Вот-вот, это как раз то, чего я добивался от композитора. А от вас я хотел услышать подтверждение своей правоты. Вы это уловили, и я вам благодарен! Этот фильм я делаю не только для Советского Союза, иначе звучала бы ваша музыка и все было бы правильно. Этот фильм о советской жизни для американцев. Музыка должна быть такой, чтобы элементы русского и американского сочетались. Среднему американцу ничего не останется, как подпевать по ходу картины в зрительном зале! Это очень сложная задача, уверяю вас!

В заключение мы по просьбе хозяина не очень стройно спели «Полюшко-поле».

… На студии «XX век Фокс» ее художественный руководитель и продюсер Борис Мороз — русский, выходец из Петербурга — повел нас по студии, которая показалась нам пустынной. Кто-то имел неосторожность спросить:

— У вас что, сегодня выходной?

— Почему? — удивился наш гид.

— Пустовато…

Мороз рассмеялся:

— Просто каждый на своем месте и занят работой!..

Вскоре мы убедились в правоте его слов. В огромном павильоне происходила съемка и работа кипела. Мороз представил нам молодого человека, худощавого, среднего роста, ничем не примечательного:

— Знакомьтесь, дорогие гости, — сын Федора Ивановича Шаляпина!

Шаляпин-сын в то время снимался в роли советского сержанта в фильме «Россия». В заключение нам показали последний боевик фирмы «XX век Фокс» — «Сказки Манхэттена». Мы смотрели, затаив дыхание. Фильм произвел на нас огромное впечатление. Но особенно нас потряс фильм Орсона Уэллса «Гражданин Кейн». Нам рассказали, что у фильма была трудная судьба, его вообще не хотели выпускать на экран. Все факты и персонажи достоверны и настоящее имя героя не было загадкой. Разразился грандиозный скандал. Фирме предлагали колоссальные деньги с тем, чтобы уничтожить негатив и все копии, но режиссеру чудом удалось устоять в этом неравном поединке и сохранить для истории и фильм, и историю его возникновения.

Не успели мы вернуться в «Никкер Баккер», как за нами приехали со студии «Уорнер Бразерс». Да, уставать было некогда. Нас ждал один из братьев — Гарри Уорнер.

— Я только что закончил «Миссию в Москву». Мы с послом

Девисом хотим сами показать фильм Сталину в Москве. Но вы будете первыми зрителями. Вы знаете, что большинство фирм Голливуда сейчас ставят фильмы об СССР — «Мальчик из Сталинграда», «Девушка из Ленинграда», «Северная звезда»… Вы, русские, сейчас популярны у американского народа, как никто никогда не был популярен!

Действительно, Америка бурно выражала свои симпатии к России. Незадолго до нашего приезда член сенатской комиссии по иностранным делам Пеппер произнес хвалебную речь о доблести советских войск, в которой были и такие слова: «Кто может определить размеры нашего долга перед русскими? Россия никогда не падет, Россия и свобода будут существовать вечно!»

И это не исключение. Но — речи произносили, а Второй фронт открывать не торопились…

После вступления США в войну в декабре 1941 года была выпущена серия антифашистских фильмов. О России писали американские писатели: Колдуэлл — роман «Долгая, долгая ночь»; Лоусон — сценарий о советских партизанах — «Контратака» и «Конвой судов в Россию». Альберт Мальц вместе с кинематографистами смонтировал материалы советской кинохроники, написал дикторский текст к фильму «Москва дает отпор».

Неизмеримо поднялся интерес к документальному кино, и не только у кинематографистов, но и у широкого зрителя. Была выпущена целая серия, пользовавшаяся особой популярностью: «За что мы сражаемся?». Именно в эту серию входил фильм Фрэнка Капра и Литвака «Битва за Россию».

Луис Майлстоун, постановщик прогремевшего на весь мир фильма «На Западном фронте без перемен» и «Северной звезды», вместе с Йорисом Ивенсом снял картину «Наш Русский фронт». Режиссер Берстин поставил фильм «Русская история», куда вошли фрагменты из «Александра Невского», «Петра Первого», «Броненосца “Потемкин”» и других.

Многие в Голливуде значительно «покраснели». Даже «Метро Голдвин Майер» — фирма, поставившая до войны много антисоветских фильмов, одной из первых начинает в этот период делать картины об СССР. Именно в 1943 году Григорий Ратов ставит «Песню о России», дружественную нам, хотя и менее значительную, чем «Северная Звезда».

«Северная звезда» начиналась надписью:

— «…22 июня 1941 года немецкая армия пересекла Советскую границу. Она пересекла много границ. Но это была особая страна и особый народ».

А в 1958 году — спустя всего пятнадцать лет — «Сайд энд

Саунд» сообщил, что в лондонских кинотеатрах демонстрируется «первая версия "Северной звезды"». Картина была изрезана и изуродована, тексты заменены другими и кончались фразой:

— «Нацистскую угрозу сменила угроза коммунистическая…»

А еще раньше, в 1947 году, когда на Голливуд обрушилась Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, многие с легкостью и готовностью отказалась от своих работ военного времени — те же Гарри Уорнер, Луис Майер, Гарри Купер и Роберт Тейлор. Но многие остались навсегда настоящими друзьями Советской России.

ДВЕ ВСТРЕЧИ

Голливуд, апрель 1943 года

Адольф Гитлер имеет миллионы врагов, но один из самых страшных противников фюрера — маленький человечек, родившийся в том же году, что и вожак фашизма, — Чарли Чаплин.

Американский журнал «Фрайдей», 1941 год

— Друзья! Завтра в вашу честь я устраиваю большой прием! — сказал наш консул в Лос-Анджелесе М. Я. Мукасей. — Кого, вы думаете, я пригласил на эту встречу? Я пригласил Чаплина! И он принял приглашение. «Военные кинооператоры прямо с фронта? Это превосходно!» — сказал он мне. Ну как? Не ожидали?

Да, конечно, мы никак не ожидали. Чаплин вел довольно затворническую жизнь и последнее время старался меньше встречаться с коллегами.

И вот, наконец, наступил волнующий момент. Мы стояли в начале большого зала и принимали гостей. Знакомые уже по встречам на киностудиях актеры, режиссеры, продюсеры и совсем незнакомые люди. Всем мы крепко, по-русски, жмем руки, улыбаемся и говорим добрые слова приветствия. Но Чаплина все нет и нет!

— Неужели не придет?

— Не может быть! Обещал — значит, придет! — успокаивает консул.

Вдруг в переполненный зал быстро вошел небольшой, скромно одетый человек с белоснежной седой головой и молодым лицом. Широко улыбаясь, он шел нам навстречу. Ни с кем не здороваясь, ни на кого не обращая внимания, он протянул нам руки, и мы познакомились. Мне показалось, что мы всегда были с ним знакомы. Он с добрым любопытством заглядывал нам в глаза. Когда крепкие рукопожатия были позади, он с акцентом шутливо произнес по-русски:

— «Гайда, тройка, снег пушистый!..» «Твои губы шепчут о любви!» На этом мой русский истощился, перехожу на

английский! Не правда ли, это смешно!.. — Он весело рассмеялся.

Все вокруг смеялись. Было весело и просто.

Чарли Чаплин стоял перед нами совсем другой — не такой, каким мы привыкли его видеть на экране. И в то же время не узнать его было невозможно. Только его большие глаза с синими искорками могли быть одновременно и веселыми и грустными…

— Мы, ваши друзья, знаем и любим вас лет двадцать, а вы даже не подозреваете, сколько у вас друзей в Советском Союзе…

— Разве я популярен в России? Мои фильмы так редко у вас показывают!

— Что вы! Каждый наш мальчишка — ваш друг… Вас знают в каждом уголке страны! — Я засмеялся. Трудно вот так просто объяснить человеку, что он такое для каждого, что он такое для тебя… Потом я рассказал. Рассказал, как я познакомился с ним впервые, когда в двадцатых годах весь Саратов вдруг оклеился странными и притягательными афишами. На них не было загадочных названий «фильмы», не было блистательных заманчивых имен, да и вообще не было никакого текста. С белого полотна смотрели черные глаза под черным котелком, черные усики, трость с загнутым концом и стоптанные башмаки.

Афиши были всюду, висели долго и стали просто неотъемлемой частью города. Потом появились другие — с тем же рисунком и с лаконичным звучным именем — Чарли Чаплин. Имя врезалось в память, как удачная рифма, интриговало и жгло любопытством.

Потом пришла большая дружба. Он был ни на кого не похожий, свой, близкий и знакомый. Это была хорошая дружба с любимым героем, над которой даже не очень задумывался и, может быть, даже недостаточно ценил.

— А вы видели «Великого диктатора»? Похож?

— Мы видели фильм раньше в Лондоне — под бомбежкой…

— Знаете, в сорок первом году меня хотели судить за фильм — за подстрекательство к войне… Это было седьмого декабря. Не правда ли, смешно?

Седьмого декабря 1941 года был день, когда японцы напали на Пирл-Харбор.

Тогда, в сорок третьем, мы многого не знали о Чаплине. Не знали и того, что менее года тому назад, 22 июля 1942 года, он произнес речь на митинге в Мэдисон-Сквер Гарден, которая транслировалась по ради. Я прочел эту речь немного позже — в его автобиографии. Тогда Чаплин сказал:

«На полях сражений в России решается вопрос жизни и смерти демократии, судьба союзнических наций — в руках коммунистов. Если Россия потерпит поражение, Азиатский

континент, самый обширный и богатый в мире, подпадет под власть фашистов… Останется ли у нас тогда хоть какая-нибудь надежда одержать победу над Гитлером?.. Если Россия будет побеждена, мы окажемся в безвыходном положении.

… Россия сражается у последней черты, но она самый надежный оплот союзников. Мы защищали Ливию и потеряли ее. Защищали Крит и потеряли его. Мы защищали Филиппины и потеряли их. Но мы не можем рисковать потерей России — последней линией защиты демократии. Наш мир, наша жизнь, наша цивилизация распадается у нас на глазах, мы должны поставить на карту все, чтобы спасти их. Если русские потеряют Кавказ, это будет огромным бедствием для дела союзников. Тогда «пацифисты» выползут из своих нор. Они потребуют заключения мира с непобедимым Гитлером. Они заявят: зачем жертвовать жизнью американцев, когда мы можем заключить соглашение с Гитлером?

Остерегайтесь этой фашистской ловушки! Волки нацисты всегда готовы облачиться в овечью шкуру. Они предложат вам выгодные условия для заключения мира, но раньше, чем мы успеем это заметить, мы окажемся в плену их идеологии. Они уничтожат нашу свободу, подвергнут тщательной проверке наши мысли, навяжут нам свой язык, подчинят себе нашу жизнь. Руководить миром будет гестапо. Они будут распоряжаться нами и на расстоянии… Прогресс человечества будет приостановлен. Права меньшинств, права рабочих, права граждан будут раздавлены, уничтожены…

Нам необходимо… прежде всего немедленно открыть Второй фронт… одержать этой весной победу… попытаться сделать невозможное. Не забудем, что все великие события истории человечества представляли собой завоевания того, что казалось невозможным…».

— Да! Я забыл посмотреть, кто же здесь есть? — сказал Чаплин, надел очки и быстро оглядел зал, ни на ком не остановив взгляда, продолжал разговор дальше, будто, кроме нас, никого не было. Он говорил о последней хронике с фронта — взятии Сталинграда.

— У фашистов лица настоящих дегенератов. А какое независимое, одухотворенное выражение лиц у советских офицеров. Допрос пленных немецких генералов — полная драматизма сцена. Она даже ночью мне снилась…

Рассказывая об увиденных кадрах, Чаплин преображался, его мимика, глаза, руки говорили не менее слов. Прощаясь, Чарли Чаплин взял с нас слово обязательно посетить его студию.

Настал, наконец, долгожданный день.

Мы не едем, а летим на студию к Чаплину. Скорее, скорее… — подгоняет каждый из нас. Казалось, дороге нет конца… Красные огни светофора, будто дразня, задерживали на каждом перекрестке.

Наконец, резко скрипнув тормозами, машина остановилась у зеленых, увитых диким виноградом ворот студии. Высокий привратник, ветеран прошлой войны — судя по орденским ленточкам на груди — приветливо распахнул перед нами дверь:

— О, русские ребята! Заходите, заходите, пожалуйста! — говорил он, широко улыбаясь. — Мистер Чаплин будет с минуты на минуту. Разрешите поздравить вас с успехом на фронтах. Сейчас радио принесло потрясающую новость, русские гонят Адольфа обратно в Германию! Вот это сенсация!

За воротами послышался нетерпеливый гудок, наш восторженный собеседник распахнул широкие ворота, и во двор мягко вкатился серый старомодный «роллс-ройс».

Стремительно распахнулась дверка, и Чаплин — веселый и оживленный — выскочил нам навстречу и крепко потряс наши руки. Из машины вышла совсем юная девочка, и когда она подошла к нам, Чаплин представил ее:

— Уна, моя жена и будущая кинозвезда, но все это у нас впереди, — и он счастливо рассмеялся.

Уна как старых друзей расцеловала каждого, и, обняв нас за плечи, Чаплины радушно повели всех в просмотровый зал.

— Я покажу вам, друзья, один свой старый фильм. Надеюсь, вы его не видели. Я сделал его восемнадцать лет назад. Он ровесник Уны. Не правда ли, смешно? — Он залился веселым счастливым смехом.

Пока мы рассаживались в маленьком узком зальчике, Чаплин перепрыгнул через пару раскладных стульчиков, на ходу сбросил с плеч плащ, подбежал к роялю и сыграл стоя что-то очень бравурное. Потом закрыл крышку, пробарабанил по ней несколько тактов и повернулся к нам:

— Шостакович! Не правда ли, это смешно?

Эта фраза — его постоянная поговорка.

— Пора начинать, а они там заснули.

Он стал всматриваться в окошечко кинобудки. Наконец, не выдержав ожидания, вскочил в кресло у стены, забрался на его спинку, заглянул в отверстие кинобудки и махнул рукой.

— Начинать.

С того момента, как погас свет, и до того, как он снова зажегся, мы смеялись до слез, до боли в животе. Чаплин смеялся с нами вместе — будто тоже впервые видел фильм.

— Не правда ли, это смешно? — спросил он, как только мы пришли в себя от смеха.

Потом настал наш черед. Мы решили показать документальный фильм «Черноморцы», который мы с оператором Рымаревым снимали во время героической обороны Севастополя. Фильм неделю назад прислали в наше консульство. Будто знали, что мы появимся в Голливуде.

Я очень волновался. Страшно было показывать королю кино свою скромную работу, и страшно было за работу — ведь для нас она была частицей до боли родного Севастополя и тех суровых, но дорогих дней — дней обороны… Ведь Чаплин сам не видел войны — почувствует ли он то же, что чувствовали мы, когда снимали эти кадры?

Свет погас. Застрекотал знакомо проектор.

Мы сидели рядом. Я по ходу действия немного комментировал фильм и украдкой следил, как Чарли реагирует на увиденное…

На экране морская пехота перешла в контратаку.

— Прекрасно! Чудесно! Превосходно! Невероятно! — Чаплин не переставал восклицать, подпрыгивая в кресле.

Но вот развернулись события последних дней обороны. От Севастополя остались руины. Тонули корабли, догорали последние здания. У разбитых орудий умирали матросы…

Чаплин приумолк, затих, опустил голову и в руках его появился платок. На экране последние дни обороны Севастополя. Огромные взрывы тяжелых снарядов от пушки «Большая Дора» на Северной стороне. Закопченный от дыма, пробитый осколками памятник «Затопленным кораблям». У подножия плещется море — Черное море. Конец. Зажегся свет.

Чарли Чаплин повернулся к нам, намереваясь что-то сказать, и мы увидели, что его влажные глаза потухли.

— Я так потрясен, так взволнован, что не могу говорить! — сказал он тихо.

Наступила тишина. Все это время Чаплин сидел, положив седую голову на руки. Прошло несколько минут. Потом он встрепенулся:

— Друзья, я хотел пригласить вас к себе домой, но сегодня постный день. Не правда ли, смешно? В Америке постные дни!.. Абсурд! — он рассмеялся и пригласил нас поехать с ним в ночной клуб кинозвезд «Браун Дерби» — «Коричневая шляпа».

Огромный ресторан был почти пуст. За одним из столиков сидел уже знакомый нам Пол Уайтмэн с дамой. Мы поздоровались.

— Вы уже знакомы? — удивился Чаплин.

— Да. Нас познакомил Грегори Ратов.

Не успели мы расположиться за столом, как потянулись любители автографов. Я повернулся в зал и глазам своим не поверил — зал был переполнен.

Охотники за автографами, видимо, раздражали Чаплина. Вскоре он не выдержал, вскочил на стул и посмотрел туда, откуда наплывала река поклонников. Через несколько секунд паломничество прекратилось. То ли кто-то оберегал его от чрезмерного внимания поклонников, то ли они сами поняли, что нужно и меру знать — я так и не понял.

Усаживаясь поудобнее в кресло, Чаплин сказал:

— На мальчишеской бирже в Нью-Йорке за один автограф Ширли Темпл — героини детских фильмов — дают три моих автографа. Не правда ли, это смешно? — Он рассмеялся, но глаза были грустными, как тогда, в просмотровом зале.

Мы спросили, что он сейчас делает, что собирается снимать.

— Вы знаете французскую сказку о Синей Бороде? Я сейчас думаю над сценарием о Синей Бороде… Это будет сказка о Синей Бороде на американский манер… Вы знаете, все сказки повторяются… У каждого народа есть похожие сказки… Только в каждой стране и в каждое время в одной и той же сказке по-разному расставляются акценты — это, кстати, и характеризует нравы и время — акценты… Как вы думаете, почему Синяя Борода убивал своих жен?

Посыпались ответы:

— Ну, он просто персонаж сказки ужасов — наивный Франкенштейн своего времени…

— Нет, он не злодей — он просто проверял честность своих жен и разочаровывался в них…

— Да нет — ему просто очень быстро надоедали его жены — ему хотелось новых…

Чаплин рассмеялся:

— Вот видите, сколько версий…

Он помолчал.

— Он убивает их из-за денег. Это моя версия. Я ведь хочу сделать современную сказку… и непременно американскую…

Эта «американская» сказка, выйдя на экраны, называлась «Месье Верду» — Чаплину так и не дали «расставить акценты» на американской действительности.

— Мне очень хочется поехать в Советский Союз. Скажите, в какое время года лучше всего это сделать?

— Приезжайте сразу же, как кончится война. Это будет самым лучшим временем года в нашей стране…

На прощание он нарисовал на обороте фотографии моей

мамы, которую я всегда ношу с собой, маленький шарж на себя — усы, котелок, трость, стоптанные башмаки и грустные черные глаза. Это было удивительно похоже на те афиши, с которых начиналась наша встреча в далеком Саратове двадцатых годов…

И сказал:

— Когда вернетесь в Россию — телеграфируйте, что живы! Я буду ждать вашу телеграмму…

На улице Чаплина ждала сдерживаемая полицией толпа шумных, восторженных американцев, которые четвертое десятилетие не уставали приветствовать своего любимого актера и режиссера.

Он грустно попрощался с нами:

— До встречи в Москве, мои дорогие!…

Он быстро вошел в раскрытую дверку своего «роллс-ройса», помахал нам рукой, и черный лакированный кар умчал его по ночному бульвару Сансет.

…Через три месяца в Москве в Гнездниковом переулке мне вручат крошечный бланк телеграммы — ответ на нашу телеграмму в Голливуд: «Благодарю за вашу телеграмму, которую я очень ценю, желаю долгого счастья. Чарли Чаплин».

ТУМАН В ПРОЛИВЕ ЛАПЕРУЗА

Сан-Франциско — Владивосток,
апрель — май 1943 года

Но лишь на миг к моей
стране от вашей
Опущен мост…

Николай Гумилев

Остались позади сотни километров, которые мы «накрутили» по дорогам американских Соединенных Штатов, остались позади Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Голливуд, Сан-Франциско — невероятный калейдоскоп впечатлений, встреч и знакомств…

Впереди Тихий океан, который мы пересекали на огромном, самом большом тогда в Союзе пароходе «Трансбалт». «Трансбалт» был гордостью Совторгфлота. Однажды на линии Ленинград — Владивосток в сильный шторм корабль надломился посередине на гигантской волне, чудом добрался до ближайшего порта и после ремонта снова вступил в строй и включился в конвой. Теперь на «Трасбалте» мы, четыре кинохроникера, заканчивали нашу «огненную кругосветку». Впереди Владивосток.

В моем кофре с пленкой, завернутая в старые голливудские афиши, лежала небольшая позолоченная статуэтка, которую мне вручил для передачи режиссерам Варламову и Копалину наш консул в Голливуде М. Мукасей. Это был первый советский «Оскар», незадолго до этого присужденный американской киноакадемией документальному фильму «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой». «Оскар» был наградой невиданной для советского кинематографа, и я во что бы то ни стало должен был доставить его по назначению.

…«Трансбалт», оставляя черную ленту дыма, все дальше уходил на запад.

Тихий океан встретил нас тишиной. Ни облачка на небе. Нашу махину ритмично покачивают длинные глянцевые волны.

Изголодавшись по съемкам, мы в первые же дни набросились на экипаж и за неделю сняли очерк о рейсе «Трансбалта». Больше снимать было нечего — со всех сторон нас окружал океан…

Сводки Совинформбюро подстегивали наше нетерпение — хотелось как можно скорее добраться до родной земли, скорее

вернуться на фронт и не опоздать к освобождению Севастополя. Гитлеровцы сидят на азово-черноморском побережье и зубами держатся за половину Новороссийска. Как там ребята — Дима, Костя, Федор?..

Когда Тихий океан был уже позади, до Владивостока нам оставалось одно серьезное испытание — пролив Лаперуза, который патрулировали японцы.

Мы поднялись на мостик в штурманскую рубку. Последние дни капитан Субботин не покидал своего поста, и спать ему почти не приходилось.

— А! Привет! Добро пожаловать! Проходите вот сюда. Ну, что? Как дела?

Капитан был в прекрасном настроении, встретил нас доброй улыбкой и, взглянув утомленными от бессонных ночей глазами, сказал:

— Упрямый вы народ — киношники! Хвалю! Сам такой! Хороший риск во много оправдывает себя! Ваше присутствие на «Трансбалте» тому пример! Даже на фронте и то меньше риска, чем на борту. Да, да! Ну а где же главный ваш ко мне вопрос?

— Ах да! Когда пролив Лаперуза? — спохватились мы.

— Завтра, друзья! В конце дня! Сам жду не дождусь, видите, все время торчу на мостике, и признаюсь — очень волнуюсь. Вы же знаете, чем забиты трюмы нашего шипа, какими «станками»? Обстановка, прямо скажу, сложная и сверхопасная. Как бы не выкинули чего наши островные соседи… Вот если пройдем Лаперуза спокойно — считайте себя дома.

— А что, разве есть основания для беспокойства? Вы чего-то опасаетесь? — спросил Вася.

— Пока нет. А там видно будет. Кругом японцы, хотя мы и не замечаем их…

— Он очень мелкий и узкий — этот ваш Лаперуз? — не унимался Василий.

— Всего сорок три километра и усеян множеством подводных рифов. Требует большой осторожности, а в тумане вообще непроходим.

— Лаперуза, Лаперуза, какая японская фамилия у этого француза! — как бы рифмуя, пропел себе под нос Вася.

На этот экспромт капитан тут же с энциклопедической точностью дал поучительную справку:

— Французский мореплаватель восемнадцатого века Жан-Франсуа Лаперуз в тысяча семьсот восемьдесят третьем году возглавил на кораблях «Буссоль» и «Астролябия» кругосветное плавание: Брест — мыс Горн — остров Пасхи — Гавайи — залив Монтерей — Северная Америка — Филиппины — Япония —

Камчатка — порт Джексон. Выйдя дальше по направлению Новой Каледонии, экспедиция пропала без вести… И только в тысяча восемьсот двадцать шестом году ирландец Диллон обнаружил остатки экспедиции на острове Веникоро в группе Санта-Крус. Здесь потерпели крушение оба корабля. Лаперуз ошибся только в одном — он считал, что Сахалин полуостров, а не остров. Но это исправил наш соотечественник Невельский. Вот, товарищ дорогой, какая это японская фамилия.

Долго тянулся день. Еще дальше ночь — и новый, последний в Тихом океане день…

— Земля! Земля! — кто-то крикнул с мостика.

— Даже не верится — неужели скоро конец пути?

— Наконец-то!..

Этот возглас переполошил всех, а нас особенно — так давно мы не были на родине. Я смотрел до слез, но горизонт был чист.

— Где же она? Не видать! Кто там орал? «Земля»! «Земля»! — ворчал, как всегда, нетерпеливый Вася.

Но всем было ясно — она вот-вот вырастет из-под воды…

А что, если эта прозрачная тучка на горизонте превратится в землю?

Я нисколько не буду удивлен — это и есть земля!

Теперь уже все видели, что это не тучка, но и на землю она не похожа. Наше нетерпение росло. К проливу мы подошли измученные долгим ожиданием земли. Солнце клонилось к закату. Только теперь мы заметили впереди, прямо по курсу два военных корабля.

— Японцы! Я вижу их флаг!

У меня как-то сразу пусто стало под ложечкой. Японцы — народ серьезный, и встреча с ними перед входом в пролив не простая случайность.

— Чего это вы перепугались? Мы же не воюем с ними? — Вася рассмеялся.

«Трансбалт» сбавил ход. На мостике появился капитан и, поговорив с помполитом, переключил телеграф. Машина замерла. На баке отдали якорь. На сердце стало тревожно.

— Эсминец и канонерка, а может, сторожевик, не пойму…

— Тоже мне моряк — капитан третьего ранга, не может распознать класс корабля! — ехидничал Вася.

— Не нравится мне эта задержка! Пролив Лаперуза — японские воды… Наверное, была с их стороны команда отдать якорь. А то чего бы ради…

— Только бы не проверка трюмов! Тогда хана нам, могут торпедировать…

— Смотри, от эсминца шлюпки гребут прямо к нам!

На «Трансбалте» готовились к встрече. Спустили главный трап и у входа, поджидая японцев, стояли капитан и его два помощника — старпом и первый помощник — помполит. Вид у них был мрачный.

Резкими рывками шлюпки приближались к нашему кораблю. Японские матросы гребли под гортанную команду кормового, слаженно, ритмично, все, как один. Между кормовым и загребным стояла плотно небольшая группа офицеров. Японцы явно били на эффект. Их матросы на шлюпках работали как автоматы, а офицеры, замерев, стояли подобно изваяниям.

— Хорошо идут! Ничего не скажешь! — шепнул Коля.

Недалеко от трапа прозвучала резкая, неприятная на слух команда — очевидно, «суши весла». Весла взлетели вверх и замерли в вертикальном положении. Передняя шлюпка плавно и точно подвалила к трапу и в сантиметре от него остановилась, не коснувшись ступеней. Офицеры, отдав честь, легко выпрыгнули на трап и быстро засеменили вверх.

Небольшого роста, плотные, смуглые, как нам показалось, все на одно лицо, с блестящими медалями и сияющими пуговицами, напоминали оперных персонажей из «Гейши». Один из них говорил по-русски и, здороваясь подчеркнуто вежливо и театрально, произнес с акцентом:

— Здлавствуйте, господина капитана!

Пожав руку, отдав честь с поясным поклоном и обворожительной улыбкой, он перешел к следующему.

— Здлавствуйте, господина сталпома!

Когда этикет приветствий был выполнен до конца, они, отойдя от трапа в сторону, предъявили свои полномочия, дающие право проверять грузы всех торговых кораблей, следующих через территориальные воды.

Мы знали, чем наполнены трюмы «Трансбалта», и знали, что с таким грузом не один корабль был отправлен «неизвестными» подлодками на дно.

— Как будет наш капитан выходить из этого безвыходного положения?

— Уму непостижимо!

Японцы потребовали показать им трюмы и накладные на грузы. В наименовании грузов значилось: сельхозмашины, станки и т. д.

— Надо мало-мало смотлеть — калго, калго тлюмный глуз! Масины, Станоки… — показывая большие, выпирающие вперед желтые зубы и сладко улыбаясь, говорил старший по званию офицер. Как оказалось, они все в достаточной степени владели русским языком.

Прежде чем вести в трюмы, японцев по русской традиции угостили водкой и свежей черной икрой. Потом повели по трюмам.

Недолго ходили офицеры между огромных контейнеров с голубыми диагональными полосками на свежих досках. Они даже не попросили раскрыть один из них. Настолько все было ясно, что скрывалось за голубой полоской. Поглаживая рукой в белоснежной перчатке гигантский ящик, веселый японец приговаривал:

— Холосый станки, масинки! Холосый! — и, причмокивая, вел остальных в следующий трюм.

Когда осмотр был окончен и все собрались у трапа, церемония прощания повторила церемонию встречи — с маленькими изменениями в тексте:

— Пластяйте, господина капитана!

— Пластяйте, господина сталпома!

— Пластяйте, господина *помполита*! — подчеркнуто, еще слаще улыбаясь, японец фамильярно похлопал помполита Румянцева по плечу.

Откуда он мог знать, что первый помощник капитана Румянцев — помполит на корабле?

Исчезли они так же быстро, как и появились. На прощание угостили их водкой с икрой и дали каждому по большому калифорнийскому апельсину.

Прошел томительный час после ухода японцев с палубы «Трансбалта», а мы все ждали команды — продолжать путь дальше.

— «До утра с якоря не сниматься!» — наконец просигналили японцы.

— Да, дорогой Василий Васильевич! А вы говорили — Япония не…

— Брось, Коля, шутить! Неизвестно, чем завтра нас поздравят эти обезьяны…

— Ясно чем! Одно из двух! Или отведут под конвоем в Кобэ, или отправят, как других, без конвоя прямо на дно! — мрачно предположил Халушаков.

Наступила ночь. Ветер совсем упал. Над морем поднялся туман. Повисла густая тишина. Только с берега доносился еле-еле уловимый шум наката тяжелой океанской волны. Туман густел, клубился. Мы, выйдя на палубу, совсем растворились в нем. Стояли в двух шагах и не видели друг друга. Добравшись на ощупь до фальшборта, мы сели на балку. Нас обволокло сырое темное месиво. Сидели молча, каждый думал о своем и, наверное, о том, что нас ждет завтра. Вдруг до нашего слуха донесся легкий

лязг цепи.

— Вы слышали, работает лебедка! На малых оборотах!

— Неужели поступила команда? — наивно обрадовался Вася.

— Ребята! Якорь выбирают!

— Да. Команда поступила — только не от японцев, а от нашего капитана — смываться, пока туман! Завтра будет поздно. Какой молодец!

— А помнишь, что он вчера нам говорил?

— «В тумане Лаперуза непроходим».

— Вот это тот самый риск, о котором он говорил — пройти во что бы то ни стало! Другого выхода нет!

Мы были возбуждены, разговаривали, не видя друг друга, тихо… Вместе с тревогой в нас вселилась уверенность. Мы радовались смелости и отваге нашего капитана.

— Представьте, как будет здорово, если пройдем!

— И не напоремся на рифы! Утром поднимется туман — и какую эмоцию озарит солнце на роже этого самодовольного японца!

— Здластe и плостивайте, господина самулая! — пародировал Вася.

— Довольно! А то сглазите!

Наш разговор прервала тихо заработавшая машина в глубине «Трансбалта», и мы двинулись вперед в безбрежность и темноту. Всю ночь ни один человек на корабле не сомкнул глаз. Мы до утра просидели на мокрой банке в полном мраке и неизвестности. Туман рассеялся только в одиннадцать утра. Мы были далеко от Лаперуза, в наших водах.

Только по прибытии в Москву, мы узнали, что на обратном пути из Владивостока в Сан-Франциско «Трансбалт» торпедировали «неизвестные» подводные лодки, и он затонул в районе пролива Лаперуза. Команду спасли японцы…

КЕРЧЕНСКИЙ ДЕСАНТ

Тамань, Керчь, 1943–1944 годы

И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди, теплые, живые,
Шли на дно, на дно, на дно…

Александр Твардовский

Замкнулось кругосветное кольцо, я снова на своей земле, я снова на берегу Черного моря в разбитом, сожженном Новороссийске, только что отбитом у врага. Я пробую вспомнить и, как в машине времени, вернуть этапы драматических мгновений того безвозвратно ушедшего времени, что так волновало, тревожило. Время… Неумолимое время — шагающее, плывущее, летящее и неведомое…

Не успели оглянуться, а война отстреляла два года и расстреливает третий. Время в своем стремительном движении вперед теряет на пути пережитые события, и они, как вехи истории, замирают в веках на страницах книг, полотнах живописи, в миллионах метров кинопленки, снятых нами — фронтовыми кинооператорами…

Вот они, вехи истории: кинохроника — машина времени: может отработать назад и воскресить пережитое. Оборона Одессы, Севастополя и Кавказа, горящий Архангельск, трагические рейсы караванов с конвоями вокруг света, пылающий Лондон и сверкающая беспечная Америка. Время затеряло в пути пережитое, а мы можем теперь воскресить его для размышления, чтобы никогда не забыть и не дать повториться…

Я дома. На своей горячей от боев земле, среди своих друзей. Только наш шофер Петро не вернулся из Севастополя…

Шел сентябрь сорок третьего, и дорога неумолимо вела нас к Черному морю, к Тамани. А там впереди — Крым, Севастополь…

Немцы с колоссальными потерями откатывались к Керченскому проливу. До самой Тамани наши части гнались за ними по пятам. Вместе с нашими танками на всем ходу ворвались мы в Тамань. Стояла жара. Пыль, поднятая гусеницами и колесами, долго не оседала. Солнце гасло в облаках пыли как в

пасмурный день.

Мы снимали следы поспешного бегства врага. Немцы построили через пролив подвесную канатную дорогу, но наши самолеты разрушили ее. У берега колыхались на легкой волне разбитые транспорты. Волны прибили к берегу трупы немецких солдат. Летняя прогулка к Черному морю обошлась Гитлеру в четыреста тысяч солдат и офицеров. Таковы были потери врага в битве за Кавказ…

Началась подготовка к крымскому десанту, шло накопление техники и средств переправы. Все это происходило по ночам, и нам ничего не оставалось делать, как пользоваться вынужденным отдыхом…

Наконец командование распределило нас. Кого куда. Меня — на морской охотник. Несколько раз по «морской тревоге» мы выходили в море для проверки оружия и готовности личного состава — ночью, утром, днем… Вместе с нами к десанту готовились сто тридцать тысяч человек.

И вот наступил долгожданный день, вернее ночь. Долгожданный действительно потому, что мы к нему долго шли, а не потому, что всем так не терпелось попасть на тот свет…

Мы не знали, что за несколько дней до этого части 18-й армии уже перебрались через Керченский пролив и захватили плацдарм в районе Эльтигена — это был тот самый десант в Эльтиген, который впоследствии был назван «огненным десантом». Он высадился в ночь на 1 ноября и отвлек на себя значительные силы врага. Затем 2 ноября был высажен первый эшелон 56-й армии — на участке Маяк — Жуковка.

Мы готовились к высадке со вторым эшелоном — 55-й гвардейской стрелковой дивизией генерала Б.Н. Аршинцева в ночь на 3 ноября с косы Чушка.

Я не знал и не видел, что творилось в этот день на берегу. Еще с вечера накануне я занял свое место на «охотнике» и в тревожном ожидании пробовал представить себе, что меня ждет там — впереди.

С Азовского моря, как из аэродинамической трубы, дул, завывая, резкий, леденящий душу ветер. Он гнал крутую ералашную волну, и она дробно и тревожно стучалась, билась о борт, обдавая брызгами командный мостик.

Вдруг сыграли боевую тревогу и мы, как с цепи сорвавшись, понеслись куда-то в темную, ледяную, завывающую бездну.

Сквозь низко бегущие, как в мультипликации, разрозненные тучи проглянула луна, и мы увидели, сначала одну, а потом другую неуклюжую посудину.

«Что это — баркас или понтон»? — подумал я.

Когда тучи оставили луну одну без прикрытия, стало видно, что наш пляшущий на волне «охотник» очутился среди множества посудин — железных понтонов и простых рыбачьих лодок, наполненных до отказа бойцами в шлемах и меховых ушанках, с рюкзаками за спиной и автоматами на шее.

Перегруженные лодки сидели низко в воде, и волны захлестывали борта. Я почувствовал, что сейчас мне будет скверно. Я понял, что лодкам не доплыть до Крымского берега. Бойцы касками вычерпывали воду со дна лодки, но волны и ветер делали свое дело. Вначале я даже не совсем осознал, что за этим последует, но когда первый понтон пошел ко дну и на волнах стали выныривать и снова погружаться головы в касках и ушанках, мной овладел такой ужас — не за себя — за них, что к горлу подступила тошнота и началась рвота. Такого со мной никогда не случалось.

Тонули понтонные лодки, переполненные войсками. Высокие, с белыми барашками волны быстро захлестывали их. Бойцы не успевали вычерпывать воду и как-то странно, молча, безропотно погружались в черные воды и исчезали под пенными гребнями. Тяжелая амуниция не давала возможности бороться со стихией.

Наш катер-охотник и несколько других, находясь в центре трагического бедствия, как могли старались помочь гибнущим, спасали, подбирая на борт утопающих. Нам с большим трудом удалось вытащить на борт несколько десятков солдат. Они тряслись не столько от холода, сколько от безысходности. Многие были не в силах противостоять ледяному ветру и, ослабев от борьбы и холода, падали на палубу, теряя сознание. Некоторые при крутом крене корабля скатывались за борт и исчезали в пучине.

Мне, как и другим членам команды, было жарко, но руки деревенели от стужи и отказывались повиноваться. Луна снова накрылась темным тяжелым одеялом, стало совсем темно. Командир дал команду зажечь прожектор. Поймали на волнах еще несколько бойцов, в них чуть теплилась жизнь. Порыскали среди пляшущих волн, и вернулись обратно на базу, чтобы сдать свой нежданно спасенный груз. До утра оставалось не так долго.

Низко над Керченским проливом плыли разорванные тучи, восходящее солнце окрасило в яркие краски и море, и берег, и небо. Первый луч послужил сигналом.

Резкими вспышками молний покрылся восточный краешек крымской земли. Задрожал утренний прозрачный воздух. Затряслась под ногами палуба. Захватило дыхание и заложило уши. Протяжный нарастающий гул от орудийной канонады

слился с гулом летящих бреющим полетом «илов», истребителей и над ними — бомбардировщиков.

Застучало, забилось громко сердце, я приложил ко лбу холодное «Аймо», и начал снимать летящие «илы». Так я сумел погасить охватившее меня волнение. Почему-то я решил, что это и началось великое представление, когда на самом деле оно началось еще вчера при посадке войск на корабли, катера, понтоны… А сейчас продолжался штурм Керченского пролива с выходом на крепость Ени-Кале под Керчью.

С песчаной косы Чушка протянулась до самой крымской земли густая, жирная, как крем, дымовая завеса. Она как бы замерла, застыла, закрывая собой идущие на штурм Крыма корабли с десантом.

По узкой золотой косе непрерывным потоком катилась техника. Чушка — пятнадцатикилометровая коса с вязким песком — тянулась от кавказского берега к крымскому. Сколько солдатского пота и крови стоил ее золотой песочек двадцати метров ширины! От снарядов никуда не спрячешься, ямку не выроешь — копнул разок-другой — вода. От леденящего душу норд-оста не спрячешься, не согреешься ни шинелью, ни ватником, ни спиртом.

Немец бил из Керчи по площади наугад. Дымовая завеса мешала прицельному огню. Вражеские снаряды выращивали целые рощи белых разрывов, и пестрая цветастая радуга, переливаясь, играла на водяной пыли.

Воздух воет, звенит, гудит, тяжело охает и захлебывается, как бы не в силах выдержать такого количества звуков.

Вот и берег. Подрулили к барке, наполовину выскочившей на грунт. Как я очутился на берегу? Снимаю. У сколоченных наспех причалов идет лихорадочная работа — с больших барок съезжают «доджи», «студебеккеры», груженые снарядными ящиками. Где-то в пыли, не видно, рвутся, тяжело сотрясая землю, снаряды, и все, подчиняясь общей для всех команде «выжить», падают плашмя — кто в жидкую грязь, кто куда попало… Многие остались лежать надолго — пока не закопали в сторонке. Я мокрый. Мне жарко, еле успеваю перезарядить «Аймо» и снова снимаю. Подчалила самоходка, по трапу быстрым деловым шагом сбежали матросы с автоматами наперевес. Они цепочкой кинулись в гору под крепостную стену Ени-Кале и, перестроившись в шеренги, пошли в бой. В стороне от причалов маленький аэродром. С него ежеминутно взлетают и садятся по несколько самолетов У-2. На разбитой дороге, как на волнах, качаются и перекатываются в сторону Керчи сотни грузовиков. Рассекая жидкую грязь, обгоняя тяжелые машины, мелькают, как торпеды, юркие «виллисы».

В голове только одна мысль — снимать, снимать все, что я вижу. И первое время от волнения и, наверное, от страха — чего греха таить — было страшно — я скрывался за прижатой крепко ко лбу журчащей камерой. Она вела меня вперед и, может быть, загораживала мое лицо от пуль и осколков. Наивно, но я был тем самым страусом, который прятал голову под крыло. В хаосе и суматохе боя даже прикрытое холодной камерой лицо, мокрое от пота, охлаждало нервы…

Наши части взяли пригород, но освободить тогда Керчь не удалось, войска перешли к обороне, закрепившись на крымской земле. Десант был явно преждевременным.

… Долго, очень долго снился мне кошмарный сон: освещенный луной ночной десант, погружающиеся в воду понтоны, молча, в полнейшей тишине уходящие под воду солдаты в тяжелых намокших шинелях и ушанках…

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Крым, апрель — май 1944 года
Страх возникает из-за утраты уверенности в том, что я — это Я.

Антуан де Сент-Экзюпери

Восьмого апреля 4-й Украинский фронт перешел в наступление — это было началом Крымской наступательной операции наших войск. Замысел ее был предельно точен: 4-й Украинский фронт шел с севера от Сиваша на Симферополь и Севастополь. Наша Отдельная Приморская армия должна была идти ему навстречу от Керчи для того, чтобы расчленить и уничтожить фашистскую 17-ю армию, не дать эвакуировать ее из Керчи.

Когда успехи 4-го Украинского фронта в северной части Крыма создали благоприятные условия для наступления на Керченском полуострове, в ночь на 11 апреля 1944 года наша армия перешла в наступление. Уже под утро город и полуостров были освобождены.

А на следующий день по всему Крыму развернулось наступление на врага, отходившего к Севастополю.

Отговорила и вдруг замерла тяжелая артиллерия, затихли ее громовые раскаты и замерло эхо в сиреневых горах Чатыр-Дага и Ай-Петри. Освобожденная Керчь осталась позади, и связанные с десантом тревоги и волнения тоже ушли навсегда в прошлое. Фашисты, бросая технику, теряя раненых и убитых, сопротивляясь, откатывались на запад.

По извилистому шоссе Южного берега Крыма с передовыми частями 56-й армии мы мчались им вдогонку на своей зеленой полуторке. С нами вместе на Крым наступала весна. Снова, как и прежде, по утрам стелились и таяли молочные туманы и, как видения, то возникали, то исчезали причудливые громады скал, сосен и печальных кипарисов. На склонах гор застыли как бело-розовые облака фруктовые сады. А по обе стороны дороги замерли высокие белые черешни. Пурпуровым пламенем горели костры персиковых рощ. Мы катились по знакомой ленте асфальта — теплого, разогретого ласковым солнцем в честь нашего возвращения. Каждый поворот крутой дороги открывал родную землю в весеннем цвету.

— Стой! Остановись, Федя!

Я соскочил с машины. На обочине крутого поворота шоссе под белой черешней лежала, запрокинув голову, растерзанная девушка. Кровь залила траву и белые, упавшие с черешни лепестки. Широко открытые глаза устремили свой удивленный взгляд сквозь цветущие ветви в синее небо.

— Как живая! Еще кровь не успела застыть…

— Каким же надо быть мерзавцем… — не успел договорить Костя Дупленский.

— Только-только! Немного не успели наши, не успели! Ну ничего, дальше Севастополя все равно не уйдут, а там им всем хана будет…

Мы то и дело выскакивали из машины и снимали то нескончаемые вереницы сдавшихся в плен немцев и румын, то брошенную технику — зенитки, мотоциклы, пулеметы, машины, снарядные ящики и повозки с убитыми лошадьми. Мы обогнали артиллерию, грузовики со снарядами и, вырвавшись на простор, помчались с максимальной скоростью. Впереди, по обочине дороги идут, понуря головы, длинные бесконечные колонны пленных — без всякого конвоя. Они идут, еле передвигая ноги, худые, черные, не поднимая от земли глаз.

Изредка на позеленевших полянках, вдали от дороги попадались убитые немецкие офицеры: румыны, не желая больше воевать, убивали своих фашистских покровителей и переходили на нашу сторону.

За поворотом дороги мы нагнали огромную самоходку «ИС». Она занимала всю проезжую часть асфальта, и обогнать ее было невозможно.

— Как назло! Дышать нечем! — выругался Левинсон.

— Лучше отстанем немного, а то совсем задохнемся! — попросил я Левинсона.

Отстав метров на триста от грохочущей самоходки, мы остановились, чтобы отдышаться. Нас окружила ароматная весенняя теплынь. Издали доносился металлический лязг удаляющейся самоходки.

— Красота-то какая! — Левинсон подставил лицо солнцу и зажмурил глаза.

В этот момент вздрогнула земля. Впереди, из-за поворота дороги, там, где скрылась самоходка, взметнулся к небу черный столб дыма и пламени. Больно полоснул по ушам резкий удар взрыва большой силы.

— Неужели рванул на мине? Скорей в машину! — крикнул Левинсон, вскакивая на подножку.

За поворотом дороги мы увидели перевернутую самоходку.

Какая огромная сила могла поднять в воздух многотонную стальную машину?!

Неподалеку лежали убитый майор и хрипящий лейтенант. Лейтенант жил последние секунды. Оба они были выброшены взрывом из открытой башни, и вот теперь лежали на траве среди желтых одуванчиков. Было тихо, пахло порохом, смешанным с ароматом черешни, в ее ветвях тонко цикала птичка, сбивая крылышками с веток белые лепестки.

Подъехала санитарная машина и штабной виллис. Самоходка наехала не на одну мину — на целую груду мин у въезда на мостик. Весь экипаж погиб. Вокруг валялись снаряды.

— Как они не детонировали?

— Осмотреть мост и разминировать! — скомандовал прибывший седой подполковник.

Пришлось ждать результата. По ту сторону мостика саперы выкопали килограммов триста тола.

— Разрешите доложить! Путь свободен! — отрапортовал сержант сапер.

Мы осторожно покатили дальше, внимательно осматривая асфальт и придорожную траву.

— А если бы мы обогнали самоходку — она бы была цела, и экипаж жив! — Я не дал договорить Косте:

— А от нас даже следов бы не осталось!..

Феодосия, Судак, Алушта, Гурзуф, Ялта — всюду оставили свой кровавый след фашисты. Обгорелые остовы домов, расстрелянные жители, сотни убитых в упряжке лошадей. Завалы взорванных на шоссе деревьев часто преграждали нам дорогу. Заминированные, опутанные колючей проволокой пляжи производили впечатление тюремной территории. Всюду встречали нас худые, измученные, но радостные и возбужденные люди. Как ждали они нас, как верили в то, что мы вернемся!

Здравствуй, Севастополь! Мы вернулись к тебе, как обещали!

Выйдя первым на Корабельную сторону, небольшой отряд морской пехоты подбросил в небо свои бескозырки и трижды прокричал «ура!». Грянул в весеннем воздухе первый ружейный салют победы. Перед нами за Южной бухтой дымились руины Севастополя. Кипит над городом ружейно-пулеметный клекот. Еще один бросок — и перед нами израненная, пробитая пулями и осколками снарядов колоннада Графской пристани. Выбитая снарядом колонна напоминает инвалида без ноги. Рядом торчат из воды мачты потопленного крейсера «Червона Украина». Черный дым от горящей баржи стелется по заливу.

Мы стояли пыльные, опаленные порохом и горячим весенним

солнцем, счастливые и радостные. Какой день — мы в Севастополе!

Сердце от волнения готово выпрыгнуть. Я взглянул на флагшток над колоннадой — он пуст.

— Костя, подержи камеру, я сейчас вернусь!

Сбросив китель, я быстро, в одной тельняшке, забрался наверх, снял тельняшку и повесил ее, как флаг, на железном шпиле. Спустившись вниз, мы дали салют из своих пистолетов в честь победы. Тельняшка развевалась на фоне синего южного неба, приветствуя счастливый день победы над врагом.

Севастополь наш! Дорогие, пропитанные кровью двух оборон руины и среди них, как выступившие капли крови, — красные маки. Красные, красные…

— Какой символ! Жаль, что нельзя снять на цвет!

Руины, руины, одинокие закопченные стены, непроезжие завалы улиц.

— Что это? Смотрите!

На уцелевшей стене белела приклеенная записка: «Мы живы! Ищите нас на Лабораторном шоссе в пещере. Мама, бабушка и внучка Кастаки».

Мы шли среди руин, и кое-где на почерневших стенках читали адреса, где искать оставшихся в живых жителей из разбитых войной жилищ.

«Мы живы! Ищите нас под скалами Георгиевского монастыря. Мама и дети Земсковы».

До войны часто по заданию Кинохроники мне и моим товарищам кинооператорам приходилось навещать Севастополь, снимать Черноморский флот, маневры, рыбаков, а с гостиницей, как всегда, было сложно, и мы останавливались на житье в гостеприимной семье армянки Нины Акоповны. Жаль, но фамилии ее я не запомнил. Она готовила нам обеды и трогательно ухаживала за нами. Ее небольшой домик, увитый виноградом, недалеко от рынка всегда давал нам надежный приют и душевную теплоту хозяйки и всей ее небольшой семьи.

Мы с большой тревогой отправились к знакомому дому на поиски Нины Акоповны. Среди хаоса закопченных нагромождений кирпича и искореженного железа мы с большим трудом определили место, где стоял уютный домик, увитый «изабеллой». Все вокруг было настолько неузнаваемо и искажено, что трудно было поверить, что это наш родной Севастополь. Наконец, на одной из уцелевших стен мы увидели глубоко нацарапанные слова: «Ищите Нину Акоповну на Улице Ленина против Исторического музея в погребе под развалинами».

После основательных поисков мы нашли Нину Акоповну с

сыном. Они — немногие из тех, кто уцелел в страшном аду обороны и штурма Севастополя. Как ни удивительно — и их предки уцелели в прошлую, почти сто лет назад оборону Севастополя. Нина Акоповна говорила об этом, плача от радости и обнимая нас.

Руины ожили — появились среди них немногочисленные уцелевшие жители. С утра до позднего вечера они разгребали завалы своих жилищ в поисках погребенных пожитков.

Еще не улеглась радость победы, еще не все штурмовавшие город воинские части покинули Севастополь, еще по вечерам у костров раздавались любимые песни под гитару: «Раскинулось море широко», «Шаланды полные кефали», как в Севастополь нагрянули особые части НКВД на тяжелых грузовиках с брезентовым верхом.

Это никем не предвиденное событие, как шквалом оборвало радость освобождения и повергло в еще больший страх, чем немецкая оккупация, всех спасенных от неволи и смерти жителей Севастополя. Началась повальная, унизительная, грубая проверка: кто есть кто?

— Ваша национальность! Доказательство, если нет паспорта!..

Сумевшие доказать, что они русские, освобождались, остальные — греки, армяне, татары, чеченцы, черкесы и другие — строго вносились в особые списки. Людей выводили из глубоких подвалов, погребов, пещер на Лабораторном шоссе, бомбоубежищ…

— Кого вы ищете? — спросил я бравого майора в новенькой форме, не видевшей войны, когда он заглянул в наше убогое временное жилище.

— Татар и всякую подобную сволочь!

— Для какой цели? — хотя я мог бы и не спрашивать. Тон майора и его наглый вид говорил сам за себя.

— В двадцать четыре часа и к… матери экспрессом за Полярный круг! Я бы их всех, мерзавцев, предателей, если бы моя воля, к стенке и из пулемета!… — Его лицо и жесты говорили за него, больше, чем слова.

Я был потрясен: откуда такая ненависть, откуда такая жестокость?

Не прошло и нескольких минут, как к нам, рыдая, прибежала Нина Акоповна. Ее седые волосы были всклокочены, она долго не могла отдышаться и говорить. Вид ее был ужасен.

— Мальчики, дорогие, спасите! Мы же не предатели и, в конце концов, даже не татары! Нас завтра в шесть утра увозят на север — за Полярный круг, как предателей родины. Мы же

армяне! Потомственные севастопольцы! Наш дед — участник Севастопольской обороны, кавалер трех Георгиевских крестов, а мы предатели — да? Как можно так жестоко оскорблять?

Она опустилась в бессилии на колени.

— Лучше бы мы остались в своем доме и Бог похоронил нас на родной земле. Кому мы, южане, там, на севере, нужны? Лучше умереть здесь, Севастополь — наш родной дом!

Как, какими словами можно было успокоить оскорбленную, униженную, раздавленную горем женщину? С какой непередаваемой радостью и восторгом она и все другие встретили свое освобождение от фашистов — и вот это нашествие НКВД.

Я нашел майора НКВД на Графской площади у колонны крытых тентом зеленых грузовиков.

— Скажите, выселению подлежат все, кто был в оккупации?

— Нет! Только предатели! Русских это не касается! Есть приказ Верховного главнокомандующего — срочный и неукоснительный — выселить из Крыма и Кавказа, а также из Калмыкии всех без исключения: татар, кабардинцев, балкарцев, лезгин, чеченцев, калмыков и всех тому подобных предателей нашей родины!

— А что, армяне и греки тоже предатели?

— Все они, и армяне, и греки, и им подобные нации — предатели и пособники Гитлера. Только его и ждали, поэтому и не эвакуировались своевременно, а остались в надежде на фашистов. Завтра ровно в шесть утра по пятьдесят килограмм на семью и айда на север! — Майор говорил убежденно, без тени сомнения.

— У вас, товарищ капитан третьего ранга, какой-то не совсем здоровый интерес к нашему мероприятию…

Дальнейший разговор с майором был абсолютно бесполезен. По убеждению майора, сочувствие чужому человеческому горю и страданию является признаком нездорового интереса. Я стоял перед ним — морской офицер, равный ему по званию, а он держался, как генерал перед провинившемся рядовым. Его стальной, холодный пронизывающий насквозь взгляд голубых глаз вызывал во мне гадливое чувство, как будто передо мной была змея, готовая меня ужалить. Так оно и было бы, если бы я еще попытался с ним вести дальнейший разговор.

Моя попытка в чем-то помочь Нине Акоповне, я не говорю о других, потерпела полный провал, и я нисколько не сомневаюсь, что, если бы попробовал продолжить дальнейшие действия в том же направлении, то не миновал бы военного трибунала.

Разговор мой с майором дал повод задуматься — неужели

Верховный? Не могу поверить в это. Только подобный этому железно-ледяному майору мог дать такую бесчеловечную команду о выселении с родных мест целых народов… Как же помочь? Что я должен сказать несчастной Нине Акоповне? Повторить разговор с майором? Это было бы убийство…

Я вернулся в нашу развалину. Нина Акоповна немного пришла в себя.

— Вы знаете нашу соседку по подвалу — оно гречанка. Ее муж на фронте в морской пехоте. У нее трое детей и ее завтра, как и нас, отправляют не север. — Слезы снова залили ее лицо…

Единственное, чем мы могли помочь Нине Акоповне, — переправили с большим трудом самые ценные для ее семьи вещи в Москву родственникам. Простились с ней горько и тяжко. Радость освобождения Крыма померкла, поблекла, разлетелась в куски…

ВОЗМЕЗДИЕ

Мыс Херсонес, 9 мая 1944 года

Солдатам… следует жаловаться не на тех, против кого их послали воевать, а только на тех, кто послал их на эту войну…

Генрих Бёлль

Странное свойство у памяти: чем дальше во времени отступает событие, тем оно ярче. Это общеизвестно. Но я заметил — со временем меняется и само воспоминание: память как бы «проявляет» — яснее и детальнее — давно ушедшие события, а сознание открывает их вдруг для себя не как разрозненные эпизоды, — но их глубинный смысл, их взаимосвязь в причинно-следственном ряду, их значение для формирования самого сознания…

В этой книге я многое опустил из того, что припомнилось, выплеснулось на бумагу ранее — многое и дорогое для меня и важное. Я оставил то, что, как мне казалось, стало как бы «картограммой» моего самосознания. Многое вспоминалось острее и пронзительнее — я понял, что продолжаю «расти» и прозревать, что-то я вернул из «зарезанного» цензурой в предыдущих книгах, но главное — я постарался проследить, как внутренние потрясения от происходящего со мной и вокруг меня «ваяли» меня как личность, работая на сознание, но чаще — на подсознание, проявляясь в своем истинном значении и смысле только много лет спустя…

… Свершилось. Севастополь наш. Теперь скорее на мыс Херсонес. Там еще сопротивление — немцы не все сдались. По знакомой дороге, выбитой минами и снарядами, сквозь толпы пленных, медленно лавируя среди разбитой техники, мы пробирались вперед.

Наша машина остановилась. Дорогу загородила густая толпа раненых немцев. Я смотрел в их лица — они шли совсем близко — пытаясь увидеть зверя, того самого — кровожадного, который убивал, и терзал, и мучил на нашей земле ни в чем не повинных людей. А навстречу мне шли худые измученные солдаты, перевязанные грязными окровавленными бинтами, с лицами,

почерневшими от страдания и боли…

Я посмотрел на лица своих товарищей и ничего на них не прочел. Мне стало не по себе. Я ждал увидеть врага — грозного, яростного… А мне навстречу не шли, а еле переставляли ноги слабые, несчастные, неполноценные существа. Со мной творилось необъяснимое. К горлу подступала предательская тошнота. Я невольно отвернулся от этой толпы, и когда мы снова тронулись, переключил внимание на догоравший в кювете «Фердинанд».

«Фердинанд» вернул меня к действию. Я остановил машину и начал снимать все, что творилось на дороге.

Вот и Херсонес. Где же знакомый аэродром? Как все изменилось — стало чужим, неузнаваемым. А может быть, еще не доехали? Я высунулся из машины и сразу увидел маяк на краю мыса — у самого моря.

«Маяк — белая свеча Крыма — как тебя изранили снаряды! Пробили насквозь, а ты не поддался — гордый, с простреленной грудью, стоишь, как матрос, и не падаешь от пуль, не умираешь от ран…»

Мои мысли прервались, машина остановилась.

— Ну, как, может, поснимаем? — напомнил Левинсон.

То, что я увидел, выйдя из машины, не поддавалось самой дикой фантазии… Я думал — увижу хорошо знакомый Херсонес, но… оранжевое поле бывшего аэродрома, представляло хаотическое нагромождение разбитой и еще уцелевшей военной техники. Будто чья-то сильная рука в порыве гнева переворошила все и вся в поисках сбежавшего преступника. И под эту тяжелую руку попали зенитки и орудия всех калибров, полосатые танки «тигр», самоходки «фердинанд», грузовые автомобили с солдатами и поклажей, легковые, штабные «мерседесы», «хорьхи», «юнкерсы» и «мессеры», повозки, запряженные живыми и мертвыми лошадьми, беспорядочные штабеля с провиантом, боезапасом, медикаментами, прожекторные установки с огромными параболическими зеркалами…

Всюду валялись убитые вперемежку с ранеными. Трудно было понять, кто жив еще, кто мертв. Множество солдат, бледных, с выпученными от страха глазами, стояли с поднятыми руками. Одни, как изваяния, замерли в этих позах, другие сидели безучастно на земле, на ящиках, в грузовиках и на повозках. Многие лежали на земле лицом вниз, закрыв голову руками. Мы застали немцев в страхе. Ужас и смятение овладели ими. Они прятались друг за друга, закрывали глаза руками, падали на землю, накрывались плащ-палатками, давили один другого, перелезая через убитых солдат и мертвых лошадей, бросались с крутого берега в море, тонули, выныривали, плыли… Море не

спасало. Море помнило сорок второй.

Автоматные очереди и отдельные выстрелы из пистолетов и винтовок не давали далеко уплыть. Все пространство моря — от берега до горизонта — было усеяно самодельными плотами, надувными лодками, досками и деревянными шпалами от блиндажей с людьми на них. Голубое спокойное море невозмутимо играло солнечными бликами, равнодушное к этому тотальному разгрому.

Я снимаю, завожу «Аймо» и опять снимаю. Мне некогда рассматривать и детализировать, я стараюсь снять как можно больше общих планов разгрома фашистов и, снимая детали, не успеваю рассмотреть, кто из плавающих на воде еще жив, а кто уже мертв. Это, я думаю, успеет сделать зритель, глядя на экран после войны. Мною руководит одно непреодолимое желание — запечатлеть самое главное, успеть взять у события всю неповторимость и силу воздействия, которые сейчас испытываю я на себе. Я знал, что пройдет десять-двадцать минут, и эмоциональная свежесть восприятия поблекнет. И острота моего зрения притупится. Я торопился снимать, пока не прошел ужас и страх в глазах немецких солдат и офицеров, зная, что если успею снять вовремя хоть небольшую долю того, что было перед моими глазами, то и этого будет больше чем достаточно, чтобы многие люди на земле никогда не посмели взяться за оружие, боясь, что их ждет то же, что увидят они на экране.

Я снимаю редкие кадры — сидят, лежат на плотах трупы. Они качаются на волнах и кажутся живыми… Снимая первые кадры, я даже не догадывался, что за объективом мертвецы.

— Смотрите, там ведь живые! — крикнул мне взволнованно Костя.

Вдали от берега с белыми тряпками на палке плыла на плоту тесная группа немцев. Они что-то кричали и усиленно махали руками. Неподалеку от плота плавали, барахтались и тонули еще несколько десятков солдат.

Только сейчас я обратил внимание и направил объектив на маленькую бухточку. У самого берега под скалой, на дне, под прозрачным слоем воды, плавно колеблются в длинных солнечных лучах утопленники. В выпученных глазах застыл ужас. Поодаль на дне группа солдат стоит в круге, как бы танцуя на полусогнутых ногах национальный крестьянский танец, вцепившись крепко друг в друга. Волны ритмично раскачивают их тела, а длинные русые волосы плавно колеблются, словно водоросли.

«Да, это возмездие! Настигло — и нет спасения!..» — подумал я, подходя к краю крутого обрыва над морем. — «И все равно это

слишком жестокое и бесчеловечное возмездие…»

Перед объективом у самого края обрыва крытый блиндаж, его настил — крыша наполовину съехала под обрыв. В глубине лежат мертвые солдаты с открытыми глазами. В их руках закостенели автоматы, все усеяно стреляными гильзами.

— Вассер! Вассер! — вдруг послышался слабый хриплый голос.

Среди убитых оказался смертельно раненый. Костя, косо посмотрел на меня, расстегнул кобуру и схватился за рукоятку пистолета:

— Пристрелю его, чтобы не мучился! Все равно не жилец!

— Отставить!

Я сходил в машину за канистрой питьевой вода и дал немцу напиться вволю.

— Эх вы, гуманист! Дал бы он вам попить! — сказал укоризненно Костя Ряшенцев.

— Нельзя не выполнить последней просьбы умирающего! — ответил я Косте, когда увидел его непонимающий взгляд.

Удивленные глаза смертельно раненого солдата с мольбой и благодарностью остановились на мне, и он с трудом прошептал:

— Данке! Данке! Камрад!

Его лицо приняло тот серый оттенок, когда наступает конец всем страданиям. Он продолжал неотрывно смотреть на меня пристальным, немигающим взглядом. Я до сих пор вижу голубой цвет его застывших удивленных глаз.

— Нет, Костя, ты не прав! Виноват не он! Виноват другой! Вот так всегда — за грехи одного подлеца расплачиваются миллионы…

Меня охватило желание — непреодолимое: изрубить кого-то в куски. Кого? Где он — виновник страдания миллионов людей на земле?

Мы шли дальше. Костя шел молча позади. Задумался ли он? Понял ли?.. В моих ушах продолжало звучать хриплое солдатское «данке», последнее на этом свете «данке»…

Я не заметил, как, снимая, подошел к группе живых. Они стояли зеленые, молча, прижавшись к полосатому «тигру». Когда я поднял камеру ко лбу и направил на них, они, как по команде — все разом подняли руки вверх. Неужели не понимали, что я их снимаю, а не расстреливаю? Совершенно неожиданно получился эмоциональный, драматический кадр. Выражения лиц соответствовали, наверное, тому, что происходит со смертельно перепуганными людьми при расстреле.

На самом берегу моря у отвесной скалы обрыва я увидел и снял кадр, который потом именовался «стеной смерти». Около

тридцати офицеров высшего состава сидели под обрывом, плотно прижавшись друг к другу. Мы даже не поняли, что же здесь произошло.

— Ты знаешь, Костя, наверное, они не захотели живыми сдаться в плен! Вот и покончили с собой! Почти у всех в висках кровавые дырки…

Жуткая панорама прошла перед объективом. Я вел ее по мертвым лицам, а они открытыми неподвижными глазами смотрели на меня. Вдруг в кадре появились мигающие глаза, смотревшие прямо в объектив моей камеры. Мне стало не по себе. Я отнял камеру от глаз и снова услышал хриплое: «Вассер, вассер…» Голос был резкий, властный, требовательный…

Я не знаю, выжил ли он или нет после протянутой кружки воды, но вежливого «данке» я не услышал. Если выжил, то, наверное, никогда не захочет не только воевать, но и думать о войне…

Тут же недалеко лежал наполовину в воде деревянный трап. По нему уходили с Херсонеса немцы на пароход, который я снимал телеобъективом с Балаклавских высот. Весь берег был завален убитыми.

Не дали мы 17-й армии улизнуть из Крыма. Только на Херсонесе были взяты в плен двенадцать тысяч солдат и офицеров. А всего 17-я армия потеряла на Крымской земле более ста тысяч человек.

Заревели моторы. Низко над Херсонесом пролетел Ю-88.

— Не знал, что мы уже дома! — сказал Левинсон.

Над аэродромом, как ураган, пронесся пулеметный шквал. Пилот, идущий на посадку, только в последнюю минуту понял, что случилось, — у самой земли взмыл свечой в небо, но было поздно. Один из моторов вспыхнул, и «Юнкерс» сделав крутой вираж, за маяком нырнул в море. Оно сегодня гостеприимно принимало фашистов сотнями…

ТАНКОВЫЙ РЕЙД

Германия, Помендорф,
в ночь на 25 января 1945 года

Закрой глаза и отвернись: ужасно
Увидеть лик Горгоны; к свету дня
Тебя ничто вернуть не будет властно…

Данте Алигьери

Осталась позади истерзанная, израненная, разрушенная и сожженная наша земля. Остались позади руины Варшавы, освобожденной 17 января. Война пришла в Германию. Для того чтобы отрезать восточно-прусскую группировку врага от остальной Германии, нужно было выйти к Балтике.

Я и мой друг-напарник, фронтовой оператор Давид Шоломович получили задание от начальника нашей киногруппы прорваться с танковым рейдом передовых сил 5-й гвардейской танковой армии к Балтике, к заливу Фриш-Гаф у города Толькемит.

Мы отправились в свою крытую полуторку и занялись подготовкой к рейду — аппаратурой, пленкой…

Конец января сорок пятого выдался мягким и снежным. Всю эту ночь валил снег, густой и крупный, как лебяжий пух. Огромные хлопья без ветра тихо падали, окутывая землю белым мягким покрывалом. Утром мы с трудом выбрались из дома, где приютила нас на ночь пожилая немка. Снег лег метровым слоем, и дорога исчезла под ним бесследно.

Четыре тяжелых танка и четыре Т-34 готовились к этому рейду. Экипажи возились около них, черные от копоти и масла. Мы с Додкой и шофером, старшиной Федей Кулаковым, готовили свою машину.

— Может быть, отменят наш выезд? Снег-то идет и идет! — предположил мой друг.

— Думаешь, застрянем в снегу?

— Думать даже нечего! Спроси у Федора.

— Если в след пойдем за танками, может, и пробьемся, а если

они свернут и разойдутся в разные стороны — хана, утонем! — сказал Федя, стукнув кирзовым сапогом по скату.

В это время к нам пошел курносый лейтенантик, чумазый и в засаленном ватнике.

— Это вы киносъемщики? Айда со мной! Начальство требует.

У головного танка на расчищенной от снега полянке стоял майор в новеньком меховом шлеме, в белом бараньем полушубке с бурым лохматым воротником, перепачканным фиолетовыми чернилами.

— Так кто из вас спятил — вы или начальство?

Мы стояли, ничего не понимая.

— А вы, капитан, чего улыбаетесь? Вам, видите ли, смешно, а мне потом под трибунал из-за вас! — он зло посмотрел на Шоломовича. Он не знал, что улыбка у Додки, никогда не сходит с его круглой физиономии, что он не над ним смеется, и вдруг гаркнул:

— Нет у меня для вас места в танках! Надеюсь, это вам как военным понятно?

— А кто вам, товарищ майор, сказал, что мы собирались залезать в танк? Мы, слава богу, на войне не первый год и знаем, кто и для чего сидит в танке. А кричать на нас не следует, мы, как и вы, выполняем приказ командования! — ответил я горячему майору.

Мой друг продолжал улыбаться. Майора это бесило.

— Ну, а сверху на танк я вас не посажу! Мы будем действовать без пехоты. Путь далекий, в тылу у врага, опасный и к тому же — зима — замерзнете на ходу! — майор сменил гнев на милость.

— У нас свой вездеход. Оборудован по последнему слову техники. В огне не горит и пули отскакивают — фанера бронебойная! Вон видите! Зеленеет за кустами! — пробуя убрать улыбку с лица, сказал Додка.

Майор взглянул на нашу зеленую фанерную халабуду и громко рассмеялся.

— Вы что же, меня на пушку берете? Времени в обрез, а вы тут разводите канитель! — Майор снова начал заводиться.

Когда, наконец, мы убедили его в том, что у нас другого транспорта нет, и что приказ командования не обсуждается, он, пожав плечами, распорядился нашу команду поставить за четвертым танком, а за ней будут следовать еще четыре танка.

— Передние, тяжелые, пробьют дорогу в снегу — ваша колымага легко за ними пройдет, а задние Т-34 прикроют вас с тыла.

В семнадцать часов предстояло тронуться с путь. Наша

фанерная мишень заняла свое место на дороге между танками.

Скоро наступили сумерки. И наша маленькая армада, громыхая и лязгая, двинулась в неизвестное. Ревущая лавина обрушилась на уши, и мы с моим другом от непривычки оглохли. Разговор не получался. Но когда железный караван растянулся по заснеженной дороге и лязг гусениц приглушил густой мачтовый лес, бегущий по обе сторону дороги, мы понемногу привыкли и к шуму, и к ядовитому выхлопу.

Машина шла, кренясь на один бок. Ширина колеи полуторки была значительно уже ширины гусениц. Одним скатом мы катились по следу гусеницы, другим по срезанному корпусом танка снегу. Машину все время тянуло в одну сторону. Я перебрался в кабину к шоферу. Старшина Федор Кулаков был отличным мастером вождения по любым дорогам и без дорог. Я видел, как трудно было Федору вести машину. Скоро совсем стемнело. Фары зажигать было запрещено.

Давид сидел в полуторке у открытой задней двери, его внимание было приковано к идущему позади танку. Порой казалось, что он неминуемо раздавит нашу фанерную халабуду. Иногда Шоломович, стуча в стенку кабины, подгонял Федю вперед, боясь наезда Т-34. Погода была пасмурной, но, судя по светлому пятну на темном небе, пробивалась луна. Высокой нескончаемой стеной стоял по обе стороны тяжело накрытый снегом еловый бор.

Огромный фантастический лес, медленно шагающий нам навстречу, прогибался от тяжелой белой одежды. И темное небо, и серый снег излучали мягкий фосфорический полусвет. Иногда от железной поступи танков тяжелые шапки на елях рушились, оставляя в темноте леса белое дыхание зимы.

Снова повалил густой снег. Стало совсем темно. Дали команду зажечь фары. Конуса света увязли в ослепительной преграде, она пунктирным непробиваемым барьером двигалась с нами впереди фар.

В стенку кабины сильно и нервно застучал Шоломович. В то же мгновение впереди неожиданно возникла черная громада. Федор тормознул с таким скрипом, что чуть лбом не высадил стекло. Фуражка оказалась под ногами. Передний танк стоял перед нами в двух метрах. Не успел я надеть фуражку, как дверца кабины открылась, и хохочущий Давид потащил меня назад в полуторку.

— Скорее, скорее! Ну, полюбуйся только! Еще две-три секунды и нас с тобой можно было бы подсовывать под дверь!

Задний танк стоял, почти касаясь нашей машины. Я все понял: Додка не столько был весел, сколько нервно возбужден и

взвинчен. Еще бы — пережить такое, сидя одиноко в фанерном ящике!

— Почему остановились?

— Что-то случилось впереди! Что?

Снегопад мешает, ни черта не видно! Хоть глаз коли!

Постояв на дороге одни, мы залезли в машину.

Стоянка была короткой. Снова лязг гусениц ориентировал нас в белом месиве ночи. Федя интуитивно точно определял свое место среди железного грохота на невидимой дороге.

Вдруг небо распоролось. Снег прекратился сразу, будто белая тяжелая портьера упала за землю. В небе засветилась луна.

Фары по команде погасли, и мы увидели сияющий под луной лес. Он шагал нам навстречу, огромный, сверкающий, с распростертыми лапами, полными пушистого снега. Фиолетовые узоры теней иногда накрывали идущие впереди присыпанные снегом танки.

А дальше были полторы страницы, которые редактор одной моей книги сократил предельно, а редактор другой вынул совсем. На полях рукописи рядом с крест-накрест перечеркнутым эпизодом остался его «автограф»… «Это же не в бою! — писал он. — Поэтому явно видится бессмысленная жестокость, непозволительная для советских людей. Если так и было, то писать так не следует».

Он был прав, мой редактор: то, что мы увидели, было «непозволительной для советских людей жестокостью». Как и многое другое, о чем мы не только не писали, но боялись даже думать. И не при нашем ли молчаливом согласии совершались эти жестокости? Которые мы не только не в силах были отвратить, но и не в состоянии осмыслить. Впрочем, думаю, то, что произошло в рейде, было неотвратимо.

Вспоминать об этом жутко. Писать — тоже.

…Небо совсем очистилось от туч, и луна щедро кропила серебром зимнюю ночь. Вдруг мы вздрогнули, к общему шуму и гулу на дороге примешался другой, резкий, дробный, с яркими молниями. Мы переглянулись и прильнули к окнам нашего ящика. По спине пополз озноб. Федя твердо вел машину, не отставал, не догонял танков. Беспорядочная стрельба была не густой. Судя по вспышкам впереди, стрелял из орудия головной танк и давал короткие очереди из пулемета. От каждого орудийного выстрела на елях осыпался снег, оставляя в воздухе слепящий белый столб.

Лес расступился, мы выехали на широкую, щедро освещенную луной поляну, усыпанную черными каракулями

барахтающихся в сверкающем снегу людей. Увязая по пояс, они стремились добраться до спасительного леса. Падали, ползли, зарывались в снег, поднимались и снова падали…

Впереди нас на дороге из-под танка показались раздавленные вместе с лошадью сани. Наша машина запрыгала на скользком месиве, и чуть не завалились на бок. Слева и справа от танков рвались через глубокий снег солдаты, лошади с остатками сбруи. Машина высоко подпрыгивала, кренилась, почти заваливалась, а мы с Додкой вцепившись в деревянные переплеты, стучали лбами в стекла окошек, с дрожью наблюдая трагедию немецкого военного обоза, попавшего при отступлении под тяжелые гусеницы наших танков.

Мы знали, что от этого рейда зависела судьба всей операции окружения Кенигсберга. Снег был глубокий — ни нам, ни немцам съезжать с дороги было некуда. Даже выскочившие из обоза солдаты не могли убежать в лес, который был совсем рядом. Это была трагическая западня. Они с поднятыми руками, дрожащие от страха, стояли по пояс в снегу. Раскачиваясь и подпрыгивая, мы проехали по всему проутюженному обозу. Случившееся было ужасно, немыслимо, жутко, тошнота подкатывала к горлу…

Луна, скривившись на бок, прикрылась облаком. Мы продолжали свой ночной рейс. Мой друг оторвался от стекла. Я увидел в падающем из окна фосфорическом свете его лунообразное лицо с круглыми глазами. Он показал мне жестом на дорогу, на лес, на луну. Я понял без слов. Говорить в эту минуту было невозможно…

Да, я все видел и ничего не пропустил. Я все пережил. Я все, все видел и все помню, и никогда не забуду, как под нами прошел, хрустя костями, отутюженный нашими танками немецкий военный обоз…

…Лесная дорога вывела наши танки в маленький чистенький городок. «Помендорф» — прочитал я на желтой дорожной табличке. Наша железная колонна загрохотала по центральной улице затерянного в лесу прусского городка. Гулко разнесся тяжелый лязг гусениц, но черные глаза окон не проснулись, не мелькнул ни один огонек, хотя мы были уверены, что ни одна живая душа не могла бы уснуть в этом чудовищном грохоте.

Остался позади на горке замерший от страха Помендорф. Наш лязгающий караван стал спускаться с горки в темную низину. Два задних танка сошли с дороги, утопая и зарываясь в снегу, начали справа и слева обходить нас, удаляясь, как бы выстраиваясь для атаки. Замыкающий Т-34 свернул с дороги и остановился под кюветом на насыпи. Экипаж выскочил и

засуетился вокруг танка. Спустившись в низину, мы увязли в глубоком снегу и забуксовали на месте. Танк, шедший впереди нас, на глазах уходил все дальше и дальше.

— Куда же он? Разве не видит, что мы застряли? — крикнул я в тревоге.

— Надо догнать его! — И Шоломович выскочил из машины.

Я за ним, но о «догнать» не могло быть и речи. Мы утонули по грудь в вязком снегу.

Танки ушли, бросили нас, и только железный лязг висел в голубой прозрачности ночи, таял и таял. Луна, огромная, порозовевшая, склонилась над черной зубчаткой елового леса. Федя с трудом открыл дверцу кабины.

— Ну, как, Федор? — спросил я, стараясь утрамбовать снег вокруг себя.

— Скверно! Доставайте из кузова лопату! Попробуем, может назад откопаемся, не сидеть же здесь. Впереди еще хуже!

— Немцы голыми руками возьмут! Мы же у них в глубоком тылу — надо что-то делать и немедленно! Пока они не показались!

— Выход один — откопаться и выгрести назад на пригорок к танку под пушку, если он к этому времени не уйдет! — предложил я.

Мой друг молчал и не улыбался. Федя достал лопату и начал энергично откапывать задние колеса.

Федя прервался на минуту и, вынув из кабины автомат, положил его рядом на капот. Вооружены мы были кроме автомата еще тремя пистолетами. Чего уж тут думать о самообороне….

Сколько мы выбирались из этой чертовой ложбинки, неизвестно. Нам показалось — вечность прошла с тех пор, как увязли. Наконец, Феде удалось после многочисленных маневров выкатить нашу полуторку из вязкого снега… Подталкивая с двух сторон, мы выкатили машину на пригорок и остановились в изнеможении на дороге возле Т-34. У танка, как мы узнали, что-то вышло из строя. Рядом с танком, у самых гусениц, укрытые красной периной, спали крепким сном двое танкистов.

— Спят! Смотри ты, спят в тылу немцев и ничего не боятся, а мы побоялись в овражке одни остаться! Срам!

Не успел я договорить, как засвистели и защелкали пули, выбивая искры о танковую броню.

— Ложись! — крикнул Федя, и мы попадали в кювет за танком.

Снова стало тихо. В стороне, куда ушли танки, вспыхнули яркие молнии, и мгновение спустя тяжело грохнули орудийные залпы, тут же обогнав взрывы снарядов.

— Наши ведут бой! А мы здесь загораем! — как бы обращаясь больше к себе, сказал Шоломович.

— С кем же? Ведь там должно быть море? — Я вспомнил карту, показанную нам Марком Трояновским — нашим начальником группы. — Нет, это бьет тяжелая батарея и, похоже, — морская, корабельная, как там, на Черном море… Уж не по танкам ли немцы лупят?

Снова наступила тишина. Я выглянул из кювета. В ста метрах от нас редкая березовая роща, за ней просвечиваются дома Помендорфа. Луна еще ниже склонилась над березами, и длинные тени перепоясали искристый снег. За березами я увидел шевеление…

— Смотри — немцы! Буди танкистов! Скорее! — крикнул я.

— Федя! Скорее автомат!

Федя щелкнул затвором, приготовился.

От березы к березе мелькали тени, а присмотревшись мы увидели, как по глубокому снегу переползали в белых маскхалатах немецкие автоматчики. Федя послал длинную очередь по березам. Тут же застучали, попискивая, ответные пули, выбивая искры о танк, и наша полуторка затрещала, пронизанная длинной очередью.

— Буди, скорее танкистов! А то будет поздно!

Я стащил перину и потянул одного из них за сапог, так сильно, что он съехал с перины к нам в кювет.

— Какие там немцы? Поспать не дадут! Что за спешка!

Снова с сухим треском чиркнули пули по стволу и башне. — Сейчас мы им, гадам, врежем! А я подумал, вы, товарищ майор, ваньку валяете! Коля! Коля! Вставай!

Заспанный Коля, матерясь, как хороший волжанин, полез в башню. В этот момент новые фонтаны горячих брызг осыпали нас с головы до ног.

Немцы подошли совсем близко. Мы, не сговариваясь, вытащили пистолеты, пригодные разве только для самообслуживания.

Слева от нас за лесом полыхают с громом молнии и огромное пламя показывает сквозь деревья оранжевые языки. Еще один взрыв потряс ночь, и новый костер поднял свой кровавый стяг над черной зубчаткой леса.

— Владик! Наши танки горят! А если бы мы прорвались туда?.. — Мой друг хотел сказать еще что-то, но голос его сорвался на писк.

Я взглянул на его лицо. В широко открытых глазах отразилось искрой пламя горящих за лесом машин. Значит, я был прав — корабельная артиллерия била по наши танкам,

вышедшим к морю на берег.

Федя снова застрочил и осыпал нас пустыми гильзами. Немцы подползли к крайним березам. Между нами оставалось открытое снежное поле.

Наконец ожила башня нашего танка, и пушка направила свое жерло на березовую рощу. Резко полоснули по ушам один за другим выстрелы.

Канонада за лесом утихла, только дрожащее пламя продолжало лизать потемневшее небо.

По кузову полуторки снова застучали пули. Они, как птички лесные, попискивали жалобно и тонко. Машина удачно стояла в дорожной выемке, только верхняя часть ее зеленого корпуса служила мишенью для немцев.

Снова наступила тишина. У Федора кончились патроны. Он, лежа на снегу, откинул автомат в сторону и вытащил из-за голенища валенка немецкий парабеллум. Стрелок-танкист нырнул в башню и еще раз стеганул огнем по березовой роще.

Багрово-красная луна ушла за ажурную зубчатку елей. Стало темно. Как только начиналось за березами шевеление, танк давал немцам знать о себе.

Подул легкий ветерок. Горечью пожара пахнуло на нас с моря. Скоро утро, а немцы не уходят.

— Ждут подкрепления! — решил мой друг.

Наступила тишина. Темнотища, даже снег стал черным. Где-то далеко-далеко раздавались неясные звуки.

— Танки идут! — сказал тревожно Федя.

— Неужели немцы?

Вдруг из-за деревьев в стороне от Помендорфа мелькнули острые, как отточенные ножи, лучи фар.

— Наши! Наши! — заорал Федя.

Как бы салютуя, наш танк выстрелил по роще несколько раз, но она не отозвалась. Немцы молчали. Они исчезли.

Вскоре к нам подошли два танка Т-34 и несколько «студебеккеров» с боепитанием. Мы залезли в продырявленный кузов нашей машины и, преодолевая снега, поползли обратно в Помендорф.

Наутро мы снимали на берегу Балтики серый хмурый залив Фриш-Гаф. Лес мачт судов и рыбачьих лодок, догорающие пожары, наши танки на берегу залива…

Уже спустя много лет я прочел в воспоминаниях маршала Рокоссовского о событиях тех дней:

«Уже 25 января танковая армия своими передовыми частями, а 26-го — главными силами вышла к заливу Фриш-Гаф в районе Толькемита и блокировала Эльбинг, отрезав этим путь отхода

противника из Восточной Пруссии на запад… Выходом правого крыла 2-го Белорусского фронта к Эльбингу, к заливу Фриш-Гаф и Толькемиту вся восточно-прусская вражеская группировка была полностью отрезана от остальной Германии».

Потом был штурм Эльбинга, тяжелые бои в Восточной Померании. Преследование врага днем и ночью. Потом длительная осада города и крепости Грауденц, где были блокированы пятнадцать тысяч вражеских солдат и офицеров, штурм и взятие крепости. Это был февраль сорок пятого. И опять жесточайшие бои. Фашисты на своей территории дрались отчаянно и жестко. Гитлер стремился удержать Померанию любой ценой.

Март расквасил дороги, закрыл небо плотным серым одеялом, рассыпал щедро мелкий пронизывающий дождик. Мы рвались к Данцигу. Во вторую половину месяца начало пробиваться солнце. В такой солнечный день я снимал освобождение Цоппота, потом Гдыни. А когда в конце месяца мы вплотную подошли к Данцигу, снова небо плотно затянулось низкой серой облачностью. Бои за эти три города, как бы бывшие продолжением один другого, были особенно кровопролитными, и потому взятие Данцига — главного опорного пункта Восточной Померании — было для нас особенно радостным.

Я снимал старинный город, разрушенный боями, верфи Шихау с готовыми к бегству немецкими подводными лодками, нескончаемые колонны пленных, немецких беженцев, разбивших свой лагерь на площади перед Артусовым дворцом.

Потом мы снимали перегруппировку войск — фронт торопился к началу Берлинской операции.

Здесь, около городка Грайфенхаген, при форсировании Одера, я был ранен. Война в Европе для меня закончилась в теплый апрельский день.

Уже в глубоком тылу в Москве, куда меня доставили с фронта, я часто просыпался ночью от собственного крика: во сне мне виделся залитый лунным светом заснеженный лес и в полной тишине — жуткая картина нашего ночного рейда…

И лишь в подсознании — не совмещенные с картиной сна — скрежет танков и хруст, хруст, хруст…

Только теперь я понимаю: передо мной предстал самый жуткий и самый точный образ того, что есть война.

КОНЕЦ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

Япония, сентябрь 1945 года

Представь себе тот
Неимоверный грохот,
Когда обваливается
система,
Которая гнала на фронт
Мириады солдат.

Итаки Цумумото

Золотые перья гигантской Жар-птицы запылали на горизонте. Плывет под нами земля — теплая, живая. Мы летим на восток — Москва — Токио. Бесконечно длинный, незримый след чертит наш самолет. Далеко внизу, как на географической карте, проплыли реки-сестры Шилка и Аргунь, Амур — таежный океан Уссурийского края. Проплыла и оборвалась жемчужной нитью прибоя наша земля. Ни облачка. Только монотонный гул моторов подтверждает наше движение вперед.

Япония капитулировала. Мы летим на церемонию подписания капитуляции. Но оружие сложили не все рода войск. Отдельные части истребительной авиации во главе с самураями-смертниками продолжали дерзкие налеты в знак протеста против капитуляции. Нам предстояло пересечь Японское море и выйти на восточное побережье Тихого океана.

Испытанные и бывалые шутники-остряки, рассказчики анекдотов и страшных историй вдруг замолчали, притихли. Все, кто имел возможность, прилипли к узким иллюминаторам нашей «каталины».

— Внимание! Внимание! Слева по борту истребители!.. Японцы заходят в хвост! — доложил командиру стрелок-радист.

Щелкнули затворы спаренных эрликонов, и стволы уперлись в цель.

— Не открывать огня! — скомандовал в последнюю минуту командир «каталины» капитан Цурбанов.

Черные черточки, стремительно вырастая, неслись на нас. Почему командир не стал стрелять?.. Не надо будить зверя… Бесполезно… Их так много…

— Испытывают нервы! Может, сорвемся, откроем огонь!

Тогда…

Все впились широко открытыми глазами в стремительно надвигающиеся самолеты… Мгновение… и… ничего… Живы, не горим, не падаем…

— Внимание! Внимание! Справа по борту истребители! — снова доложил стрелок-радист.

Черт знает… Капитуляция. Конец войны. И вот на тебе… Три японских звена истребителей начали опасную карусель вокруг неуклюжей «каталины» Сделав несколько боевых пике, заходов и виражей вокруг нашего самолета, японцы так же стремительно, как возникли, исчезли, нырнув в густое облако.

Трудно было поверить в счастливый исход, и все напряженно ждали нового появления.

— Что это — только игра? Демонстрация своего превосходства или…

— Как кошка — поиграла с мышкой и съела! Вернутся или нет?

Пока шли эти разговоры, под нами пошла береговая линия Японии. К напряжению, которое ничуть не ослабело, прибавилось любопытство. Впервые Япония предстала перед нами. Какая она?

…Мы приземлились на японском аэродроме, занятом американцами.

Не успела «каталина» замереть на месте, как к открытому люку подскочили два юрких «виллиса», облепленных офицерами и солдатами. Встреча союзников была бурной, эмоциональной и радостной. После бурного обмена приветствиями приступили, наконец, к деловым разговорам.

Объяснить цель нашего прилета было куда труднее, чем найти этот военный аэродром. Но когда из люка выпрыгнули операторы московской кинохроники с кинокамерами, все сразу стало на свое место.

— Ньюс-Риал! Рашн камермэн! Уэлкам!… Добро пожаловать!

Вскоре мы узнали, что приземлились недалеко от Йокагамы в Ацуги. Когда окончательное знакомство состоялось и взаимные восторги, удивления и вопросы пошли на убыль, мы попросили доставить нас в ставку генерала Макартура.

Все было необычно. Капитуляция еще не подписана, а шофер японец вез нас в Йокагаму. В старом автобусе не было ни одного стекла. Нас окружали тропики. Нагретый воздух был напоен незнакомыми сладкими ароматами и звенел от несмолкаемого оркестра цикад. Наш автобус, насквозь пронизанный горячими струями ветра, мчался с бешеной скоростью, и мы не были уверены, что целыми доберемся до Макартура.

Стало совсем темно, когда кончились сельские джунгли, и мы

незаметно въехали в город. Кое-где сквозь маскировку прорывался яркий свет. Постепенно зажигались уличные фонари, их сохранилось очень мало. Черными скелетами торчали разрушенные здания. Неясные тени сновали по мрачным улицам большого портового города.

Выехав на набережную, автобус остановился у большого дома с золотой вывеской «Банк».

— Прошу выходить! Это ваша резиденция! — открыв дверцу автобуса и низко кланяясь, сказал по-английски улыбающийся шофер.

Здесь же были расквартированы американцы.

— Что там? Шабаш ведьм? — спросил по-русски руководитель нашей группы Миша Ошурков у улыбчивого шофера.

— Йес! Йес, сэр!.. — Шофер, человек непонятного возраста, согласно кивал головой и низко кланялся.

— Это как раз то, что нам надо, ребята! Пошли! — рассмеявшись, сказал Михаил Федорович, и мы вошли в дом.

Наверное, никогда раньше банк не напоминал так цыганский табор, как в этот вечер, накануне капитуляции Японии.

Здесь танцевали, пили, пели, дрались, обнимались и обливались слезами, целовались. Тут менялись трофейным оружием. Меняли его на кимоно и другие причиндалы интимного дамского туалета. Двухметровый детина мулат пел, подтанцовывая, легкомысленные куплеты, захлебываясь от удовольствия, иллюстрируя песенку непристойными телодвижениями и жестами длинных рук. Под аккомпанемент банджо несколько матросов за неимением дам танцевали экзотический, как у нас говорят «шерочка с машерочкой», танец.

Другая часть обитателей банка, переутомившись, расположилась на ночлег.

— Ребята, получите вон у того губастого негра пайки и постельное белье с москитными сетками-пологами, а заодно и раскладные тюфяки. Завтра очень трудный день. Такое предстоит — не представляете! Подкрепитесь и отдыхайте! Подъем в пять! Часы переведите по токийскому!

Пайки были в аккуратных непромокаемых коробках — завтрак и ужин.

— Не так вкусно, как мало! — сказал с серьезным видом Ошурков.

— А теперь на бок, ребята, спокойной ночи! Как говорят наши союзники, «гуд найт эвриботи!» Пока!

Это самое «гуд найт эвриботи» звучало в Банке до самого рассвета.

…Раннее утро второго сентября сорок пятого года застало нас, фронтовую группу кинооператоров советской кинохроники на пирсе Йокагамского порта. Нам, как и другим представителям международной прессы, предстояло поставить точку и слово «конец» в истории Второй мировой войны.

Нас всех, а собралась здесь целая армия международных журналистов, кинохроникеров, посадили на английский эсминец и доставили в Токийскую бухту.

В центре дуги живописно изогнутой бухты, как огромная наковальня, возвышался линкор «Миссури». Его словно окружал рой москитов — голодные рыбаки и горожане Токио на маленьких лодчонках выпрашивали у команды хлеб и сигареты.

Американский боевой линкор стоял у японской столицы на виду. День был яркий, солнечный, и как сияющая корона сверкала над Токио священная гора Фудзи. И не было в городе ни одного человека, который не видел бы линкора «Миссури» и не знал, что на нем происходит.

Грозным монументом на фоне голубой бухты выглядел линкор «Миссури» — олицетворение могущества и авторитета союзников. Во все стороны смотрели многочисленные стволы орудий, а на многоэтажных палубах, боевых рубках, башнях и реях, сверкая крахмалом формы «раз», разместилась многочисленная команда корабля.

«Представление» еще не началось, а зритель уже занял лучшие места — согласно своему рангу и положению. Предпоследними поднялись на высокий борт линкора мы — международная пресса. Прессе, как мы и предполагали, выделили самые неудобные для съемки места и чрезвычайно короткое время для их освоения. И все же пять фронтовых кинооператора из Москвы — М. Ошурков, М. Посельский, М. Прудников, А Сологубов и В. Микоша приступили к съемкам главного ритуала конца Второй мировой войны — подписания капитуляции Японии.

Не успели мы как следует устроить себя и аппаратуру и утвердиться на своих неудобных и шатких съемочных точках, как к борту линкора подвели небольшой катер с членами японского правительства. Всем нам бросился в глаза высокий, в цилиндре с тростью в одной руке и с небольшой папкой в другой, министр иностранных дел Японии Сигемицу. Он выделялся среди небольшой группы японской делегации не только своим ростом, элегантностью и манерами профессионального дипломата, но и железным хладнокровием.

Японцы черной стайкой, блестя лацканами смокингов и

цилиндрами, с военными в светлой форме, поднялись с катера по главному трапу на нижнюю палубу. Сопровождающий их американский офицер подвел капитулянтов к вертикальному трапу. Подняться без помощи рук наверх, где предстояло подписание капитуляции, не представляло никакой возможности. Вот здесь, на этом трапе выдержка и невозмутимость покинули Сигемицу. Обе руки заняты. Вместо одной ноги — протез, результат Первой мировой войны. Самоуверенность пропала. Пот залил лицо. Министр переложил неудобную папку с документами под мышку правой руки, оперся всем телом на трость, достал левой рукой носовой платок и снял с головы цилиндр, намереваясь стереть с лица градом катившийся пот, но рук для этой сложной операции явно не хватало. Он снова надел цилиндр и пока вытирал пот, выронил папку. Поднимая папку, Сигемицу уронил трость, и если бы его не поддержали, он бы упал. С большими трудностями ему удалось подняться по предательскому отвесному трапу на верхнюю палубу.

Эту сцену снимали все операторы и описали в ярких красках журналисты всего мира. Шум от съемочных камер и щелканье затворов фотокамер был потрясающим аккомпанементом заранее подготовленному для японцев сюрпризу с преодолением препятствий. Наконец трап был «взят», и японская делегация плотным черным пятном застыла на отведенном в стороне от стола месте.

…Пять ритуальных «минут позора» выстояла она.

За столом заняли свои места генерал Д. Макартур и адмирал Ч. Нимиц, представитель Советского Союза генерал К.Н. Деревянко, представители других союзных держав.

Макартур вынул из кармана несколько паркеровских ручек и положил на стол. Каждый подписавший документ о капитуляции Японии мог взять себе на память историческую ручку.

Сама церемония подписания длилась недолго. Все было разыграно, как в театре. Любопытных зрителей было более чем достаточно. Снимать было трудно — я почти висел в воздухе под спасательной шлюпкой, а кроме того, меня всячески старались столкнуть вниз дружески настроенные представители прессы союзных держав.

Когда последняя подпись была поставлена и высокие представители союзных держав поднялись из-за стола, грянул, как гром, военный оркестр, усиленный мощными динамиками. Он оглушил Токийскую бухту веселым маршем. Над линкором «Миссури» как тайфун пронеслись черной тучей в полном беспорядке и в несколько эшелонов американские истребители. Громыхнула туча и унеслась, выкручивая пируэты высшего

пилотажа — иммельманы, бочки, петли…

Ритуал закончился. Черное лакированное пятно японцев, оставленных без всякого внимания, перекатилось через борт и исчезло в отверстии катера, а нас, прессу, отправили обратно в Йокогаму.

Команды Макартура оккупировать Токио еще не было, поэтому желание каждого из нас, репортеров, было скорее проникнуть в столицу поверженной Японии. Попасть в Токио можно было только одной дорогой — через реку по единственному мосту, охраняемому со стороны Йокагамы усиленным отрядом «милитари полис», а со стороны Токио японскими автоматчиками.

Вся пресса в нетерпении ждала сигнала, чтобы ринуться в Токио. Мы и сами не совсем поняли, как нам повезло.

Поздно вечером на машине с красным флажком Ошуркову удалось, усыпив бдительность обоих кордонов, перебросить через мост нашу группу в Токио. Мы попали в Токио на несколько дней раньше вступления американской армии.

Наутро мы торопились запечатлеть столицу до соприкосновения ее с победителями. Японцы смотрели на нас, советских офицеров, с нескрываемым удивлением. Одни, улыбаясь, старательно кланялись в пояс, военные чинно козыряли, оглядываясь нам вслед. Некоторые замирали на месте в недоумении, дрожа от ярости, поедая нас немигающими глазами, сжимая в руках оружие. И нам иногда приходилось прятать свое волнение за визиром работающей камеры.

Перед нашими камерами возникли огромные районы наполовину сожженного, наполовину разрушенного некогда прекрасного города. Только каменный центр — Сити — пострадал сравнительно меньше других районов.

Столица побежденной Страны восходящего солнца на каждом шагу поражала нас смешением азиатского и европейского, древнего и современного, разбитого и уцелевшего, а также удивительными контрастами в облике и жизни людей, в их поведении и отношениях между собой. На фоне чудом уцелевших роскошных особняков, храмов и дворцов особенно бросалась в глаза крайняя нищета и бедность населения. Не только на окраине, но и в центре столицы встречались почти нагие мужчины в рваных и грязных набедренных повязках. Женщины, худые, изможденные, в широких черных штанах, рылись в руинах в поисках пропитания. Только японские офицеры в чистой элегантной форме были странным контрастом на мрачном фоне черных пустырей и обугленных руин.

Всюду, где бы ни снимали мы — на море, в порту, на берегу канала, на лодках и мостах, сидели от восхода до заката дети, женщины, старики с удочками и рыболовными снастями — это была единственная реальная возможность не умереть с голоду. Всюду, кроме Сити, вдоль улиц перед каждым домом зияли щели и траншеи. В них отсиживались при налетах американской авиации горожане. Теперь жители спешно превращали их в грядки для овощей.

Начав снимать вместе, мы, сами того не желая, соприкоснулись с жизнью города, разбрелись, и каждого из нас понесли уличные потоки в разных направлениях. Узкая улица из руин вывела меня на огромное пепелище. Посередине рвов и буераков, головешек и пней, траншей и щелей, засыпанных пеплом, возвышалась огромная статуя Будды. Трудно представить себе, что здесь творилось в момент сотворения этого невообразимого хаоса, а Будда, будто насмехаясь над бренностью мира, безмолвствовал, возвышаясь над руинами.

«Как ему удалось уцелеть?» — думал я, снимая закопченного, почерневшего, но улыбающегося бога. Сгорели вековые деревья, рассыпалась чугунная ограда парка, закипели и испарились бассейны фонтанов… Горький запах пожарищ першил в горле, ветер бренчал похоронную мелодию запустения на покореженной жести от крыши деревянной пагоды.

Так, передвигаясь от одного снятого кадра к другому, я незаметно дошел до центра города. Он почти сохранился и был в основном европейским, а потому и назывался «Сити». Американцы его пощадили. Вдали передо мной открылся императорский дворец, обнесенный древней стеной и глубоким рвом с прозрачной водой и золотыми рыбами. Я снял общий вид площади с мостом, перекинутым через ров.

Неподалеку от моста, напротив закрытых в стене ворот на зеленом газоне привлекли мое внимание лежащие и сидящие в странных позах люди.

«Что здесь могло произойти?» — подумал я и, быстро подойдя вплотную, вскинул «Аймо». В тот же миг я услышал совсем рядом хорошо знакомый холодный лязг затвора и резкий гортанный окрик: «Оэ!»

Не понимая, что произошло, я инстинктивно отнял «Аймо» от глаз. Прямо передо мной как из-под земли вырос японский солдат. Как я его раньше не заметил? За ним стояли другие. Направив на меня короткий ствол карабина, он замер со взведенным курком, расстреливая меня взглядом холодных немигающих глаз. Я не знаю, что случилось бы, если бы моя камера заработала секундой раньше…

Так мы стояли друг против друга с поднятым оружием. Я растерялся. Снимать? Нет! Уходить? Но как?.. Холодный пот струйками скатился по лбу и щекам. Не отводя взгляда от тяжелых глаз часового, я опустил «Аймо». Он стоял окаменевшей глыбой. Ни один мускул на его смуглом лице не дрогнул. Медленно повернувшись, я пошел прочь…

Длинным, бесконечным показался мне путь до угла площади, и только завернув за угол на улицу, я облегченно вздохнул. Мушка карабина часового наконец перестала сверлить мой затылок.

Что там произошло? Почему мне не дали снимать? Почему я не снял издали телеобъективом? Эти вопросы не давали мне покоя. Я отлично понимал, что не снял что-то очень интересное и невосполнимое…

К вечеру я снова вернулся на это место, но площадь была пустой. Часовых перед воротами не было, только почерневшие пятна крови еще раз напомнили мне жуткое ощущение, испытанное утором…

Еще раз пришлось пожалеть о неснятом кадре в Москве, когда мне сказали, что, возможно, это японские офицеры-самураи в знак протеста против капитуляции совершили на глазах императорской стражи священное харакири.

…Кадр за кадром накапливали мы материал для будущего фильма «Разгром Японии».

Капитуляция Японии была крахом не только для правящей верхушки страны. Нам удалось проникнуть в здание парламента и снять последнее заседание военного кабинета Японии. То, что мы увидели, трудно назвать собранием здравомыслящих людей. Парламент напоминал драку на бирже в момент падения акций.

Капитуляция Японии так и осталась в моей памяти крахом крупного банка немногочисленных держателей акций войны…

ТОВАРИЩИ МОИ

Сентябрь 1945 года

Мир наступит, землю согревая,
Унося артиллерийский дым…
Все, что мы сейчас переживаем,
Мы воспоминаньям отдадим…

Михаил Светлов

Унеся последние жертвы, кончилась война. Это были бессмысленные жертвы — жертвы Хиросимы и Нагасаки.

Скреплена подписями представителей союзных держав последняя во Второй мировой войне капитуляция. Пока мы, фронтовые кинооператоры, снимали оставленные войной следы в Токио и его окрестностях, один из нашей группы — Михаил Прудников отснял еще дымящиеся руины и жертвы Хиросимы. Судьба оказала ему милосердие, и радиация миновала его.

Калейдоскоп последних событий, уходя в прошлое, еще кружил голову, и воспоминания нагромождались одно на другое, навсегда оставаясь в памяти. Следы, шрамы на обожженной земле и в сердцах миллионов людей. Шрамы Сталинграда, Хиросимы, которым не суждено зарасти никогда. Никогда в истории…

Мы летим домой. Под нами руины огромного Токио, в стороне сверкает на солнце вечными льдами священная гора Фудзияма. Непривычное спокойствие овладело нами. До дома далеко — впереди Владивосток, а до Москвы добрых девять тысяч километров. Есть время подумать, вспомнить, осмыслить и прошлое и настоящее.

Как жить? С чего начать?

Теперь, когда войны больше нет, особенно хочется, оглянувшись на пройденное, вернуться назад и подытожить, осмыслить прожитое. Под нами, как на карте, проплывает Сибирь, мирная, не тронутая войной. Мы летим над Сибирью многие часы, и нет ей конца, а мысли вновь возвращают меня в Севастополь, и вижу я его чистым, светлым, не разрушенным. И

как бы заново просматриваю фильмы, в создании которых я принимал участие: «Героический Севастополь», «День войны», «Черноморцы», «Битва за Кавказ», «Битва за Севастополь», «В логове зверя», «Померания», «Разгром Японии»… Это этап пройденного мной пути — малая частица труда нашего «цеха» — двухсот пятидесяти фронтовых кинооператоров, из которых каждый пятый остался на поле боя — рядом с солдатом… Я помню их всех. Они были моими товарищами. Героические страницы вписаны в историю не только снятыми ими кадрами, но и самой их жизнью, ее последними мгновениями. В присланной на студию коробке со снятой кинопленкой, оператор Николай Быков писал: «В Бреслау во время съемки уличного боя осколком снаряда был убит кинооператор Владимир Сущинский. На поле боя снять его я не мог — был ранен этим же снарядом». Через несколько дней прислал на студию снятую пленку оператор М. Арбатов с аннотацией к снятому материалу. Среди перечисленных эпизодов такой: «Перебегающий с кинокамерой Николай Быков. Убитый Быков, около него камера». Не прошло и нескольких дней, как пришло извещение: М. Арбатов погиб в бою.

При съемке форсирования канала Донау в Вене под густым огнем от разрыва мины погиб кинооператор Семен Стояновский. Смертельно раненый он повторял: «Аппарат! Сохраните аппарат! Не засветите пленку! Передайте в штаб!» За себя он не тревожился. У белорусских партизан погибла в неравном бою кинооператор Мария Сухова. В таллинской операции погибли на корабле кинооператор Павел Лампрехт и его ассистент Анатолий Знаменский — первые погибшие в самом начале войны. За три дня до конца войны погиб у югославских партизан Владимир Муромцев.

Всех невозможно перечислить — это отдельная книга о подвиге кинооператоров, стоявших во время Великой Отечественной войны рядом с солдатами, о моих товарищах, чьим оружием была лишь кинокамера, которую они сжимали в руках до последней секунды — как винтовку.

Я иду по дороге памяти… Разве могли мы, фронтовые операторы, снимая ужасы войны и радость победы, представить себе, что пройдет несколько десятков лет и оставленные нами запечатленные мгновения войны день за днем — три миллиона метров отснятой кинопленки, как «машина времени», дадут возможность не только нам, живущим на земле, вернуть историю назад — к любому их этапов войны, но и далеким потомкам нашим взглянуть на события, которые так далеко остались позади, и сделать единственно правильный вывод: это никогда больше не должно повториться.

Пройдет не один десяток лет, прежде чем я и мои сверстники — участники этой войны — поймем, что это был наш звездный час. Этот парадокс, наверное, трудно осознать тем, кто не пережил войну, и предвоенное время и послевоенное… Мы не только жили те четыре года на пределе своих возможностей — и физических, и нравственных, и духовных — но мы еще уважали себя, чувствовали, что судьба страны зависит от нас — от каждого в отдельности. Может быть, это было заблуждением, но это было прекрасное заблуждение, которое помогало не только выстоять — каждому, но помогало выстоять стране.

Трудности восстановления нас не пугали, потому что мы осознали и свою ответственность, и свои силы.

Мы возвращались домой в надежде, что жизнь будет прекрасная и светлая…

НА КРУГИ СВОЯ

Москва, Парад Победы и далее…

Мы все ходили под Богом,
У Бога под самым боком.

Борис Слуцкий

С сорок первого по сорок пятый время нагромождало события, одно грандиознее и значительнее другого, и каждое было связано с Его именем, с Его железной волей. Мы на фронте читали мало газет, но его имя, произнесенное Левитаном по радио, всегда действовало как магическая сила на всех нас — и на море, и на суше, и в небе.

Война окончена. Последние ее вехи ушли в историю. Мир обязывал взбудораженное время войти в нормальную колею. И оно, успокоенное, медленно зашагало по нашей разоренной земле.

… И снова Красная площадь. И снова Он на Мавзолее — Генералиссимус, главный победитель — принимает Парад Победы. Он стоит, овеянный славой, с поднятой как для благословения рукой и скупой улыбкой из-под седых усов. К его ногам падают поверженные знамена «Великого диктатора», и снова, как тогда, в далеком Лондоне, меня поразила странная схожесть его и «Великого диктатора» Чаплина. Теплый июньский дождь омыл Красную площадь. Мы, уцелевшие кинооператоры, мокрые насквозь, не ощущали ливня. Я снимал крупные планы солдат, офицеров, генералов. По их лицам, будто вырубленным из гранита, загорелым, обветренным, мужественным, ручьями стекали слезы дождя. Блестело намокшее оружие, ордена, медали, блестела отполированная дождем брусчатка.

Это к большому благополучью! — сказал мне усатый старшина.

Сквозь намокшую форменку проглядывала его тельняшка, в усах светились капли дождя. Моя морская форма привлекла его внимание.

— Вместе обороняли Севастополь! — И он показал на мои орденские планки.

Хорошо, что мое лицо было мокрым, и слез не было заметно.

В короткие промежутки между съемками я внимательно

смотрел на Мавзолей, на Него — Генералиссимуса, победителя. Мне показалось, что его скупая улыбка иногда превращалась в насмешку. От таких мыслей становилось страшно. Будто кто-то мог разгадать, о чем я тогда на Параде Победы подумал…

… Прошел и летний теплый дождь, и умытый им Парад Победы… Обнаружились у нас новые враги — космополиты, врачи, ученые, писатели, деятели культуры. Снова, как до войны, засновали по ночным улицам Москвы и других городов «черные вороны», собирая новую жатву времени наступившего мира.

Наша студия Кинохроники на Лиховом шесть не отставала от общественной кампании. Мы, как и весь наш народ, были особо бдительны. Наши неутомимые общественники проявили исключительную бдительность.

— Как это мы его раньше не распознали? Ведь он явный космополит…

На общем собрании студии в большом павильоне «разделали под орех» всемирно известного, одного из зачинателей документального кинематографа, режиссера Дзигу Вертова. И главным обвинителем и разоблачителем был его любимый ученик. Обливаясь слезами — в полном смысле слова — стоял на трибуне ни в чем не повинный Вертов, пробуя доказать, что он не «верблюд». Собрание признало его буржуазным космополитом. Он стоял растерянный на трибуне, по его щекам градом катились слезы, а разгневанный зал топал ногами, ревел оскорбительными выкриками:

— Космополит! Тихоня — притаился! Упрятать его подальше! Вон его со студии!..

Я никак не мог понять, в чем его обвиняют. Все выступления были мерзкими, бездоказательными, явно спровоцированными. Мне хотелось крикнуть: «Прекратите это безобразие! Разве вы не видите, что он ни в чем не виновен». Но я не успел.

Только Вертов сошел с трибуны, как взялись за меня. На трибуну взошел всеми уважаемый, седой начальник лаборатории, и вдруг обвинил меня в космополитизме. Это было так неожиданно… И так смехотворно… Его главным обвинением была моя последняя съемка Москвы:

— Микоша так снял Москву, что она скорее Нью-Йорк, чем Москва! Кто ему позволил пролетарскую столицу — столицу мира уподобить «городу желтого дьявола»? Только злой космополит может позволить себе такое надругательство над нашей любимой Москвой! Предлагаю его понизить в ассистенты! Пусть исправляется, а там посмотрим…

Эта позорная кампания длилась долго, до самой Его кончины. У нас даже в мыслях не было, что это дело Его рук.

Волна арестов повторила предвоенные. Великое ожидание, что после войны произойдут великие перемены, не оправдалось.

Мы вновь стали невольниками Его кампаний. Наша работа, судьба, сама жизнь вновь оказались в «закладе» и, не принадлежа нам, всецело принадлежали Ему и страшной его системе…

ПОРТРЕТ БЕЗ РОДИНКИ

Пекин — Москва, 1949 год

Сталин и Мао слушают нас…

Из песни «тех» лет

В группе советских кинооператоров я снимал под руководством нашего известного документалиста режиссера Леонида Варламова большой фильм — «Победа китайского народа».

Поздно вечером 30 сентября 1949 года наш поезд подкатил к перрону вокзала. Пекин. Платформа была переполнена празднично одетыми в национальные платья людьми. Гремел оркестр. Развевались красные полотнища флагов, мелькали разноцветные транспаранты приветствий на русском языке — «Первым посланцам культуры Советского Союза». Перед окнами вагона медленно проплывала пестрая орущая толпа, машущая флажками и букетами цветов. Заглушая оркестр, из толпы вырывались отчетливые слова: «СУЛЕН! СУЛЕН! СУЛЕН!» — «советские».

На следующий день, 1 октября, на площади Тяньанмынь должна была состояться торжественная церемония — провозглашение Китайской Народной Республики.

— Столпотворение вавилонское! Страшно даже выходить, раздавят! — улыбаясь, сказал Костя Симонов.

Группу деятелей культуры возглавляли Александр Фадеев и Константин Симонов. Выйдя из вагона, мы потонули в толпе, засыпанные цветами. Только в холе гостиницы мы стали приходить в себя. Нас сразу пригласили в ресторан ужинать. За большим круглым столом разместились все. Время было за полночь. Утром первого сентября предстояла ответственная киносъемка торжеств и выступления Мао Цзэдуна перед китайским народом. На нас произвел большое впечатление очень симпатичный китаец в светлой оранжевой робе, который встречал нас на вокзале и здесь оказывал нам всяческое внимание. После ужина, отказавшись от преложенного нам отдыха, мы попросили нашего знакомого поехать с нами и все показать, как и где будут

проходить главные события торжеств. Каждый из нас, кинооператоров, познакомился благодаря симпатичному человеку с программой торжеств и своим местом на событии. Он, как мы поняли, пользовался большими правами. Все перед ним склонялись и беспрекословно исполняли его распоряжения. Улыбка и приветливость не сходили с его лица.

Рано утром первого сентября мы очутились на главной площади Пекина. Мне досталась самая ответственная точка на главной трибуне у самого микрофона, по которому произнесет свою историческую речь перед китайским народом великий Мао Цзэдун. Площадь Тяньанмынь полыхала под синим небом красным пламенем знамен, лозунгов и плакатов с огромными портретами Сун Ятсена и Мао Джуси.

Я стоял на высоком балконе, прижавшись спиной к перилам. За ними, далеко внизу шумело возгласами «Мао Джуси! Мао Джуси!» миллионное море людей. Предо мной, в нескольких метрах от меня сидело все правительство Китая…

Вдруг все встали. Я начал снимать. В проходе появился Мао Цзэдун, Чжу Де, Лю Шаоцы и другие. Я снял медленный подход Мао к микрофону, его крупный план с поднятой рукой. Он долго ждал, пока успокоится площадь внизу. Я отнял камеру от глаз и увидел совсем рядом «великого вождя китайского народа». На меня вдруг нахлынуло непонятное волнение. Меня затрясло так же, как там, на Красной площади, при первой моей встрече со Сталиным. Мои руки дрожали… Мне стало страшно, как же я буду снимать? Но, как только я приблизил камеру к мокрому от пота лбу и услышал ее ход, мое волнение растаяло и я снимал спокойно, пока не кончилась кассета с пленкой… За время «Его» речи я успел снять не только кинокадры, но и «Лейкой» несколько «Его» портретов крупно.

Когда кончилась пленка, и я, перезарядив кассету, стал вытирать градом катившийся по лицу пот, я увидел нашего знакомого: он стоял рядом с Лю Шаоцы и взглянув на меня, подмигнул мне улыбаясь. Может, все это мне показалось? Но я больше, чем уверен, что он подмигнул. И только позже, когда я спросил, переводчика, кто это стоял рядом с Лю Шаоцы, он сказал, что это Чжоу Эньлай.

После парада я послал снятую «Лейкой» непроявленную цветную пленку в Москву в редакцию журнала «Огонек», корреспондентом которого был.

Прошло много времени. Я объездил пол-Китая, а когда вернулся в Пекин, меня вдруг пригласили в высокое учреждение и попросили в большом холле подождать. Для какой цели я был вызван, я, конечно, не знал. Походив по зеркальному паркету и

посидев на огромном шелковом диване около двух часов, я перестал гадать, для чего меня вызвали. Наконец, одна из огромных дубовых дверей открылась, и из нее стали выходить люди в синих робах. Тут же появился человек, который меня привез сюда. Он был, как и все, предельно вежлив, улыбка не сходила с его симпатичного лица.

— Я должен перед вами извиниться! Много было всяких вопросов, но все кончилось очень хорошо! Мао Цзэдун просил передать вам благодарность, только у него есть к вам один вопрос, почему на его лице нет родинки?

Я стоял перед моим провожатым, с лица которого не сходила широкая улыбка, и ничего не понимал. Какая родинка? При чем здесь Мао Цзэдун? Мой вид, наверное, смутил моего провожатого. Я никак не прореагировал на величайшее событие — благодарность «великого кормчего».

— Одну минуточку! Я очень скоро! — И он скрылся за небольшой дверью.

Я опять приземлился на красный диван, не понимая, в чем дело. За что такая великая благодарность? И куда опять скрылся этот малый со своей широкой улыбкой? Наконец он появился, неся в руках — я не поверил — журнал «Огонек».

— Разве вы не получили последний номер? Сейчас рассматривался вопрос: правильно ли отразил ваш журнал образ нашего великого вождя Мао Цзэдуна?

Я взглянул на портрет. Мао улыбался мне, но родинки на его лице не было. Внизу под портретом стояла моя фамилия.

— Наверное, когда в Москве проявляли негатив, решили, что это темное пятнышко на пленке — дефект, и его заретушировали.

Только так я мог объяснить отсутствие родинки у «великого кормчего». Так оно в действительности и было.

Когда я объяснил своим друзьям, для чего меня вызывали к высокому начальству, никто не рассмеялся.

— Тебе дико повезло! — сказал Леонид Варламов. — Представь себе на минутку, что образ великого вождя отражен неправильно. Нет родинки! Как так? Почему нет? И ты мог бы считать, что тебя нет. Посол доложил бы «Папе», и ты в лучшем случае оказался бы на Колыме.

Да, мне действительно в тот раз повезло…

ПОХИЩЕНИЕ

Озеро Рица, лето 1952 года

Минуй нас пуще всех печалей
И барский гнев, и барская
любовь.

А. С. Грибоедов

…В ассистенты меня не перевели, но довольно долго не давали работать. Наконец, предложили ехать на Магнитку снимать фильм о рабочем классе. Я приготовил аппаратуру, получил восемьсот метров цветной пленки и отправился домой. Была суббота, а в понедельник предстояла поездка на Урал.

Вечером, как всегда перед дальней дорогой, наполнил всем необходимым дорожную сумку и попытался уснуть. Радио тяжелыми ударами Спасской башни завершило день. Было душно. Не спалось. Вышел на балкон. К подъезду нашего большого дома подкатила черная «Победа». Снова, пытаясь уснуть, услышал на лестнице тяжелые шаги. Неужели опять? Меня охватила гнетущая тревога. Во рту пересохло. Да, сомнений больше не было. Шаги остановились у нашей двери. После небольшой паузы — у меня еще теплилась надежда, что пронесет, не к нам… Но раздался пронзительный, не как всегда, будто по сердцу звонок. Я, как был в трусах, подошел к двери и, наверное, не своим голосом, почему-то охрипшим, спросил:

— Кто там?

— Микоша Владислав Владиславович здесь проживает?

— Да! — ответил я, и меня пробрала дрожь.

Подошли мама и Зоя. На них было страшно смотреть. Наверное, я выглядел не лучше. Вошли двое военных в форме НКВД.

— Будьте добры, оденьтесь и соберите необходимые вещи в дорогу. По возможности быстрее.

Хорошо, маму поддержала вовремя жена. Они молча стояли, прижавшись друг к другу. В их широко открытых глазах замер ужас.

— Чего вы испугались? Все будет хорошо, не бойтесь! —

спокойно сказал военный.

— Что же нам теперь делать? — чуть не плача, спросила мама.

— Я вам повторяю, мамаша: не надо беспокоиться, все будет хорошо, как надо!

Вещи в дорогу готовить было не надо — будто я заранее все предвидел. Мы обнялись. Мама перекрестила меня, и не помню, как я очутился в машине. Мы мчались по опустевшему Ленинградскому проспекту с недозволенной скоростью. Еще с большей скоростью мчались в моем сознании мысли. Конечно, не выходил из головы и обыск. У Маяковского машина свернула на Садовую в сторону Самотеки. «Ну, ясно, на Лубянку», — подумал я. Меня пробрала дрожь. Все вопросы — за что? почему? — которые я себе задавал, не находили ответа…

Машина с Садово-Каретной вдруг завернула к нам в Лихов переулок и круто, с визгом, затормозила у подъезда студии. Я не успел опомниться, как сидящий впереди коротко и властно скомандовал:

— Берите кинокамеру, цветную кинопленку — всю, какая есть, и все принадлежности для съемки, и быстро в машину! Мы вас ждем! Только в темпе!

Все мои страхи — за что, и почему? — как рукой сняло. Значит, меня не арестовали. Предстоит таинственная съемка. Даже интересно… Да, но как там мама с Зоей? Как их успокоить? И как же выезд на Магнитку?..

Заспанный вахтер старик Колпин задал вполне нормальный вопрос:

— Что? Кто-то прилетел? Да?

— Да, да! Срочная съемка! Скорее открывай!

Не прошло и пяти минут, как я со всей аппаратурой и пленкой очутился в машине, и она на предельной скорости помчалась по улицам уснувшей Москвы. Когда мы вырвались на Большую Калужскую, я понял, что мы спешим на Внуковский аэродром. Спутники мои сидели молча, ни слова не говоря, и с вопросами к ним обратиться мне не приходило в голову. Глухие ворота Внуковского аэропорта широко распахнулись после резкой сирены нашей «Победы». Мы выехали на летное поле. На старте бетонной дорожки стоял «Дуглас» — Си-47, и два его пропеллера вращались. «Победа» круто затормозила у самой железной лесенки открытого люка.

— Быстро в самолет!

Мне помогли закинуть аппаратуру в темный люк, и дверка за мной громко захлопнулась. Было темно. Самолет дернулся и я не сел, а упал на жесткое сиденье. Самолет набирал скорость.

Зажегся тусклый свет.

— Владик! Как ты сюда попал? — на противоположном сиденье, у иллюминатора сидел мой студийный приятель кинооператор Борис Макасеев. У его ног лежала кинокамера и штатив.

— А как ты очутился здесь?

Мы оба страшно обрадовались, увидев друг друга. Самолет набирал высоту. Кроме нас в кабине никого не было. Борис рассказывал, как его ночью забрали из дома. Все произошло точно так же, как и со мной. Мы оба ничего не знали, что предстоит впереди. Стало светать. Мы прилипли к иллюминаторам, пытаясь определить, в каком направлении летим.

— Я многое видел и испытал — войну в Испании, войну Отечественную, но никогда ночью меня с постели не воровали!

Борис тихо говорил и все время оглядывался, будто нас могли подслушать. Моторы гудели, и я еле-еле слышал моего друга. Я, конечно, не сказал ему, что ко мне ночью уже приходили с Лубянки. И, слава богу, никуда не увели.

— Да, интересно, куда же мы летим? — вырвалось у меня.

— А, может быть, спросим у летчиков? — Борис явно волновался.

— Если хочешь — спрашивай, а я не буду. Нас же никто не спрашивал ни о чем… Скоро сами все узнаем. Потерпи!

Стало совсем светло. Впереди показалось море. Справа по борту проплыл Новороссийск, и вдруг самолет заложил крутой вираж влево от Новороссийска. Мы летим вдоль побережья в сторону Сочи.

— Ну, слава богу, не на Колыму! — Борис так махнул рукой, словно перекрестился.

Самолет, заложив над морем еще один вираж, пошел на посадку на Сочинский аэродром. Он очень маленький — в самом центре города, и я помню, во время войны на него могли приземлиться только пилоты высшего класса. Наш самолет, я думал, заденет колесами мост через Сочинку, но он мастерски — на три точки — приземлился. Не успел он остановиться, как к нему подкатил открытый «паккард». Мы с Борисом сразу узнали его: Его, «Папина» машина.

Летчики помогли нам выгрузиться, к нам подошел высокий майор:

— Майор Семин! В вашем распоряжении! — отрекомендовавшись, он помог нам разместить аппаратуру в своем «паккарде». Сел за руль, и мы не поехали, а полетели вдоль берега моря в сторону Гагр. Встречные и попутные машины,

грузовики и легковые, стояли по обочине, а некоторые просто в кюветах. Многочисленная милиция по пути нашего следования стояла навытяжку — по стойке «смирно», и отдавала честь.

Ветер трепал волосы — скорость была за сто. Чуть сбавив ее, мы пронеслись через Гагры и, переехав несколько кур и гуся, помчались дальше. Вскоре за крутым поворотом блеснула бурная горная Бзыбь. Прошумел деревянный мост, нас обдало прохладой реки, и когда на развилке за мостом майор круто свернул с Сухумского шоссе налево в горы, и по левому берегу реки стал взбираться вверх, сомнений уже не было, куда мы мчимся.

— На озеро Рица?

— Да, на озеро Рица! — ответил майор, не оборачиваясь.

Крутые повороты следовали один за другим, визжали покрышки и время от времени скрипели тормоза, но скорость наш возница не снижал. Мы сидели, вцепившись обеими руками в поручни, чтобы не оказаться за бортом.

Озеро Рица — этот необыкновенной красоты уголок Кавказа очень любил Сталин. Поэтому район озера был закрытым для всех.

— Как думаешь, после съемок мы вернемся домой? — вдруг озабоченно тихо спросил меня Борись. На сердце залегла тревога. Майор Семин лихо подкатил нас к небольшой гостинице. Не успели мы выйти из машины, как нам навстречу вышел знакомый нам по съемкам в Кремле генерал-лейтенант.

— Власик! — успел мне шепнуть Борис.

Власик молча проводил нас до нашего жилья и вышел, оставив нас одних.

В номере с балкона открывался живописный вид на озеро, обрамленное вершинами снеговых гор.

Только через час после обеда появился генерал. Он протянул нам листок бумаги с написанным на машинке на обеих сторонах текстом.

— Вот по этому сценарию вы должны снять фильм. Ознакомьтесь, и завтра с утра приступайте к делу. Майор Семин с машиной в полном вашем распоряжении. Я лично буду помогать вам. Запишите мой телефон. Если что нужно — звоните!

Машинный текст во всю страницу и на полстраницы на обороте. Внизу под словами «озеро Рица, июнь 1952 года» стояла скромная подпись фиолетовыми чернилами — «И. Сталин». Это была живая подпись, не факсимиле. Я ее хорошо запомнил — точно такая же стояла на одном их трех дипломов лауреата Сталинской премии, которые я в свое время получил. Но подлинная подпись его была только на одном — за фильм об обороне Севастополя — «Черноморцы» в 1942 году. На остальных

двух стояли факсимильные подписи.

Борис вслух, не торопясь, прочел весь текст. Он был точен, лаконичен. Автор знал и даже видел то, о чем писал. За каждой фразой был ясный образ, и его можно было представить на экране. Не берусь сейчас, после многолетнего перерыва, пересказать написанный им текст, но последняя фраза, кажется, выглядела так:

«Если сумеете выполнить все, что здесь перечислено, то может получиться нужный фильм, который откроет нашему народу один из самых замечательных по красоте уголков Советского Союза».

Все сводилось к тому, чтобы наш народ увидел и приобщился к необычной красоте озера, в голубом зеркале которого отражаются снеговые вершины Кавказских гор, высоченные стройные ели, самшит и красное дерево. Даже были перечислены сорта ценных пород деревьев и названия кавказских орхидей.

Не один раз мы прочли «Папин» сценарий в этот вечер. Мы отлично понимали, какая страшная ответственность легла на наши плечи. И теперь все наше будущее, сама жизнь зависела не только от нашего «таланта», но и от хорошего или плохого настроения нашего заказчика.

До полуночи мы составили на завтра съемочный план. Каждое слово и каждая фраза, написанные Им, были строго учтены и осмыслены. От рассвета до заката мы трудились, не чувствуя усталости.

Кончился наш запас цветной пленки в субботу вечером, и мы тут же об этом сообщили Власику.

В воскресенье рано утром в сопровождении солдата является Власик и вручает нам увесистый ящик.

— Вот вам ваша студия прислала все, что вы просили! Приступайте к съемкам.

Мы были поражены такой оперативностью. Это значило, что ночью на студии были вызваны люди и директор, открыт склад пленки, найдена нужная, и без всякой бумажной волокиты, самолетом в ту же ночь отправлена нам…

Не прошло и семи дней, как мы объявили об окончании съемки.

В Москве нас встретил министр кинематографии Иван Григорьевич Большаков и, выйдя из-за большого письменного стола навстречу, крепко пожал нам с Борисом руки. Такого с ним никогда не случалось. Была дана команда срочно делать фильм, а по ходу дела докладывать ему.

Фильм «Озеро Рица» был закончен в невиданно короткий срок. Мы с Макасеевым были авторами-операторами, монтировал

режиссер Леонид Варламов. После просмотра Иван Григорьевич, поздравив с хорошей картиной, сказал:

— Здорово, ребята! На мой взгляд, все хорошо! Мне нравится, сейчас отправлю туда! На всякий пожарный случай оставьте ваши телефоны. Из Москвы никуда!

На другой день звонок. Звонит Большаков:

— Что вы там наснимали? Черт возьми! Немедленно ко мне! — короткие гудки не дали мне ответить. Моя рука, державшая трубку, плохо повиновалась, и я никак не мог положить ее на рычажок телефона.

На лестнице Комитета меня ждал Борис Макасеев с бледным испуганным лицом. Мы обменялись недоуменными взглядами и вошли в кабинет Большакова. Он сидел за столом и рукой прикрывал левый глаз. Мы все знали: если министр прикрывает левый глаз, значит, он в великом гневе.

— Что вы там наснимали: Что?.. Что?.. — И он произнес, добавив к вопросу, очень весомую и вразумительную фразу.

— Иван Григорьевич! Вы же все видели… — пробовал я заговорить.

— Это мы видели! Видели! А не Он! Значит, не так видели!..

Я понял, что Иван Григорьевич волновался больше, чем мы оба. Он знал, что с него будут снимать не только стружку, но и голову. Он, как никто, знал своего «хозяина»: часто возил к нему на просмотр фильмы, и не один режиссер пострадал на таком показе.

— Я ухожу на коллегию. Пока не вернусь, сидите и ждите звонка оттуда! — Он ушел.

Ждали до вечера. Чего только не передумали!.. Звонка не последовало…

А утром на студии — снова звонок:

— Микошу срочно к телефону!

Мне стало жарко. Я сорвался с места, и когда ступил на лестницу, почувствовал нестерпимую боль в контуженной ноге.

— Микоша! Дорогой! Сейчас звонил Сам! Очень ему понравился фильм. Просил от его имени выразить благодарность кинооператорам! Давай немедленно ко мне! Макасеева ищет секретарь!

Иван Григорьевич вышел к нам из-за стола с протянутыми руками:

— Поздравляю с огромным успехам! Молодцы! Звонил генерал Власик, извинялся: перед показом фильма у киномеханика произошел обрыв ленты, и после склейки вылетело слово из текста — вместо «шестидесяти пород деревьев» — получилось только десять пород. Вот это-то и возмутило

Власика…

Вот так из-за обрыва пленки на просмотре у Самого с каждым из нас могло произойти непоправимое…

Это была последняя съемка со Сталиным.

… Вскоре Его не стало. Горе охватило страну. На Его похороны в Москву хлынул людской океан. Рыдавшие массы устремились к Колонному залу, и никакие кордоны порядка не могли сдержать этот все сметавший поток людей, потерявших от горя рассудок. Люди с ожесточением рвались вперед. Давили друг друга насмерть. Шагали по трупам. Давили женщин, детей. Горе не только затмило разум, но вселило в толпу невиданную жестокость. Озверевшая толпа рвалась вперед, руша перед собой чугунные ограды парков, переворачивая ограждения из поставленных милицией грузовиков. Толпа, чтобы увидеть Его в последний раз, шла на смерть…

Долго не проходило чувство великой утраты. Долго люди не находили ответов на простые вопросы:

Что теперь делать? Как жить дальше без Него? Что будет с нами?

… Я был в отпуске на берегу Черного моря, когда узнал в подробностях о результатах Двадцатого съезда партии. Первое, на что отреагировало сознание, была медаль лауреата Сталинской премии, блестевшая на лацкане моего пиджака. Я сорвал ее и забросил далеко в море. Мой десятилетний сынишка, ничего не поняв, кинулся в море, и после долгого ныряния принес мне медаль.

— Что с тобой, папа? Это награда за войну! За Севастополь! А ты ее в море!..

Много дней и ночей после этого события я пробовал привести свое сознание, свои чувства, свою психику в какое-то более или менее нормальное состояние…

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Пока мы живы — мы несовершенны,
Пока мы живы — мы незавершенны,
Но где тот мастер, что нас завершит?
И есть ли совершенство во вселенной?

Джемма Фирсова

Кончилась целая эпоха, во многом так и оставшаяся темной и неясной. Но для меня она была завершена — словно бы закрылась огромная тяжелая книга, которую я долго-долго читал, что-то пропуская, что-то листая в темноте, чего-то просто не понимая… Но все же она завершена — ее можно закрыть и даже мысленно «прокрутить» весь ход событий, сопоставить, проанализировать, пытаясь понять тот скрытый смысл, который таится за сложным сплетением грандиозных судеб миллионов и локальной судьбы Одного…

Тогда, в пятьдесят третьем, это не было окончательным прозрением, завершением Пути познания, который завершается, наверное, только с последним вздохом… Да завершается ли вообще?..

Но дальше начинается новый этап и моего пути, и Пути страны — этап, который, наверное, только подходит к своему пику, своим главным событиям — внешним в развитии страны и внутренним — в моем осознании и времени, и себя самого. И эта незавершенность, эта устремленность к каким-то главным событиям и главным прозрениям не дает мне завершить эту вторую часть моего пути — пути восхождения к самому себе.

Но что бы ни случилось в этом бесконечном восхождении, что бы ни случилось в моей судьбе, я знаю, что навсегда осталось на хрупкой кинопленке время, которое я остановил.